

● **МАЛЕНЬКИЙ ФРУКТОВЫЙ САДИК** –  
*новая повесть Фридриха Горенштейна*

● **РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ** –  
*репатрианты из России об Израиле 1988 года*

● **ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ** –  
*путевой дневник Михаила Генделева*

● **НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОРЬКИЙ** –  
*очерк Михаила Агурского*

● **РОССИЯ, СТАЛИН И ВОСТОК** –  
*анализ мистических корней тоталитаризма*

**22**

**МИШУА И  
АВКУМ**

**№ 61**



# ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал  
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле  
Лауреат премии имени Р. Н. Эттингер за 1984 год*

# 61

*август-сентябрь 1988*



*издание общественного культурного фонда  
"МОСКВА-ИЕРУСАЛИМ"  
под покровительством израильского комитета ученых  
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА

- 3 *ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН*. Маленький фруктовый садик (повесть)  
47 *БАХЫТ КЕНЖЕЕВ*. Стихи  
50 *МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ*. Великое русское путешествие (заметки к эпосе)

### ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

- 90 *АЛЕКСАНДР ЭТЕРМАН*. Истина с близкого расстояния (очерк третий, о кончание)  
103 *МАРК АЗБЕЛЬ, СЕРГЕЙ РУЗЕР, ЯКОВ ЦИГЕЛЬМАН, ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ, МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ*. Размышления перед выборами

### РУССКИЙ ВОПРОС

- 134 *СТИВЕН ШВАРЦ*. Интеллектуалы и убийцы — из анналов сталинских преступлений  
148 *ВЛАДИМИР ГУСМАН*. Метафизика сталинизма

### КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

- 162 *МИХАИЛ АГУРСКИЙ*. Неизвестный Горький

### ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

- 188 *МИХАИЛ ВАРТБУРГ*. Миры в столкновениях, века в хаосе (продолжение)

### ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

- 209 *ЮВАЛ НЕЕМАН*. Новые горизонты — личный взгляд

### ЛЮДИ И КНИГИ

- 212 *В. ФЛАНЧИК*. Искренность во лжи  
217 Памяти Анатолия Якобсона. Памяти Шмуэля Эттингера  
218 *М. СЕГАЛ*. По поводу... (статьи З. Бар-Селлы)

### ИРОНИЧЕСКОЕ

- 220 *АМРАМ*. Вещие сны

*На последней странице обложки — запуск израильского спутника "Офек-1" (к статье Ю. Неемана)*

## ЛИТЕРАТУРА

*Садок вишневый коло жаты.  
Т. Шевченко.*

*Наступает тишина и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву. (Занавес)*

*А. Чехов, "Вишневый сад"*

— А это наш маленький фруктовый садик, — шутили сотрудники, когда кто-нибудь из посторонних приходил в наш отдел, — Веня Апфельбаум, Саша Бирнбаум и Рафа Киршенбаум.

Наши рабочие столы рядом, и мы всегда вместе — три друга товарища. Всякий, кто входил в наш отдел, видел три головы — две черные, одна рыжая, рафина — вместе склоненные над расчетами и чертежами. Впрочем в последние дни я, Веня Апфельбаум, на бюллетене, по причине зубной боли, воспаления и флюса. Поэтому из дому вышел не как обычно, когда шел на работу, в половине восьмого, а в одиннадцатом часу.

Было ясное, свежее, "старушечьё" утро. Старушки, говорят, просыпаются рано, в пятом, в шестом рассветном, но улицы заполняют они к одиннадцати, когда все торопящееся, толкающееся, спешащее окончательно схлынет и после того минет еще полчаса-час, чтоб воздух посвежел, да пыль осела. Стариков к этому вре-

*Фридрих Горенштейн*

### **МАЛЕНЬКИЙ ФРУКТОВЫЙ САДИК**

(повесть)

мени почти не видно и не только потому, что по статистике их меньше. Старик чаще петушится, его в суету тянет, все нервную молодость вспоминает, а старушка на молодость редко оглядывается — минута, и с плеч долой. Живет и живет неторопливо. И город нервный, визжащий, кричащий, к одиннадцати утра перейдя в старушечьи владения, распускается, расплзается. Трамваи звенят не тревожным пожарным звуком, подлетая к переполненным суетливым остановкам, звенят мягко, угодливо, точно не электрическая сила в них звенит, а простой колокольчик, пружинный звонок, который дергал через коленчатый рычаг за проволоку кондуктор старушки-конки. Хорошо пройтись беззаботному человеку в такое "старушечье" утро при ясной погоде.

Однако, я далеко в сторону ушел от сути. Не в старушках дело, а в том, чтобы обозначить время и обстановку, когда я вышел из дома и сел в полупустой вагон метро на Преображенской площади, чтоб ехать к центру. О беззаботной прогулке речи быть не могло, ибо ночь я провел ужасную. Не буду описывать свинцовую голову на тонкой, слабой шее, не буду описывать по-температурному жарких слезящихся глаз. Скажу лишь, что ночь я провел на допросе. Допрашивали меня с применением пыток средневековых и новейших мои собственные зубы, а камерой пыток была моя собственная, однокомнатная, кооперативная квартира. На допросе я вел себя не героически: выл, стонал и царапал ногтями стены. Не сомневаюсь, что за час покоя и сна я выдал бы все государственные тайны, если бы их знал и если бы такого от меня потребовал сонм гнилостных микроорганизмов костоеды, терзающих мою воспаленную зубную мякоть. К рассвету, однако, костоеда временно помиловала. Я понимал, что временно, до следующего ночного допроса, ибо такое уже обозначилось — утром меня отпускали подумать, а к ночи опять начинали зудеть, сверлить, пилить, жечь.

Первые приступы зубной боли, случившиеся месяца два тому, я встретил, как теперь понимаю, легкомысленно, просто пополоскав рот дагестанским коньяком "Приз" с лошадиной головой на этикетке, который кстати оказался под рукой, поскольку дело было на товарищеской пирушке вскладчину по случаю выдачи нашему отделу внеочередной, неожиданной денежной премии. Занимается отдел нашего НИИ замазками. Я лично тружусь над диссертацией по теме: "Железная замазка". Для непо-

священных излагаю популярно: железная замазка употребляется в машиностроении и железобетонном строительстве. Состоит из железных опилок, серы и нашатыря. Если забить такую смесь в щель, то она плотно пристаёт к железу или камню, твердеет весьма сильно. Дело это перспективное, нужное нашему начальству, и я надеюсь вскоре “остепениться” и получить увесистую прибавку в тугриках, сиречь в рублях, к жалованью, сиречь к зарплате. Конечно, ничего нового в железной замазке нет, ее применяли лет уж сто назад, и в кое-каких, конкурирующих с нашим НИИ кругах этот способ считается давно устаревшим. Но нашему начальству удалось в инстанциях доказать его дешевизну, простоту и надежность. Способ прошел успешные испытания в промышленных условиях, и кстати, именно за железную замазку наш отдел получил внеочередную премию, устроив вскладчину очередную пирушку.

Веселились мы по моде семидесятых: слушали магнитофонную гитарную поэзию, рассказывали анекдоты про Брежнева, пели лирико-иронические песни: “...мы мирные юдэн, но наш бронепоезд стоит на запасном пути... тра-та-та-та”.

Голос у меня не плохой, у Саши Бирнбаума терпимый, а у Рафы Киршенбаума почти профессиональный, что неудивительно, поскольку его родной дядя Иван Ковригин, урожденный Иона Киршенбаум — солист военного ансамбля. Голос — труба. Поет широко. Ка-а-а-а-а-а-а-а... — конца не видно. Уж и у меня, зрителя, дыхания не хватает, а он все: а-а-а-а — и наконец, как радостный вздох облегчения и преодоления: ...линка, калинка, калинка моя. В саду ягода малинка, малинка моя... Ай, люли-люли, ай, люли-люли, спать положите вы меня...”

Вот в том-то и дело, заснуть бы хоть на часок. Во время ночного допроса, во время терзания костоедой этот плясовой мотив звучал, как в полубреду. “А-а-а-а-а-а” — полоскал шалфем, как Чехов советовал в рассказе “Лошадиная фамилия”, мазал воспаленные десна кефиром, как советовала зубная врачиха Марфа Ивановна.

К Марфе Ивановне я пошел по рекомендации Саши Бирнбаума, где-то через неделю после пирушки, на которой впервые ощутил покалывание и сверление, быстро ликвидированное дагестанским коньяком. Через день, однако, сверление возобновилось в самый неподходящий момент, на совещании у директора НИИ Кондратия Тарасовича Торбы, человека доброго, но не

предсказуемого. Мы как-то с ним пировали, так он, выпив, показал себя ругателем нынешней действительности и достаточно высокого начальства из министерства. А про замминистра выразился:

— Что у него ни спросишь, все ответит неопределенно. Разве так большевики отвечают? Лейборист какой-то, — потом задумался, посветлел лицом и сказал, — вот в войну, ребята, тяжелое было время, но какие люди были. И была какая-то романтика драки...

Так по-домашнему говорил, однако на совещании сидел недоступный и опасный, покусывая длинный буденновский ус и в самом деле похожий на Семена Михайловича. Кстати, папаше Саши Бирнбаума, Лазарю Исаковичу, довелось поработать в министерстве сельского хозяйства и с самим командармом первой конной, о чем он рассказывал. Группа донских казаков, какие-то ходоки, обратились в финансовый отдел министерства с неким несурзанным требованием по поводу лошадиных дел. Получив отказ, пошли с жалобой к Семену Михайловичу, который как раз этими лошадиными делами заведовал при министерстве сельского хозяйства. Тот вызвал Лазаря Исаковича.

— Сидит нахмуренный, ус покусывает.

— Почему народ обижаешь?

— Так ведь нельзя, Семен Михайлович. По министерскому регламенту, по финансовой смете...

— Нельзя? А почему жида Христа распяли? Это можно?"

— Так и сказал? — ошарашенно спрашиваю я.

Все-таки в детстве пели песни: "С нами Сталин родной, Тимошенко — герой, Ворошилов и славный Буденный..." или "Никто пути пройденного у нас не отберет, конница Буденного, дивизия — вперед..."

— Так и сказал? — все не верится мне.

— Так и сказал, — пожимает плечами и разводит руками Лазарь Исакович, который в домашней пижаме рассказывает все это нам за домашней вишневой наливкой, необычайно ароматной, потому, что Бетя Яковлевна, сашина мама, каждую косточку в каждой вишенке заменяла кусочком грецкого орешка.

— Ну и что? Чем кончилось? — спрашивает Рафа Киршенбаум.

— Чем кончилось? Чем это может кончиться? Пришлось выполнять указание Семена Михайловича, а потом я выкручивал

голову, как это оправдать в финансовой смете... Ничего... Гурнышт... Азой идыс... Ах, азохен вей...

Как-то я с семьей Бирнбаумов поехал на пляж и оказался в самой гуще им подобных евреев. У них там свое место, что-то вроде пляжного гетто. Все с обвисшими, как мокрое белье, животами, постоянно ругаются меж собой и едят помидоры, огурцы, вареную курятину, вытаскивая ее из стеклянных банок... Еврейский неореализм. Но это хоть понятно, а почему рафин дядя, Иван Ковригин, вдруг начал носить ермолку? Ведь совсем недавно истинно по-русски солировал с таким же, как и он, пузатым, седым солдатом Андреем Масоловым. У обоих пряжки солдатских ремней лежали на далеко выпяченном вперед пупе, стояли оба, живот к животу — не отличишь. А вот в начальствующих сферах отличили, обидели дядю Йону. Впрочем, может, сам дядя Йона виноват. Человек он заносчивый, обуреваемый демоном тщеславия. Не только поет, но и стихи сочиняет, и музыку пишет. Целый мюзикл сочинил на простонародный русский сюжет.

Живет Ковригин-Киришенбаум после очередного развода и размена в одном из переулков старого Арбата на первом этаже пятиэтажного, дореволюционной постройки дома с каменными нимфами у парадного входа. На округлом животике около пупочка одной из нимф то ли краской, то ли углем написано нехорошее слово. Но лучше всего не сразу входить в подъезд и звонить в усыпанную звонками и фамилиями дверь квартиры, а предварительно постучать в окно — третье от угла. Ориентиром также служит надпись на кирпичной стене — “Копытов — гад”, похоже, тем же почерком, что и нехорошее слово у нимфы на животике. Лучше стучать в окно, чтоб не тревожить звонком соседей, с которыми у Ковригина-Киришенбаума, разумеется, плохие отношения, вплоть до судебных.

— Народ серый, мерзкий, — говорит дядя Йона, — пишут на меня, что я даю частные уроки музыки и вообще мешаю им своей игрой на рояле и пением. Куда деваться не знаю от их всевидящего взгляда, от их всеслышащих ушей... Какой-то гордиев узел...

Комната у дяди Йоны по коммунальным масштабам не маленькая, но повернуться негде, то и дело за что-либо цепляешься или что-либо опрокидываешь. Вещи стоят тесно, в беспорядке, по всей видимости это обстановка нескольких комнат, све-



зенная в одну. Вещи и мебель старые, экзотические: красное дерево, шелк, мрамор, бронза. На стенах несколько картин, как уверяет дядя Йона, дорогие подлинники. Вдоль стен книжные полки поблескивают золочеными корешками.

— Куда я это все деду, как упакую при дальнем переезде, — тревожится дядя Йона, — я все сюда на Арбат еле привез и с потерями. Вот хрустальный абжур лампы разбил, а ему цены нет.

Лампа, точнее бронзовая скульптура обнаженной женщины, держащей в своих поднятых кверху руках расколотый абжур, стоит прямо посреди комнаты возле рояля и об нее непрерывно то спотыкаешься, то за нее цепляешься. Впрочем, как я уже говорил, тревожиться о перевозке вещей на дальние расстояния дядя Йона начал совсем недавно, после истории с куплетом. Правда, ныне он говорит, что "куплет" был лишь последней каплей, поскольку к нему и ранее придирались.

— Масолову, с которым мы вместе солируем, присвоили звание, а мне нет... Но главное, мой мюзикл запретили из-за моей пятой графы.

Над мюзиклом дядя Йона работал действительно вдохновенно. Я помню, как он, высокий, Киршенбаумы все высокого роста, Рафа в нашем трио самый высокий, помню, как дядя Йона, высокий, в своем длинном бухарском халате, среди своих антикварных вещей, сам похожий на антикварную вещь, садился за рояль и наигрывал отрывки из своего мюзикла "Варя-Варечка", актерски исполняя разные роли, меняя голос и напевая то тенором, то баритоном в зависимости от той или иной партии.

— Много ездил я по стране, — говорил дядя Йона, — и на гастролях, и когда ездил за свой счет, всегда старался услышать и записать народные песни. Песни с традиционно крестьянским смыслом, многоголосые, широко распетые. Например, песня: "Отец мой был природный пахарь" — или другой пример, когда борщ на стол подают, поют: "Ешьте, гости, борщечек, у нас целый горшочек". Вот в таком стиле я писал мюзикл. Например, монолог Вари, — дядя Йона меняет голос и кокетливо произносит, растягивая слова сочным женским тенорком: "Я не хочу такого негодяя, а выйду замуж я за Николая"... И тут же сразу песня: "Расскажи мне, Коля, про степей раздолье..." Или партия Николая, — дядя Йона запекает тихим душевным баритоном, —

“И со всею силой по лицу милой он ударил рукой,  
За ее измену с механиком Геней в вечер под выходной...”

Столько работы, и запретили с формулировкой: “искажение действительности”. Однако, мне сообщили, что в кулуарах были неофициальные высказывания определенного сорта. Я эти высказывания с шести лет знаю. В Средней Азии жил, в городе Наманган. Прибегаю и говорю: “Мама, меня во дворе как-то по национальному назвали. Таджики, кажется”. “Жи” я услышал, а остальное не понял”. Однако, теперь мне не шесть лет, я теперь понимаю и остальное, — разволновавшись, дядя Йона краснеет, берет с полки бутылку сливовицы, разливает в золоченые, антикварные бокалы, мы выпиваем, отчего дядя Йона краснеет еще более, — а тут как раз история с куплетом подоспела последней каплей, — продолжает он, совсем загрузив и обозлившись, — вы, конечно, знаете русскую народную песню “Коробейники”. В ансамбле я ее всегда на бис исполнял. Публика постоянно повторения требовала. Хороша песня и для публики, и для исполнителя, сама из горла льется: “Пожалей, душа-зазнобушка, молодецкого плеча...”, — мигом состроив концертное вдохновение на лице, с чувством пропел дядя Йона, — и вот из-за этой песни скандал. Может, кое-кому не понравилось, что я, с моим пятым пунктом, пою ее лучше многих знаменитостей. Пою не механически, как граммофон, а живо и каждый раз по-новому. Пою не как исполнитель, а как артист, а у артиста, если он вдохновлен, в каждом спектакле одна и та же роль в новом образе... Да... Иногда пою, и у самого мурашки по телу: “Эх, цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись. Эх, па-а-а-а-адставляй-ка губки алые, ближе к милому прижмись...”

В стену застучали. Стены в этом старом доме толстые, звуко-непроницаемые, но одна из стен, оказывается, перегородка позднего происхождения, разделяющая бывшую очень большую комнату, почти залу. В большей части бывшей большой комнаты живет дядя Йона со своим антиквариатом и роялем, а в меньшей части живет токарь Хренюк со своей женой Надей.

— Я ему морду побью, — слышен из-за перегородки мужской голос, видно, самого Хренюка.

— Тише, Ваня, тише, не надо, — урезонивает женский, видно Надин.

— Слышите, — гневно реагирует дядя Йона, — я должен жить в

таких условиях, — и вдруг хорошо поставленным голосом выпаливает, — физия хамская! С-с-скатина! — он поворачивается к нам, — с ними иначе нельзя, на голову сядут... Вот, затих. Они пугливые, если один на один. В стае — другое дело. Когда они в стае, с ними не поспоришь, когда они от имени общественности, от имени народа. Так и с куплетом получилось. Обычно последний куплет "Коробейников": "Знает только ночь глубокая, как поладили они, ра-а-а-а-а-а... спрямись ты, рожь высокая, тайну свято сохрани... Э-э-э-э-э-э... Все!" — однако, я разыскал еще один в старом песеннике: "Старый Сидорыч ругается, я уж думал, ты пропал. Вася только ухмыляется: я, мол, ситец продавал... Э-э-э-э-э-э... Все!" — Этакий, знаете, скомороший, карнавальным концом истинно в народном духе. Однако — нет, затормозили: "Лирическую песню хочет в сатиру превратить, в анекдотики. Насмешечки строит над нашим национальным". Это так в кулуарах. А официально сформулировали округло, как умеют. Не придерешься, сам в дураках останешься. На беду еще главного Тимофей Сидорович зовут, намек почувствовал... Они, знаете, про нас еврейские анекдотики рассказывать горазды — "кухочка" — от души веселятся. А про себя ничего не терпят, реагируют болезненно, как горбатые. Нет, господа-товарищи, и вы потерпите. Если так, будем взаимно невежливыми... Да... Перелом за перелом, ожог за ожог... Хватит любить чужое, надо, наконец, полюбить свое. Хватит любить врага, надо, наконец, полюбить себя, как врага своего. Вывернутой наизнанку Христовой заповеди — вот чего нам, евреям, не хватает: полюби себя, как ты любишь врага своего, — дядя Йона все более ожесточает и распяляет себя, — гоим, хазерим, свиньи, мужики, хамы...

Мне даже неприятно становится с непривычки. К противоположному я привык: "Жид пархатый номер пятый". Это нормальный, натуральный реализм, который вписывается в окружающую действительность: небо сверху, земля снизу. А от высказываний дяди Йоны сюрреализмом отдает — небо снизу, земля сверху. Тревожный, непривычный мир... Смог бы ли я жить, смог бы ли я дышать в таком мире?

— Вы, ребята, через недельку заходите, — говорит дядя Йона, — я вам кое-что из своего нового репертуара покажу... Если своего оружия нет, воюем трофейным оружием врага... Заходите через недельку...

Однако, через недельку я не зашел. Зуб разболелся, как я уж

говорил, прямо на совещании у Кондратия Тарасовича Торбы. Совещание было трудным, неприятным. То внеочередную премию получили, а теперь и очередная срывалась из-за обыкновенной замазки для оконных рам. Замазка, разработанная нашим отделом НИИ, оказалась негодной, отовсюду поступали жалобы, и ее промышленное производство пришлось прекратить. Оконная замазка состоит из толченого мела и конопляного масла. Однако, в прежние времена для сохранения мягкости и прочности прибавляли еще коровьего масла. Ныне же разработанный нашим отделом заменитель коровьего масла оказался неэффективным.

— Что вы мне подсунули? — кричал добрейший Кондратий Тарасович Торба и стучал кулаком. — Вы бы такую олифу в свою мацу рекомендовали вместо христианской крови?

Когда они разволнуются, то говорят Бог знает что. К тому ж Кондратий Тарасович Торба с фронтовых времен контуженый и не всегда владеет своими нервами, особенно после разноса, который устроили ему в министерстве. Но человек он все-таки не злой, отходчивый хохол. Недаром о нем говорили: "Катылася торба з высокого горба, а в тий торби хлиб-поляныця, з кым ты хочеш подилыться?" Конечно, лучшее Торба себе брал, но и делился: тому прибавит жалованья, тому подбросит премию, того повысит в должности, тому внеочередной отпуск. Бирнбаум мне рассказывал, что Кондратий Тарасович через два дня его вызвал к себе и не то чтоб извинился, а скорее в мягких тонах объяснил причину своего волнения. В отделе кадров министерства ему порекомендовали произвести некоторые сокращения штатов, поскольку в НИИ работает слишком много евреев.

— Как же так? — говорил Кондратий Тарасович Торба. — Я на них опираюсь, а мне их предлагают сократить.

Именно — опирается. Наш маленький фруктовый садик консультирует, или, проще говоря, пишет Кондратию Тарасовичу диссертацию по деревянной замазке, применяемой в столярном деле. И как мне сообщил Бирнбаум, неудачу с оконной замазкой удалось компенсировать удачей со шпаклевкой, замазкой для заполнения трещин и неровностей дерева, причем наш заменитель коровьего масла здесь пришелся весьма кстати в смеси со столярным клеем и мелом. Так что отмененную премию все-таки удастся получить.

Но меня, лежащего с огромным флюсом после бессонных но-

чей и бесполезного дневного хождения по стоматологическим кабинетам, как-то не слишком вдохновляли эти успехи нашего НИИ. Поразительно меняется человеческая психология в зависимости от физиологических и моральных ощущений. За три недели несносных болей и бесполезных поисков спасения я ожесточился не менее дяди Йоны, хоть, конечно, без его крайностей. В одну из ночей, в полубреду, я даже написал заявление: “Прошу разрешить мне выезд в Израиль для лечения зубов”. Это заявление я к утру, когда утихло, разумеется разорвал, но идея осталась. Каждый приходит к этой идее своим путем. Вообще, под влиянием зубной боли я все более бунтовал и все более удалялся от нормы. Мир дяди Йоны с “хазерами” пугал по-прежнему, но и привычный мир с жидами тоже терпим лишь до чрезвычайностей. И наступает то состояние безысходности, которое черевато непродуманными проступками. Однако, изложу по порядку развитие воспалительного процесса в моей зубной мякоти и параллельно развитие воспалительного процесса в моей психике.

В солнечный, теплый день, может быть, в один из последних теплых дней этого года, шел я к Марфе Ивановне, зубной врачихе по рекомендации Бирнбаума. Помимо зубной боли, разбудившей меня в третьем часу ночи, ныл желудок, тяжело, камнем давил под левые ребра.

— Она такая милая, ласковая, чистенькая, — говорил о Марфе Ивановне рекомендовавший ее Бирнбаум в ответ на мой утренний телефонный звонок, — инструменты у нее в идеальной чистоте.

Действительно, Марфа Ивановна оказалась миловидной женщиной лет под сорок в золотых очках, в белоснежном накрахмаленном халате и белоснежной шапочке на кукурузного цвета волосах. Зубоврачебный кабинет ее располагался в небольшом медпункте какого-то учреждения, то ли закрытого, то ли полужакрытого типа. Во всяком случае, мне пришлось обратиться к пожилой, низкорослой женщине-охраннице с наганом на поясе поверх синего бушлата. Я предъявил паспорт. Охранница позвонила из настенного телефона, назвала мою фамилию и затем выписала на бумажке пропуск со штампом. В медпункте было тихо, чисто, маполюдно, несколько пчел успокаивающе гудели над большим букетом свежих цветов в стеклянной вазе. Казалось бы, незначительные детали, не имеющие прямого отношения к зубоврачебной медицине, но едва я вошел, окунулся в эту атмосферу

тишины и стерильной чистоты, как болеть стало меньше, в больной челюсти слегка лишь покалывало и постукивало, а желудок и вовсе прошел. Какой, однако, контраст с поликлиникой, всегда по-вокзальному переполненной, нервной, со страждущим человеком, с вечными спорами по номерам ли идти, или в порядке живой очереди. Причем, как правило, настаивали на "живой очереди": "Они номерок возьмут и на воздухе прохлаждаются, а мы здесь с самого утра". Чего только не услышишься в такой "живой очереди". Помню, в дни смерти Сталина я юношей тоже мучился зубами и сидел в такой живой очереди у себя в провинциальном городе. Помню разговоры. Молодая, с перевязанной щекой, сквозь рыдания:

— Врачи-убийцы. Они убили товарища Сталина.

Пожилая, горячими углями глаз поглядывавшая на меня, к молодой, как бы угроза в мой адрес:

— Молчи. Без нас разберутся...

"Но теперь все-таки иные времена. То, что было опасным, стало просто неприятным. А то, что просто неприятно, всегда можно преодолеть усилием воли или циничным пренебрежением". Так я успокаивающе думал под впечатлением нахлынувшего воспоминания, когда садился в зубохирургическое кресло. Нависающий клюв зубохирургической машины всегда вызывал во мне дрожь, но прикосновения Марфы Ивановны были так нежны, что я даже начал получать некоторое удовольствие, когда она острыми крючочками ковырялась в моем зубе, когда она, поблескивая зеркальцем, наклонялась ко мне и просила меня своим милым, ласковым голосом держать рот пошире открытым и даже когда она блестящими щипцами доставала из чистой аптечной баночки вату и кормила меня этой невкусной, шершавой ватой, обкладывая воспаленную десну, все равно было приятно и спокойно. Правда, зубохирургическая бурильная машина, как всегда, показала себя, все время, пока она выла, ныло под сердцем, а несколько раз острая боль сначала была вниз, прокалывая челюсть, а затем вверх, в мозг, выходя через затылок. Я косил тогда молящим, страдающим глазом и видел лицо Марфы Ивановны, дрожащее высоко надо мной.

— Сейчас, сейчас окончу, миленький, — успокаивающе шевелились крашенные помадой губы.

Наконец, она остановила машину, позволила мне сплюнуть кровавую слюну в плевательницу, подала тепловатую воду в чи-

стом стакане и опять наступила райская тишина, пока она возилась у меня за спиной, готова замаску для пломбы.

— Через десять дней придете для контроля, — сказала она мне, когда все было завершено и пломба плотно замаску дупло моего зуба-мучителя. Я в порыве благодарности поцеловал Марфу Ивановне руку. Она улыбнулась очень светло, с морщинками у глаз, и сказала:

— Зуб ваш уж свое отболел. Два часа не есть и не пить.

“Хорошая женщина”, — думал я о Марфе Ивановне, идя пешком по солнечной улице параллельно трамваям, проносившимся мимо. В вагон лезть не хотелось. Силы, отвлекаемые и растрчиваемые прежде зубной болью, как-то разом возвратились, наполнили тело, наполнили пружинистые ноги, казалось, всю Москву пересечь могу без усталости, и действительно, даже не заметил, как дошел от Сокола, где располагалось учреждение при котором работала Марфа Ивановна, к площади Пушкина. “Хорошая женщина, — думал я о Марфе Ивановне, — уже не первой молодости, но на молодую не променяешь. Отчего Саша Бирнбаум никогда не приглашает ее к нам на пирушки? Впрочем, наверно она замужем, у нее дети... Жаль... Но все-таки хорошо... Как хорошо...” Я словно бы опьянел от этого поразительного, великолепного чувства отсутствия зубной боли. Не хотелось даже ни с кем встречаться, хотелось как можно дольше наслаждаться радостным чувством полного здоровья в одиночестве. Тем не менее позвонил в НИИ, в наш отдел, сказал, что с понедельника смогу выйти на работу, потом попросил к телефону Сашу Бирнбаума, поблагодарил его, попросил еще раз от моего имени поблагодарить мою спасительницу и заодно спросил, как с ней расплатиться. Договорились встретиться завтра за дружеским ужином с водкой, жареными грибами и рубленой селедочкой.

— Заодно, — сказал Саша, — обсудим и детали.

После нескольких мучительных бессонных ночей и после сегодняшней радостной пешей прогулки по солнечной Москве я почувствовал себя таким утомленным, что лег без ужина в седьмом часу вечера еще при светлых окнах, и едва опустил голову на подушку, как тут же мертво уснул. Проснулся я ночью, непонятно от чего. Потом глянул на часы и понял — начало третьего, время, когда она обычно приходила, если до того — затихала. А если не затихала, то в это время особенно усиливалась. И едва я понял, что проснулся во время ее обычного прихода или уси-

ления, как почувствовал — она опять со мной. Да не просто опять такая, как была, а уж в новоприобретенном качестве, напоминающем те моменты, когда Марфа Ивановна мне зуб сверлила: сначала сверху вниз раскаленной иглой прокалывало мне челюсть, а потом снизу вверх било в мозг и выходило через затылок. Боль стучала, как маятник. А -а-а-а-а-а... Спать положите вы меня... Ай-люли-люли, ай-люли-люли... Спать положите вы меня... Ка-а-а-а-а-а... Вот уж и рассвет, вот уж и солнце нового дня...

При этом солнце, под этим солнцем еду незванным гостем к Марфе Ивановне, еду на такси, чтоб быстрее, чтоб опередить боль, которая, чувствую, еще не сказала своего последнего слова. Знакомая проходная на Соколе, знакомая охранница с наганом. Говорить и объяснять трудно, но охранница и без слов понимает — моя щека уже набрякла. Я показываю паспорт, она, как и вчера, звонит по настенному телефону, меня пропускают. Так же тихо, малоллюдно, чисто, так же гудят пчелы над букетом свежих цветов, но теперь это не успокаивает, а раздражает. Гудение пчел, как ножом по стеклу, терзает напряженные нервы. Приходит Марфа Ивановна все в тех же золотых очках, в том же белом накрахмаленном халате и белой шапочке, но теперь это вызывает чувство холода, меня от этого знобит. И сама Марфа Ивановна сегодня выглядит по-другому, лицо мягкое, рот недобро сжат.

— В чем дело?

— Болит.

— Садитесь в кресло. Откройте рот. Теперь закройте. Понятно. У вас неправильный, патологический прикус. В результате ваши зубы пептонизированы.

Что такое "пептонизированы" я не знаю, но судя по слову — это нечто страшное. Я вообще боюсь медицинских терминов — гипотермия, гипотермия, перистальтика... Когда болел мой отец, подобные слова постоянно звучали в нашем доме. И действительно, отец вскоре умер. А вот теперь эти слова поразили и меня.

— Но что ж мне делать? — со страхом и надеждой спрашиваю я.

— Нужна сложная челюстная операция. Возможно, даже пересадка тканей. Я тут вам, как вы сами понимаете, помочь не могу.

— А кто же мне может помочь?

— Не знаю. Не уверена, делают ли у нас вообще такие операции. Кажется, в Америке делают и еще кое-где. Есть еще одна страна, где делают, — Марфа Ивановна смотрит на меня неопре-



деленно, туманно. Трудно понять, что она хочет сказать этим понятным намеком — “Уезжай туда, пусть тебя там лечат”? До Америки далеко, до “еще одной страны” не ближе. Что мне делать сейчас, сегодня днем и будущей ночью, особенно в третьем часу, когда боли станут несносными?

Спросил я так многословно или просто повторил свой прежний вопрос: “Что мне делать?” Уж не помню, в голове туман. Помню лишь, положил на край стола десять рублей и Марфа Ивановна накрыла их книжкой.

— Если будет сильно болеть, — сказала Марфа Ивановна и посмотрела на меня мягче, почти как в прошлый раз, — если терпеть не сможете, возьмите на палец кефир и помажьте десна возле больного зуба.

Действительно помогло. Минут на десять становилось легче. К утру вовсе удалось забыться от усталости и изнеможения. Проснулся около полудня. На столе пустые кефирные бутылки, на полу и на столе засохшие кефирные пятна, во рту кисло, тошнит от кефира — состояние ужасное. Однако, и зубная боль видимо утомилась, ныло терпимо, словно в отдалении, собираясь с силами, чтоб опять вплотную приблизиться в следующую ночь. Воспользовался передышкой, сосредоточился, подумал, что предпринять. Думал недолго, как-то сразу всплыла фамилия — Вайнтрауб. Действительно, как я сразу к нему не обратился. Борис Вайнтрауб несколько лет назад работал в нашем отделе и его даже причисляли к нашему фруктовому садику. Правда, дружба с ним не получилась, с Рафой Киршенбаумом он впрямую поскандалил и вообще работал у нас недолго, но какие-то связи я с ним сохранил, иногда мы перезванивались, то он мне позвонит, то я ему, когда делать нечего, а поболтать хочется. Вспомнил, что Вайнтрауб рассказал как-то — у него связи с медициной, поскольку он работает теперь в НИИ по проектированию медицинской аппаратуры. Позвонил — Вайнтрауба дома нет и быть, кстати, не может, поскольку время-то рабочее.

— А кто это? — спрашивает молодой женский голос, видно — жена.

Действительно, ведь Вайнтрауб рассказывал, что недавно женился. Хотел пригласить на свадьбу, но якобы не смог дозвониться.

— Это товарищ Бориса, Веня Апфельбаум.

— У вас к Боре срочное дело?

— Видите ли, для меня срочное... У меня зубы болят... Конечно, я понимаю, стыд, срам своими болезнями людей беспокоить, но видите ли, болит...

— Позвоните ему, — и назвала телефон, — это его рабочий телефон... Попросите зам. начальника отдела.

“Ого, — Вайнтрауб уже зам. начальника”. Звоню.

— Пожалуйста зам. начальника отдела товарища Вайнтрауба.

— Куда вы звоните? — сердито спрашивает меня низкий мужской голос.

— Простите, это НИИ по медицинской аппаратуре? Извините, не знаю точно, как называется ваше учреждение.

— Кого вам надо? — не отвечая на мой вопрос, сердито допрашивает мужской голос.

— Вайнтрауба.

— Никакого Вайнтрауба здесь нет.

Гудки. Опять звоню домой Вайнтраубу.

— Тысячу извинений, миль пардон... Наверно я неправильно записал телефон. По этому телефону Вайнтрауба нет.

— Ах, простите, я вам забыла сказать, что Боря теперь не Вайнтрауб, а Борщ.

— Борщ? Почему Борщ?

— Это моя девичья фамилия. А по закону муж имеет право взять фамилию жены, точно так же, как жена фамилию мужа.

“Значит Борщ. Борис Борщ — хорошо звучит. Вот ловкач”.

Звоню и прошу к телефону товарища Борща. Включают. Борис у телефона.

— Почему ты сразу мне не позвонил? Ведь ты знаешь, как я к тебе отношусь, я всегда готов помочь хорошему человеку. Неудобно? Что за пижонство. Неудобно, когда туфли жмут или когда штаны через голову одеваешь... Извини меня, Веня, но ты пижон и за свое пижонство ты страдаешь. Сколько у тебя дней зубы болят? И это тебе надо? Завтра пойдешь к моему племяннику, Моисею. Зубной врач первой категории. Его бы в Кремлевку пригласили, если б не пятый пункт... Знаешь, полы паркетные, врачи анкетные... Но ничего, ему и у художников неплохо... Все знаменитости стараются к нему. Без пяти минут кандидат медицинских наук... У тебя что болит?

— Я же сказал, зубы.

— Я понимаю, зубы... По поводу другой болезни обычно обращаются к урологу. Хоть можно и перепутать. Знаешь — грузин

приходит к глазнику: “Доктор, помагите. Кагыда сыцать начинаю, гылаза на лоб лззут...” Но шутки в сторону. Зубы бывают разные. Бывают резцы, бывают клыки, бывают коренные.

— Кажется, коренные.

— Коренные — значит тебе особенно повезло. У Моисейчика по коренным диссертация. Его у нас в семье Мойсей-хухем зовут. Моисейчик-хухем... Умница.. Скажешь — от дяди Бори, он тебя примет, как родного. Считай, что зубы у тебя уже не болят. Ну, а так что нового? Последний слышал? Четыре еврея сидят на Марсе...

## II

В большой приемной “у художников” было тесно от ожидающих своей очереди больных. Несколько, как и я, были с флюсами, одна дама то сидела скорчившись, то начинала покачиваться, и от ее покачивания мой зуб днем начинал ныть совсем по-ночному. Обстановка неприветливая, друг на друга косят, меж собой не общаются, сидят тихо, господствующий звук — маятник настенных часов, да ветер, завывая, треплет за окном деревья. Глянешь влево — пятнадцать минут минуло, опять глянешь — полчаса прошло. Хоть Вайнтрауб и обещал, что меня примут “как родного”, судя по всему, мое положение еще более бесправное, чем в своей районной поликлинике. Да и обстановка “у художников” напоминает общедоступную, минздравовскую: душно, грязновато, бедно, персонал проходит мимо со скучающим, равнодушным лицом. Подошел к регистратуре, начал приветливым, угодливым и интимным шепотом.

— Я от Бориса Леонидовича к доктору Вайнтраубу.

— Сидите и ждите, — перебила официально, даже не спросив фамилии.

Самого “доктора Вайнтрауба” я увидел мельком где-то через полтора часа ожидания. Приоткрыв дверь кабинета, он что-то сказал вдогонку выходящей молоденькой медсестре с архирусским вздернутым носиком. Кажется, пошутил, потому что оба рассмеялись. Вскочив со своего места, я, под неприязненными взглядами иных ожидающих, быстро приблизился и сказал:

— Здравствуйте, доктор. Я Апфельбаум. От Бориса...

Доктор продолжал смеяться вслед уходящей медсестре, пока-

зывая свои, довольно кривые, прокуренные зубы, что меня неприятно насторожило. Впрочем, сапожник ходит без сапог, успокоил я себя. С некоторых пор, с начала моих мучений, я начал заглядывать людям в рот, так же, как модница глядит, что иные носят. Вот и я смотрел, какие у кого зубы, завидуя тем, у кого они белые, ровные, как у молоденькой медсестры, блеснувшей улыбкой, адресованной "доктору Вайнтраубу".

— Придется немного посидеть, — сказал мне "доктор Вайнтрауб", скрываясь опять в кабинете.

"Доктора Вайнтрауба" я уже много раз видел под другими фамилиями и в других обстоятельствах. Это именно тип "хухема" — лобастый, очкастый, с большим плотоядным ртом, на щеках юношеский румянец. Принял он меня последним, когда приемная была уже совершенно пуста и из кабинета вышел посетитель, пришедший гораздо позже меня под вечер, ибо уже темнело.

— Так, — сказал "хухем", поблескивая зеркальцем на лбу, — очень интересно... Попрошу всех сюда, — обратился он к медсестрам и каким-то молодым людям, очевидно, практикантам, — какие усложненные формы, явно многобугорковые и многокорневые. Вот уж действительно не спутаешь с костной тканью... Как давно это у вас? — обратился он ко мне.

— Недели три... Особенно ночью.

— Понятно... Ну, процесс разрушения, конечно, начался гораздо ранее... Закройте рот... Патологический прикус, редко встречаемый. И плюс общее воспаление. Вы должны перестать пользоваться спичками для очистки зубов после еды.

— Но я не пользуюсь.

— Значит вы пользуетесь плохими зубочистками. Всякого рода зубочистки, обладающие острыми верхушками или острыми краями, вредны, потому что, проходя по зубному промежутку, они ранят десны и в загрязненных ранах поселяются гнилостные микроорганизмы, обращающие ваши зубы в очаг гниения и разложения. Затрудняется химическое воздействие на пищевой комок фермента слюны. У вас, безусловно, нарушения функции пищеварительного аппарата, нарушен обмен веществ.

— Но что же делать? — спросил я, околочательно запуганный.

— Что делать? — развел руками "хухем" — Если бы я знал, что делать, я был бы уже лауреат Нобелевской премии, — он сверкнул глазами в сторону молоденькой, курносой медсестры, и она опять колокольчиком засмеялась. Улыбались и стоящие вокруг

медсестры и практиканты. Очевидно Моисей-“хухем” был их любимым авторитетом, особенно у женщин, — знаете ли вы, что один американский миллионер, так же страдающий вашей болезнью, выделил несколько миллионов как премию тому, кто найдет противоядие... К сожалению, я пока не нашел. Единственно, что я могу вам посоветовать — правильно пользуйтесь зубочистками и зубными щетками, надо чистить зубы не только спереди, но и под жевательными мышцами у задних коренных зубов, где скопление гнилостных микроорганизмов особенно велико. И не полощите рот всякого рода эликсирами со всякого рода антисептиками, которые вместо того, чтоб останавливать бродильные процессы во рту, дурно влияют на слизистую оболочку. По моему мнению, наилучшим полосканием для рта является обыкновенная чистая, теплая вода.

Он чем-то тепловатым побрызгал мне в рот, чем-то прикоснулся к зубам, что-то ковырнул. Я ушел от него задыхаясь, у меня даже зубная боль ослабла, так я был взбешен. Просидел полдня в духоте, чтоб выслушать умничанье “хухема” о гигиене рта. Мысли мои были ужасны. Вспоминая лицо “хухема”, его голос, его усмешечку, я антисемитствовал, как мог.

Надо сказать, с начала моей зубной болезни я начал вести что-то вроде дневника. Первые мысли были умеренные: “Когда у человека болят зубы, это уже занятие. По крайней мере, скуки он не испытывает”. Но постепенно записи стали более нервными, я начал хулить общество, власть и все чаще подумывал о подаче заявления на выезд. Время, кстати, было самое “выездное”. Многие “подавали” и многим “выдавали”. Как выяснилось, подал на выезд не только Ковригин-Киршенбаум, но и его племянник, мой друг Рафа. Да и вообще, “подачи” были самые неожиданные.

Как-то встретился мне на улице Горького у кафе “Националь” Паша Пуповинин, ярославский парень, с которым я некогда познакомился в милиции, где мы вместе томились в приемной, как лимитчики, добивающиеся московской прописки. Я, после сложных мытарств, получил прописку по ходатайству нашего НИИ, а точнее, по телефонному звонку нашего Торбы, имеющего какие-то личные связи, а Паша получил прописку как дворник, хоть по профессии был резчик по дереву. Оказалось, что и Паша намерен “скрыться за бугром”, как он выразился.

— Помнишь “Слово о полку Игореве”? — “О, русская земля,

ты уже за бугром". На еврейке женюсь. Недаром говорят: жена — не роскошь, а средство передвижения...

Паша любил афоризмы. Однажды я ходил с ним на футбол и по поводу проигравшей команды противника он выразился: "Кто с мячом к нам придет, от мяча и погибнет". Признаюсь, Паша внес свежую струю в мою воспаленную, замученную зубной болью, жизнь. Взяли мы с ним по сто граммов, по кружке пива, поговорили. Зубы он мне посоветовал полоскать водкой, смешанной с мочой.

— Что ты, Венька, морщишься? Я ведь тебе не советую чужой мочой полоскать, полоскай своей. Я, признаюсь, из простого любопытства как-то собственное говно попробовал. Чужое не стал бы, а свое попробовал.

— Ну, и как?

— Зачем мне делиться с тобой своим опытом? Сам попробуй, тогда поймешь.

Мы с ним договорились встретиться в ближайшее время, кое-что обсудить и обменялись телефонами. Паша теперь жил и работал в ином месте, занимался чем-то вроде реставрации старых икон.

— Зарабатываю неплохо и лицом не дурен, да и силушка имеется, а вот деваха моя, зазноба моя, мне отказала. За богатого старика, партработника замуж вышла. Ну раз так, думаю, и я по-иному женюсь, чтоб для подачи было... Из интереса женюсь, а не по любви. Женюсь, и за кордон... Пусть деваха моя с партработником здесь остается, а я свои глаза подальше... Тяжко, Венька... Я и унижался перед ней, и угрожал ей, да что поделаешь... Верно в народе говорят: "Кулаком целку не прошибешь..." Ты меня понимал?

Да, я его понимал, потому что зубная боль сродни сердечным мучениям: бессонные ночи, воспаленные рассветы. И та же безысходность, ты один на один со всем этим безжалостным, причиняющим боль миром. Но пока мы живы, мы надеемся, то есть лечимся.

Еще одному позвонил — Каплану из Звездного городка. Не стану объяснять, откуда я его знаю. Какое-то сложное, тройное знакомство, истинно московское.

— Здравствуйте, как выживаете? Ай-яй-яй... Что вы говорите?

Каплан низенький, толстенький, с большими запорожскими

усами и весело поблескивающими маленькими карими глазками. Жена его такая же низенькая, толстенькая, кареглазенькая, похожа на Каплана, словно не жена, а сестра. Той же породы и дочь, которая, кажется, имела и имеет на меня виды. Дочь смотрит с сочувствием.

— Как вы изменились. Вас не узнать. Что с вами?

— Зубы... Ноют проклятые уж не помню сколько ночей.

— Зубы вылечим, — уверенно говорит Каплан, он вообще говорит и держится уверенно, — поедешь к моему двоюродному брату, Мише Каплану. Я ему позвоню сегодня вечером домой.

Поскольку я явился с просьбой, Каплан чувствует себя по отношению ко мне начальником. Я соблюдаю субординацию. "Все-таки, — думаю, — Каплан — не Вайнтрауб. Звездный городок... Синдром Каплана..." Как-то в одну из предыдущих встреч Каплан показал мне медицинский справочник, где среди прочего был и "синдром Каплана", названный так по имени отца, специалиста по полиартриту, профессора. Встречаемся мы в квартире отца, ныне умершего. В большой квартире теперь постоянно живет дочь Каплана Евгения, студентка медицинского института. У Каплана еще одна квартира в Звездном городке. Чем он там занимается — секрет, но наверно по медицинской части. Разговор крутится вокруг некоего Васи, друга семьи.

— Только из-за интриг большого начальства Вася не полетел, — горячится Каплан, — но он полетит, — обнадеживает меня Каплан.

У Каплана крепкие, ровные зубы, несколько золотых коронок. Он все время довольно мурлыкает, напевает: "Брось, капитан, не грусти, не зови ты на помощь матросов..."

— Ужасно у тебя усы отрасли, — говорит Каплану жена, — хотела ему усы обрезать — не дает, — обращается она ко мне.

Судя по всему, люди эти довольны жизнью, чувствуют себя спокойно, прочно, хорошо, ничего им не болит. Невыносимо видеть это. Во мне развилось чувство неприязни к людям, у которых не болят зубы и у которых вообще все в порядке. Это можно было бы назвать синдромом Апфельбаума. Две квартиры, автомобиль "Жигули", здоровые зубы — невыносимо...

Утром еду к Мише Каплану. Еду далеко, сначала долго на метро до Автозаводской, потом в переполненном автобусе. Местность вокруг унылая, московская индустриальная окраина: унылые однообразные дома, колдобины, лужи, хрустят под ногами шлаковые отбросы. Поликлиника, шлакоблочное здание, стоит почти

что в открытом поле. В поликлинике никого — еще слишком рано. Сажусь на влажную скамейку у крыльца, жду мрачно, с чувством безнадежности. Наконец, на выложенной кирпичом дорожке к поликлинике показывается первая фигура — высокая, сутулая, с печальным, козлиным профилем. Я поднимаюсь и иду ей навстречу, угадывая — это Миша Каплан. Он выслушивает меня, почему-то оглядываясь, точно мы договариваемся о чем-то запретном.

— Пойдемте, — говорит Миша, а глаза скользят мимо, бегают беспокойно и весь Миша — точно некогда запуганный, раз и навсегда.

В пустом, гулком вестибюле поликлиники Миша берет ключ от своего зубоврачебного кабинета, открывает. Мы входим. Сильно пахнет какими-то лекарствами.

— Не догадались проветрить, — говорит Миша и нервным рывком открывает форточку, — садитесь, садитесь в кресло, — он одевает халат, берет из шкафа и одевает зеркальце на лоб, — ночные боли? — кратко спрашивает он, осматривая мои зубы.

— Да, боли... Обращался к нескольким врачам, говорят прикус плохой — вот причина.

— Да... Ох, Боже мой. Ничего нельзя сделать. У вас патологический прикус, который ведет к исчезновению зубной ткани. Наверно, и кишечник не в порядке.

— Да, побаливает.

— Неудивительно. Застревающие кусочки пищи, дентин из зубной мякоти, и это все гниет, миллиарды микроорганизмов проглатываются с пищей, попадают в желудок, в легкие... Ох, Боже ты мой...

— Но что же делать? — задаю я все тот же, ставший привычным вопрос.

— Ах, что делать, — вздыхает Миша, — вам сколько лет?

— Тридцать два.

— Хороший возраст. Если бы мне было тридцать два, я бы уехал. Вы на эту тему говорили с моим двоюродным братом?

— Нет, не говорил.

— Знаете, он в принципе одобряет, хоть сам ехать не собирается. Да его и не выпустят из-за ответственной секретной должности.

“Не могут же эти, совершенно разные, незнакомые люди сговориться, — думаю я, выходя из поликлиники, — значит, действи-



тельно с моими зубами, с моим здоровьем плохо и здесь мне помочь не могут. Таким образом, мой отъезд вполне оправдан — для лечения за границей. Мама меня обязана понять, если она желает мне добра”.

Мама у меня член партии с большим стажем, известный в нашем городе лектор-пропагандист. Я знаю, мой отъезд был бы для нее ужасен и в личном плане, и в служебном. Но теперь она должна понять. А если не поймет, значит ей не дорого мое здоровье, моя жизнь. Надо подумать, как действовать далее. Прежде всего — уволиться с работы, чтоб не было проблем с характеристикой, как у Киришенбаума. Второе — надо завести новые связи, перестроиться психологически. Может, действительно попробовать лечить зубы смесью водки с мочой, как советовал Паша.

Паша живет далеко, где-то в Беляево-Богородском, но мы договорились встретиться с ним в центре на его бывшей квартире, где ныне обитают пашины друзья Володя и Ленка, заменившие Пашу на посту дворника, по его рекомендации. Собственно, числится дворником Володя, а Ленка помогает, поскольку участок работы большой — тротуар перед домом, обширный двор и прочее. Дом и двор образца тридцатых годов: асфальт, тесаный камень — вид индустриальный и вне, и внутри квартиры, где под потолком какие-то наспех покрашенные трубы, из стены на кухне торчит обрезок двутавровой балки, к которой привязан один из концов бельевой веревки, сплошь увешанной детскими распашонками, слюнявчиками, пеленками. В комнате и на кухне густой кисло-сладкий запах младенческих испражнений. Младенцев двое, полутора-двух лет. Трудно понять, какого пола, оба с одинаковыми, голубенькими володинами глазками и пухлыми бледными личиками, густо измазанными какой-то светло-коричневой кашицей, которой кормит их Володя, зачерпывая эту кашу из стоящей перед ним эмалированной мисочки. Кивнув мне и Паше, продолжает кормить, время от времени согнутым указательным пальцем левой руки утирая вымазанные личики обоих младенцев и облизывая этот свой палец. Отворачиваюсь, якобы заинтересовавшись тощей полочкой с книгами, ибо едва подавляю тошноту. Честно говоря, нет ничего более отвратительного, чем бедное, неряшливое младенчество. Но для Володи эти младенцы явно цветы жизни, розовые ангелочки.

— Любят шоколадную кашу, — говорит он нам, — ничего другого есть не хотят, а ее в продаже не достать. Ленка раньше на

кондитерской фабрике работала, на шоколадном конвейере, так по знакомству иногда достаем.

Володя худой, жилистый, незагорелый, сидит в синей майке. Ленка, тоже худая, бледная, веснушчатая, хлопчет над большой кастрюлей с вывариваемым бельем. Лицо у нее в желтых пятнах — беременна. Паша выставляет на стол бутылку водки.

— Ах, — всполошилась Ленка, — у меня и закуски нет, совсем замоталась.

Водку закусываем холодной манной кашей.

— В обед сварила, а они ее есть не захотели. Им шоколадную подавай. Когда я сама на расфасовке стояла — другое дело. А теперь уволилась — достать трудно. Спасибо, подруга достает.

— Трудная работа? — спрашиваю я из вежливости, чтоб как-то поддержать разговор.

— На конвейере трудная, — отвечает Ленка, — на расфасовке полегче, но платят меньше... Я когда в дурдоме была, в психушке, тоже работала на расфасовке. Лавровый лист в пакеты расфасовывала. Была там у нас пожилая женщина, работать не могла, у нее руки дрожали. Целый день только сидела, кивала головой и беспрерывно повторяла: коммунизм, коммунизм, коммунизм, коммунизм... Беспрерывно... На нервы действовала всем.. Так, представьте себе..

Но что представить себе, так узнать и не удалось, поскольку Володя, который до того отнес младенцев в комнату, вернулся и, услышав, что в его отсутствие жена разговорилась, прервал ее на полуслове и отослал к детям. Видно, ему неприятно было, что она рассказывает о своем дурдомовском прошлом посторонним, да и вообще чувствовалось, что Володя на жену давит, угнетает, ограничивает ее самостоятельность, а ей явно хочется поговорить, посмеяться при новом человеке. Володя, безусловно, консерватор, на жидкой полочке "Как закалялась сталь", "Молодая гвардия", песни Лебедева-Кумача, трехтомник Шолохова. Странно, как он терпит пашино диссидентство. Видно, по старой дружбе.

— Сейчас диссиду читаю, ух интересно, — говорит Паша.

— Сегодня диссидент, а завтра сидент. А книги эти — макулатура. Пробовал читать, помнишь, ты мне брошюрку давал? — Не дочитал. Куда ее? Селедку заворачивать или на гвоздь в туалете... Вот Шолохов — это писатель.

— А ты знаешь, что твой Шолохов чужую книгу украл, — заво-

дится Паша, — и фамилия у него не Шолохов, а Шолох... Что-то наподобие Шолох-Алейхема.

— Будет тебе врать.

— Ну хорошо, вру, вру... Такие дела не для тебя, Володя. Я тебе больше ничего давать не буду. А тебе, Венька, я достану... Кое-что дам... Только бы еще "Континент" последнего выпуска достать.

— Экая невидаль, — вдруг говорит Володя, уязвленный замечанием Паши, — у меня есть. Последнего выпуска.

— Ты что? Откуда? — удивляется Паша.

— Это у него есть, — подтверждает и Ленка, которая входит из комнаты на кухню и слышит последние слова.

— Не может быть. Покажи.

— Принеси, Лена, — говорит Володя.

— Ерунда какая-то, — говорит Паша, — ты хоть знаешь, где "Континент" выпускается?

— А что там знать. На нем же написано. В Йошкар-Оле.

— Чего? В какой Оле?

В это время Ленка приносит коробку с электробритвой. Паша долго смеется.

— Чего ты, — говорит Володя, — чего это ты проглотил? Не видишь — надпись? "Континент", Йошкар-Ола. Последний выпуск.

— Голова садовая, я тебе про журнал, а ты мне электробритву показываешь. Ты хоть слышал, какие журналы за рубежом издаются? "Континент" вот в Париже, "Известия для всемирного христианства", не помню, где издается, и еще в Америке журнал недавно читал, вот название в голове вертится, — Паша глядит в потолок, вспоминает, — ах, вот оно, вспомнил — "Евреи и мы".

— Все это мусор, — говорит Володя.

— Ну мусор, мусор, не будем спорить, про споры очень хорошо в одной книге написано... Не помню, как, но помню, что хорошо... Как-то плюс на минус...

— В какой книге? Кто автор, — спрашивает Володя.

— Розанов, — отвечает Паша.

— Первый раз слышу, — говорит Володя, — какой Розанов? Может Розов?

— А который Розов, — вмешивается Ленка, — ой, ребята, я такая серая, что я и Розова не знаю.

— Как же, — говорит Володя, — по телевизору недавно выступал... И в газете про него было... Марк Розов...

— Ой, вспомнила, — говорит Ленка, — сначала он выступал, а потом песни пел. Там одна песня мне понравилась — “На мотоцикле”: “На мотоцикле, на мотоцикле...” Хорошая песня.

— Хорошие ребята, — говорит Паша, когда мы выходим в ночь, — хорошие ребята, но темные. Спорит Володя по-советски, а донести — никогда не донесет. В этом можешь быть спокоен.

Мы идем к метро, вздрагивая от холода.

— Сыро, как на Камчатке, — говорит Паша, — я на Камчатке служил, на сырой камчатской земле. Самое сырое место в Союзе. А мне солнца хочется. Я б в Италию поехал. В Италии, говорят, церквей много, резчики по дереву, реставраторы нужны. А ты куда?

— Не знаю... Я еще не решил... Вызов нужен.

— Вызов я тебе устрою, сведу с людьми. Только момент надо выбрать. Сам понимаешь, за нами следят. Потому я для первого раза у Володи с тобой встретился... Вот, возьми для начала, — и сует мне нечто, завернутое в газету.

Мы расстаемся, Паша идет к автобусной остановке, я спускаюсь в метро. В метро теплей, но меня по-прежнему трясет. Сказать честно, я начинаю трусить. Впервые в жизни нелегальщина, недозволенные книги, которые прощупываются сквозь газету. Вот куда привела меня зубная боль. Зубы, меж тем, уже ноют, пока боль терпимая, надо спешить домой, смазать десну кефиром, а если не поможет, то попробовать полоскать мочой. В глазах мерцает, от водки и холодной манной каши тошнит, но главное не это, я впервые начинаю понимать, что такое настоящий страх, мне кажется, на меня смотрят со всех сторон. Вон станционный милиционер прошел — смотрит. Может, лучше было бы по поводу своих выездных замыслов поделиться не с Пашей, а с Рафой Киршенбаумом, у которого есть свои связи. Но при всей моей любви и уважении к Рафе, существуют опасения, что мои намерения раньше времени распространятся в институте. О самом Рафе, кстати, узнали раньше, чем он подал заявление. А Паша все-таки далекий друг, совсем другое общество. Впрочем, мои рассуждения, возможно, наивны. Возможно, они навеяны синдромом Апфельбаума, в который, как я теперь понимаю, входит целый ряд сложных компонентов. Первоначально мне казалось, что синдром Апфельбаума связан исключительно с зубной болью и выражается в неприязни к людям, у которых зубы не болят. Но теперь я понимаю, что это лишь частный случай, мой синдром гораздо мно-

гогранней. И пока я еду в пустом ночном вагоне метро и через щеку жжет зубная боль, а через газету жгут опасные книги, мне кажется, что вот-вот я выведу окончательную формулу синдрома Апфельбаума. Но домой я приезжаю без формулы и не только уж с зубной, но и с головной болью. Луна в эту ночь не просто светила — горела, окно было резко очерчено и за окном словно лунный пожар, а в комнате его отсвет. Мне больно и страшно. Как ни странно — это более терпимо, чем просто больно. Когда несешь тяжесть в двух руках, два полных ведра — одно уравновешивает другое. Вспоминаются Володя, Ленка, Паша — невольно становится смешно, держусь за щеку, чтоб не рассмеяться. “Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно”. Да, с матерью будет трудно. Моя мать — седая большевичка. Милая моя мама. Любовь к маме и прочие подобные чувства тоже входят в синдром Апфельбаума, в его сложное сочетание. “Шалун уж отморозил пальчик, ему и больно, и смешно...” Милая мама, сколько ей пришлось потерпеть из-за моих шалостей. Помню, в седьмом классе при неопытной учительнице — практикантке пединститута то ли из шалости, то ли еще по каким-то неясным мне самому причинам, я прочел стихи Пушкина так:

“Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,  
И назовет меня всяк сущий в ней язык,  
И гордый сын славян, еврей, и ныне дикой,  
Тунгус и друг степей калмык...”

Вначале как-то сошло, наверно практикантка не совсем твердо знала пушкинский текст, но затем, по доносу старосты класса, дело обнаружилось и приняло неожиданный размах. Меня исключили из комсомола, чуть не исключили из школы... Бедная моя мама...

Так хожу из угла в угол, думаю, вспоминаю, пробую заглушить тяжесть в желудке, холод в животе и конечно же зубную пытку. В третьем часу ночи, когда боль, как обычно становится невыносимой, я вместо кефирного рецепта Марфы Ивановны решаюсь на пашин рецепт. Смешав водку с мочой, зажмурив глаза, полоскаю воспаленные десна. Становится легче, становится совсем легко. Пытаюсь лечь, уснуть — не спится. Тогда достаю из газеты пашины книги. Одна из них — Розанов, о котором упоминал Паша. Странная книга, никогда прежде подобного не читал. Чем далее читаю,

тем более понимаю — это книга сладкая и вредная для ума, как шоколад сладок и вреден для зубов и желудка. Несколько страниц прочел с наслаждением, а потом понял — объелся. Взял другую книгу. Какая-то политическая фантазия с матерком. Тут все наоборот — вначале скучно было, а затем увлекся. Остроумно написано. Одни имена, фамилии да клички чего стоят... Хаимпоц — ничего... Дядя Елдак — ничего, ничего... Гжегож Пьязда — смеюсь, держась за большую щеку. От смеха зубы опять начинают ныть. Уже смелей и уверенней повторяю рецепт Паши. Засыпаю. Просыпаюсь при ярком свете дня, зубы ноют терпимо. Настроение сложное и многогранное, но в пределах синдрома Аффельбаума. Лежу некоторое время с открытыми глазами без мыслей, а потом, так же без мыслей, сам не зная отчего, звоню Ковригину-Киршенбауму, дяде Йоне.

— Что ж ты пропал?

— Зубы болят.

— Это я тебе устрою. У меня хороший зубной врач. Приезжай прямо сейчас. Рафа тоже скоро ко мне придет.

В комнате у дяди Йоны стало еще тесней от ящичков, в которых уже упакована часть вещей. Часть книг снята с полок. Разорение, грусть, неприкаянность.

— В институте скандал, — говорит Рафа, — Торба рвет и мечет. Характеристику я до сих пор не получил. А если он узнает, что и ты хочешь уезжать, — его парализует. Бедный старик, он ведь всегда был антисемит с добрым сердцем. Но теперь его словно подменили. Скоро в институте общее собрание, на котором выступят представители антисюнистского комитета...

— Негодяи, — говорил дядя Йона, — зудят под руку, а тут приходится упаковывать свою прошлую жизнь. Начал упаковывать фотографии и заныло сердце, — он достает из какого-то ящика пакет с фотографиями, раскрывает пакет, несколько фотографий падают на пол. На одной из них дядя Йона бравый, подтянутый, с приклеенными длинными усами, чубатый, в форме драгуна царской армии.

— Это в пятьдесят четвертом... Молодой я был, — его глаза загораются и он объявляет, хорошо, по-концертному поставленным голосом, — старинная солдатская походная частушка образца тысяча девятьсот четырнадцатого года "Эх, радоваться нечему" — и запекает: "Эх, радоваться нечему, хоть я и молода. Эх, радоваться нечему, хоть я и удала. Эх, радоваться нечему, ведь

у ворот беда. Эх, радоваться нечему — немецкая орда". Хорошо, лихо пели, так и видишь усачей, блеск труб, цокот копыт... Страницы истории... Листаем страницы истории... Русская история в частушках — так бы назвать новую программу, — он достает со стены балалаечку, — вот еще одна частушка. В четыре голоса петь надо: бас, баритон, сопрано и детский тенорок, — дядя Йона берет несколько аккордов на балалаечке и объявляет, — частушка с переплясом "А при Сталине..", — он запекает, ловко меняя голос под женское сопрано: "А при Сталине, а при Сталине я молоденькой была, да я молоденькой была, — второй голос — детский тенорок: А при Сталине, а при Сталине я рябеночком была, да я рябеночком была... Третий голос — баритон: А при Сталине, а при Сталине я на нарах вшей давил, да я на нарах вшей давил. Четвертый голос — бас: А при Сталине, а при Сталине я врагов народа бил, да я врагов народа бил". Все вместе: "А при Сталине, а при Сталине, да айли-люли, трын-трава, да айли-люли, трын-трава..." Начинается общий перепляс, — вдохновенно, весело кричит дядя Йона.

Мы пьем коньяк и веселимся.

— Ничего, — кричит дядя Йона, — я им музыкальные бомбы приготовлю... Буду бить трофейным оружием. Сейчас над "Внешнеторговой урожайной" работаю, — он торжественно объявляет: "Внешнеторговая урожайная"... Двое солистов: "Здравствуй, Андрюшка, здравствуй, Ванюшка — и-эх, по маленькой! Здравствуй, Матвейка, здравствуй, Сергейка — и-эх, по славенькой!" Тут голос из хора, речитативом: "Товарищи, господа приехали!" И сразу хор: "Закупай, закупай много зерна, закупай, закупай, песня слышна..."

Веселимся без оглядки. Упиваемся коньяком, почему-то кричим: "Ура", поем "Фрейлехс". Предупреждая возмущение соседа, дядя Йона сам стучит ему в деревянную перегородку и кричит.

— Эй, ты, Ванька, половой хрен! К черту интернациональный опиум! Они антисемиты, а мы русофобы. "Я не Ваня и не Коля, я не Петя, не Андрей. Я обычный, симпатичный, обаятельный еврей..." Хор мальчиков. Все в белых рубашечках с черными галстуками.

Не знаю, почему сосед на этот раз смолчал. Слышно было, что он дома, ходит, кашляет, но смолчал. Прежде, когда дядя Йона начинал музицировать, он стучал в стену и кричал.

— Абрамс! Еврейскую музыку завел!

А на этот раз смолчал, возможно, чужое хамство его не так раздражает, как нормальные музыкальные звуки. Он чувствует себя в своей атмосфере. Чувствуя безответность врага, дядя Йона переходит все границы.

— Скоты, — кричит дядя Йона, — хазерем, гоим, свиньи, мужики, хамы! Ненавижу! Сил моих нет. Пешком бы ушел! С шести лет жидом обзывают.

Наверно, у дяди Йоны тоже синдром Апфельбаума, потому что когда больно, смешно и страшно, это порождает самую черную ненависть, которая тем черней, чем безысходней. Волосы у дяди Йоны взмокли, руки дрожат, лицо бледное. И все мы, несколько протрезвев, начинаем тревожиться. Дяде Ване, соседу, опасаться последствий за свою ненависть не приходится, случая не было, чтоб дядя Ваня за подобную ненависть пострадал. А дядя Йона, протрезвев, тревожится: перебрали коньячку, наговорили... Может, то, что молчит, особенно опасный признак. Куда-то напишет, куда-то сообщит.

В таком тревожном состоянии мы и разошлись. Ночью я опять почти не спал. Пашин рецепт с первого раза подействовал неплохо, но потом его пришлось бесконечно повторять, пытаюсь унять боль. Утром, большими зубами, воспаленными деснами сосал кусочки яблока, чтоб заглушить запах мочи изо рта перед тем, как ехать к зубному врачу, на этот раз порекомендованному дядей Йоной.

Было то самое "старушечье" утро, с которого я начал свой рассказ. Спокойное, несуетливое, свежее утро. В метро тоже тихо и свежо. До остановки "Комсомольская площадь" вообще несколько человек в моем вагоне. Сидят в спокойных позах, посматривают дружелюбно, не то, что в часы пик, когда один против всех, все против одного. На остановке "Комсомольская площадь", у трех вокзалов, как обычно, стало многолюдней, но в терпимых пределах — просто все сидячие места оказались занятыми и было несколько стоячих граждан. Я расслабился, зубы ноют в отдалении, не столько болят, сколько напоминают о себе. Конечно, я уж по опыту цену их либерализма знаю, просто передышку берут перед новой свирепостью. Но отчего бы этой передышкой не воспользоваться? Голова мягко свисает на грудь, шум укачивает. Затревожился даже, как бы остановку не проехать, где мне пересадка предстоит. Открыл полужамранные глаза, глянул... и прямо передо мной майор КГБ. Видно, на "Комсомольской" вошел.



Говорят — на воре шапка горит. На мне шапки не было, но щеки действительно вспыхнули, шея взмокла, сердце — бах, бах, бах, бах — побежало... Да куда бежать? Тем более с уликами. Зная, что дорога длинная, не удержался и положил в портфель нелегальные пашины книги, закордонного издания. Думал — за “Кутузовским проспектом” пойдут места тихие, почти загородные, вот и почитаю, чтоб время скоротать. Черт подтолкнул. Исподтишка гляжу на майора, сидящего прямо против меня. Я на него исподтишка поглядываю и мне кажется, он на меня тоже косит. Майор — мужчина высокого роста с хорошо откормленным народным лицом, рыжевато-золотистый, пшеничный блондин, конечно, светлоглазый, ресницы и брови еще более светлые, чем волосы, почти бесцветные, руки большие, чистые и в руках тоже портфель, гораздо лучше моего, хорошей, светло-коричневой кожи с двумя замками. Вообще, все в майоре лучше моего, прочней, спокойней, красивей — любимый сын отечества. Зимой он наверно носит, когда не в форменной шинели, демисезонное пальто из хорошего темно-серого сукна. Дубленки они не любят и вообще зимние пальто, кажется, не носят. Демисезонное пальто на утепленной подкладке и пыжиковую шапку-ушанку, которую я так и не достал. Бирнбаум обещал, но ничего не получилось. Однако, главное, конечно, в майоре не материальные блага, а первоклассные физические качества. Вот майор случайно зевнул, показал зубы... Какие зубы! Крепкие от природы, правильной конической формы, способные противостоять воздействию кислот, перемолоть любое, самое твердое, полезное, витаминное яблоко. Судя по белизне зубов и хорошему цвету лица, он ест каждый день много таких яблок.

Пока я так мысленно рассуждал, в вагоне стало уж по-настоящему тесно, ибо на остановке “Кировская” вошло множество пассажиров. Я глянул — вместо майора напротив меня сидит пожилая женщина. Случайно глянул вверх — майор надо мной нависает вплотную, за поручень держится. И тут мне уж без всяких комплексов, без всяких синдромов, без всяких странных фантазий стало по-настоящему страшно. Следующая остановка — “Площадь Дзержинского”, то есть Лубянка. Скажет негромко — “пройдемте”. Обыщут — найдут недозволенные книги. Приедет заплаканная мама... Но цепляюсь за соломинку — может, случайно надо мной стоит, может, просто пожилой женщине место уступил. Внутренне, и отчасти внешне, дрожа, надеюсь на лучшее, и вдруг майор, уже

без всяких обиняков трогает концом своего начищенного тупля мой тупель. Я вздрагиваю, и тут же опять с надеждой — вагон трясет, случайно коснулся. Нет, второй раз трогает, уже настойчивей. Я поднял в отчаянии глаза, уж ни на что не надеюсь и собираюсь подчиниться. Замечаю настойчивый, указывающий взгляд майора. Майор смотрит вниз на мой живот, на мои ноги. У ног портфель с нелегальщиной. Я подчиняюсь, смотрю туда же и... замечаю, что у меня на штанах ширинка широко расстегнута. Не одна пуговица, а все три. Второпях, с тяжелой головой, после бессонной ночи собирался. Майор, кажется, понял, что я сообразил, в чем дело, слегка улыбнувшись, он нависает еще сильней и прикрывает меня портфелем. Лихорадочно, негнушимися пальцами сую пуговицы в петли, застегиваю ширинку как раз в тот момент, когда поезд останавливается у перрона станции "Дзержинская". Кивнув мне и улыбнувшись уже пошире, майор пробирается к выходу. Я успеваю благодарно улыбнуться ему вслед. Он опять ободряюще кивает: "Все в порядке, друг, обыкновенная мужская солидарность". В вагоне снова свободно, поезд миновал центр. Я сижу, словно пробудившись от кошмара или, точнее, выздоравливая от опасной болезни, в которой зубные мучения лишь внешний признак. Я чувствую, что зубная боль скоро тоже оставит меня, что произошел перелом. Так я еду, слабый, опустошенный, но радостный и спасенный. Глаза мои слезятся. Не знаю, как у кого, но когда ко мне власть, суровая, холодная, неулыбчивая власть, проявляет малейшее снисхождение, малейшее понимание, малейшую человечность, это меня сразу умиляет до слез и я готов ей многое простить. Так, умиленный, успокоенный, приезжаю в поликлинику.

Поликлиника обычная, районная, вокзального типа, в духоте у крашенных белой краской дверей медицинских кабинетов скопились враги с суровыми, уставшими злыми лицами. У зубо-врачебного кабинета особенно много врагов, на скамьях сидячих, у стены и по углам стоячих. Опять начинаю волноваться: где же перелом судьбы, в чем же перелом, неужели внутреннее ощущение обмануло? Нет, не обмануло. На бумажке у меня указана совсем другая комната, вход по параллельному, полупустому, тихому коридору. Пальмы в кадках, ковровые дорожки, чистые плевательницы. Нахожу нужную дверь. Возле, на стульях, очередь — всего два человека. Один чем-то похож на встреченного в метро майора КГБ, светловолосый, в сером, штатском костюме. Не он

ли переодевшийся? Нет, не он, но действительно похож. Второй, точнее вторая, миловидная молодая женщина, черноволосая, с челкой, возбуждающе пахнущая духами. Оба — светловолосый и черноволосая — приветливо мне улыбаются. Я улыбаюсь в ответ, сажусь на третий стул и жду. Всего пять стульев. Два остаются пустыми. Видно, длинной очереди здесь никогда не бывает. Не прошло и пяти минут, как из кабинета вышел чистенький старичок, бородака калининская, лицо свежее, розовое, видно, следит за собой, пьет по утрам кефир, ест яйца всмятку. Спокойное, довольное лицо. Вынул чистый платок, вытер губы, высморкался и засеменял по коридору мимо кадок с пальмами. А вместо него в кабинет светловолосый вошел. Остался я наедине с черноволосой, пахучей. "Замечательный бюст, — думаю, — бюст-гальтер второго или третьего размера. Некоторым нравится первый, но это уж на любителя. А четвертый или пятый уж, извините, молочная ферма". Не успел как следует подобными мыслями насладиться, как светловолосый вышел и черноволосая вошла. Даже огорчился, что так быстро очередь движется. Выхода черноволосой мне пришлось, однако, подождать дольше. Слышно было жужжание зубоорубной бормашины и в промежутках — смех. Несовместимые, но ободряющие звуки. Наконец, черноволосая вышла, еще не погасив на лице улыбку. Так с улыбкой и пошла. Вошел я.

— От Ивана Матвеевича, — говорю, как мне дядя Йона велел сказать.

Врач невысокого роста, в цвету мужчина, загорелый, волосы с синевою и проседью, жгучий брюнет, изо рта пахнет мятными лепешками. Лицо неопределенное, может, даже еврей, а может, и нет. Не характерный. Чем-то на Леонида Утесова похож и, судя по всему, любитель искусства.

— Как у Ивана дела? — спрашивает, когда я сажусь в зубоорубное кресло.

— Ничего, — отвечаю неопределенно.

— Хорошо он калинку-малинку поет, — говорит врач и заглядывает мне в рот, светит зеркальцем.

Что-то в этом враче от модного, умелого парикмахера, эта непринужденная беседа с клиентом, этот парикмахерский интеллект. Но зубной врач он, судя по всему, хороший, дантист, как говорят в Одессе. Рассказываю ему о своих злоключениях.

— ...уж почти месяц боли. Был у троих, все ставят диагноз: причина в моем неправильном прикусе.

Он выслушивает внимательно и спокойно. Чувствую — этот мне поможет, хотя бы потому, что без всяких крючков и щипцов, прямо руками, ощупывает во рту мои зубы.

— Прикус как прикус, — говорит он, — зубы у вас неплохие... Вот этот зуб? — он стучит по зубу, который запломбировала мне Марфа Ивановна. — Больно, да?

— Больно.

— У вас пломба стоит на больном нерве и потому общее воспаление... Так, знаете, гниль зубная может и в кровь попасть. Бывает заражение крови, хорошо, что вовремя пришли. Еще месяц, другой и о-го-го...

“О-го-го, — думаю я после того, как отжужжала бормашина, — негодяи, подлецы, убийцы в белых халатах... Вот о чем бы в газету написать”.

— Ну, дело сделано, — говорит зубной врач, — привет Ивану, все на его концерт не соберусь. Хорошо он калинку-малинку поет. Калинка-малинка моя, расстегнулася ширинка моя, — зубной врач смеется.

Я вздрагиваю и краснею. Намек, что ли? Может, блондин все-таки майор? Нет, просто совпадение, просто одессит шутит. А запоздай я на месяц, мне было б уж не до шуток. Вот о чем в газету писать надо. Или лучше пойти в какое-нибудь высокое учреждение. К тому же майору КГБ. Поговорить по душам, рассказать о разных бедах, коснуться разных тем. И о еврейском вопросе поговорить. Больной вопрос... Хуже того, пломба на больном вопросе, отсюда и воспаление, заражение всей жизни, моральной, духовной жизни России... Нет, так говорить нельзя. Некоторые славяне вообще почему-то обижаются, когда речь заходит о еврейской боли. Сразу начинается: “монгольское иго, крепостное право”.

— Товарищ майор, вы меня не поняли... Я ведь не отрицаю величие страданий России... Люблю Отчизну... А клизму? Это, кажется, у Маяковского.

— Иронизируешь?!

Р-р-раз! — пролетело мимо. Сердце тревожно стучит, вот-вот кулаком в зубы попадет. Опять боль, опять бессонные ночи...

— Товарищ майор, у меня мама член партии с двадцать восьмого года.

— Видишь... А ты в Израиль бежишь...

Р-р-раз! — просыпаюсь. Стучит сердце, но вокруг тишина, покой. Три часа ночи, а зубы не болят. "Хорошо", — думаю я и, сладко потягиваясь, опять засыпаю. Майор тут как тут.

— Товарищ майор, я хотел бы сказать...

— Молчать!

— Товарищ майор, я хотел бы спросить...

— Молчать!

— Товарищ...

— Молчать!

...Пу... П-у-у-у-у-у... П-с-с-с...

— Молчать!

— Так тоже нельзя?

Со смехом просыпаюсь. Наверно, разговаривал, смеялся и совершал прочие действия во сне. За окном еще рассвет, а я выспался хорошо впервые за долгое время. Молодец, Савелий Михайлович, зубной врач-брюнет... Тем более, заплатил я ему не слишком много. Вернее, заплатил прилично, но думал, что придется еще больше. И дядя Йона молодец — порекомендовал. Надо позвонить, поблагодарить, но наверно его телефон уже прослушивают. Лучше зайти как-нибудь вечером. Не может же бить за его домом слежка. За каждым следить, топтунов не хватит.

В институте сразу попадаю "с корабля на бал". Собрание с участием представителей антисионистского комитета. В президиуме Корней Тарасович Торба, секретарь партбюро института техник-чертежник Лепчук и трое неизвестных. По крайней мере двое из них семиты — мужчина и женщина. Я запаздываю, прихожу во время выступления женщины, сажусь в последний ряд. Замечаю Рафу в первом ряду, как полагается подсудимому. Саша Бирнбаум сидит в стороне, где-то посередине. Распался наш фруктовый садик... Женщина-антисионистка чем-то похожа на мою бабушку Этл. Отчасти и на маму, но больше на бабушку Этл, особенно когда бабушка нервничала, ругалась с соседями или с торговками на рынке. Седые волосы заплетены в полурастрепанные косы, глаза вспухшие, красные, губы с синевой. Но бабушка Этл была простая беловшвейка, а эта женщина израильская коммунистка, которая по неясным причинам сейчас живет в Москве.

— Там в Израиле, — нервничает она, — простой народ живет в шалашах, а буржуазия живет так же, как жила в России буржуазия до революции...

У антисионистки характерный жест, она грозит пальцем этой “буржуазии”, не перед лицом, а возле уха. Очень похоже на мою маму. Бедная моя мамочка, сколько ей пришлось из-за меня поволноваться. В шестнадцать лет меня за какую-то шалость задержали в городском парке.

— Как твоя фамилия, га? — спросил меня дядя Петя-бармалей, большой, пузатый, сердитый городской милиционер.

— Пу И, — ответил я.

— Га?

— Пу И... Я китайский еврей.

Так и записали, а потом был скандал. Меня опять, во второй раз исключили из комсомола. Каково было моей бедной маме, ведь она член совета ветеранов, член комиссии горкома по работе с подрастающим поколением. Но как она разозлилась тогда, разнервничалась, грозила мне пальцем у уха своего, а в конце нервы у нее не выдержали, она разрыдалась и пришлось вызывать скорую помощь.

Мне кажется, женщина-антисионистка уже близка к подобному состоянию.

— Там в Израиле, — нервно, со слезами в голосе кричит она, — там есть газета... Там газета... — пауза, — ...во — “Маарив”... Так она в каждом номере пишет, буквально в каждом номере пишет, что в Советском Союзе существует антисемитизм... В стране победившего социализма...

— Успокойтесь, Рахиль Давыдовна, — негромко говорит ей третий неизвестный с зачесанными назад конопляными волосами и с широким коротким носом...

— Нет, вы послушайте — “Маарив”...

После нервной, почти доведшей себя до истерики женщины-антисионистки выступал антисионист-мужчина. Тоже седой, но волосы благородно отброшены назад, в то время как лицо вытянуто вперед: нос, губы, подбородок — все вперед. Говорил он спокойней, уверенней, но скучней, с цитатами: Маркс сказал... Ленин сказал... Шолом-Алейхем сказал... Потом начал рассказывать, как в детстве пришлось ему пережить петлюровские погромы. Совсем все заскучали, даже в президиуме Корней Тарасович Торба то ли зевнул, то ли рыгнул, деликатно прикрыв рот ладонью. Но тут, воспользовавшись скукой, Рафа Киршенбаум начал подавать реплики в порядке дискуссии. Рафа, скажу я вам, ядовитый, оскорбить умеет. Как его ни осаживали, а он по-волей-

больному, все подает и подает реплики резаной подачей. В конце концов, довел мужчину-антисиониста до состояния женщины-антисионистки.

— Правильно Ленин говорил о классовом расслоении всякого народа, в том числе и еврейского, — воскликнул антисионист нервно, — действительно, что общего между вами, махровым сионистом Киршенбаумом и мной, советским человеком Ваншельбоймом?!

После институтского собрания решил к Рафе не подходить, а позвонить вечером. Вечером, однако, не дозвонился, все время было занято, а потом я быстро уснул, сказались накопившаяся усталость, сказались бессонные воспаленные ночи. Я теперь отсыпаюсь и наслаждаюсь жизнью без зубной боли. Пять дней без зубной боли, десять дней без зубной боли... Надо бы зайти, поблагодарить дядю Йону. Страшно, все не решаюсь, все вспоминаю приветливое лицо майора... Но все-таки преодолеваю себя... Выбираю вечер потемней, пробираюсь по арбатским переулкам с оглядкой, осторожно стучу в окошко у знакомой, освещенной лунной надписи: "Копытов — гад". Мне повезло, дядя Йона один, в своем бухарском халате, среди своих упакованных вещей. Кажется, упаковано все, кроме рояля, стола, нескольких стульев и пустых книжных полок. Сидит мрачный, длинные седящие волосы уныло провисают.

— Рафа получил пятнадцать суток, — говорит он, — находится в общей камере с уголовниками и пьяницами.

— Когда? Я не знал. Я не смог к нему дозвониться.

— Разве здесь можно жить? — возбуждается дядя Йона, — эта страна не имеет личной жизни, не получает удовольствия от своего существования и пытается отравить это удовольствие всем, кому только может... Уезжать надо, уезжать. Смываться.

Он садится за рояль и несколько повеселев, поет мне свою новую частушку.

В КГБ переполох  
В КГБ смятение  
Парикмахер Сеня Блох  
Подавал заявление.

Раз, два, три, четыре,  
Вот так анекдот,

Разрешение на выезд  
Получил Федот.

Мы покинули Москву рано поутру,  
До свиданья КГБ, здравствуй ЦРУ.

— Вот такая история... Сироты мы, сироты без матери. Пора бежать наконец из этого сиротского дома.

Расстроенный ухожу, забыв поблагодарить за помощь в лечении зубов. Следующий день — воскресенье, провожу один. К отсутствию зубной боли я уже привык и это больше для меня не праздник.

Осенний дождь позднего сентября. Редкое природное явление — дождь, солнце и радуга. Мокрые стволы осенних деревьев блестят на солнце, осенняя желто-зеленая листва и древесная кора так же блестит и искрится на солнце. Осенняя радуга — красно-желто-зеленая — источает холод. Вот белые тучи напоззли и как бы сломали радугу, лишь в двух местах, слева и справа, обломки ее опускаются к земле за крыши. Вот и обломки радуги исчезли, однако солнце продолжает светить и играть на мокрых листьях и на мокрых древесных стволах. Второй день подряд поднимается из-за домов и, пронзая осенние тучи, падает за башенные краны бетонного завода в гущу леса радуга. К вечеру вдруг потеплело. Выхожу на балкон. Темно. Слышно с балкона, как во тьме, за деревьями, проходит компания и под гармошку, слаженным хором, с запевалой, поют: "Спутник по небу летит, а на нем Бронштейн сидит. Евреи, евреи, кругом одни евреи".

Слева, за железнодорожными путями, мелькают огни и слышны шумы бетонного завода, в полуполночном небе мелькают огни самолета, а в нем, наверно, сидит какой-нибудь Бронштейн. Ясный, привычный, обжитой мир. Все решено — я не еду. Поступок мой правилен и логичен, но заснуть я почему-то не могу, точно меня опять мучает зубная боль. Я даже начинаю скучать по зубной боли, в зубной боли есть и нечто положительное, она отвлекает, она мешает думать о другом. Хожу из угла в угол и тоскую по зубной боли. Я, Апфельбаум, всегда был мнительней, трусливей, эмоциональней и лиричней Рафы Киршенбаума, но кто из нас умней, об этом хотелось бы спросить будущее. Выхожу опять на балкон, смотрю на звезды и вдруг дрожь пробегает по телу, совсем по-детски становится страшно, что-то мерещится, хоть



будущее в своей обычной, ехидной манере молчит, лишь холодно мерцает со своей звездной высоты, лишь туманно намекает на нечто, само собой разумеющееся. Торопливо ухожу с балкона и все хожу, все хожу, сердце стучит, не могу успокоиться. Пошел даже в переднюю и проверил, хорошо ли заперта дверь, точно дверь может спасти от того, что мне померещилось среди звезд. Выпиваю рюмку коньяка, закусываю клюквенным вареньем. Может, "законные сыны отечества" нас просто ревнуют? "Что вы понимаете? Что вы понимаете в нашем пейзаже? В нашем солнце и нашей луне? В нашем языке? В нашей деревне? В нашем классическом наследии..." И глаза, глаза, сторожевые глаза ревнивца, скучного законного супруга. Печальным демоном, печальным чертом, с волнением и страстью незаконного любовника хожу из угла в угол, хожу и думаю, думаю и хожу. Листаю Чехова, чтоб за чтением успокоиться, Чехов меня часто успокаивает, особенно маленькие ранние рассказы. Листаю, не могу сосредоточиться. Листаю до конца, потом опять сначала, пока не попадется рассказ "На чужбине". Разговор русского барина с французским гувернером. "Ах, чудак! Если я французов ругаю, так вамто с какой стати обижаться? Мало ли кого мы ругаем, так всем и обижаться? Чудак, право! Берите пример вот с Лазаря Исакича, арендатора... Я его и так, и этак, и жидом, и пархом, и свинячье ухо из полы делаю, и за пейсы хватаю... не обижается же!

— Но то ведь раб! Из-за копейки он готов на всякую низость!"

Однако, дело не в рублях, Антон Павлович, точнее дело не только в рублях. Если б собственное достоинство пришлось менять только на рубли, то нашлось бы достаточно таких, которые его бы удержали при себе. Может быть, даже я, Веня Апфельбаум. Но ведь собственное достоинство приходится менять прежде всего на кислород... Ученые считают, что древние ящеры имели в своем распоряжении гораздо больше кислорода, чем современный человек. 34 процента, а современный человек имеет только 21 процент. И мы, евреи, вынуждены пользоваться этим процентом полностью, тут процентной нормой, как при приеме на работу или в институты, не обойдешься. Ничего не поделаешь, физиологическая необходимость. Вот откуда рабская психика, как физиологическая необходимость. Вот почему лучшие, те, кто пытались и пытаются удержать при себе собственное достоинство, задыхаются и вымирают. Так создавался национальный тип, национальный характер из поколения в поколение. Уехать, пожертво-

вать всем — насиженным местом, обжитым миром... Однако, ведь рабскую психику приходится брать с собой и есть сведения, что в условиях свободы эта рабская психика дает еще худшие плоды... Чтоб решиться ехать с таким грузом, надо быть либо идеалистом, таких немного, либо негодяем, таких гораздо больше, либо глупцом, таких большинство. А я ни то, ни другое, ни третье... Слава Богу, я еще не разучился краснеть, когда лгу или подличаю. Но что же мне, Апфельбауму, делать? На что надеяться? Только на невропатолога... Кажется, у Бирнбаумов есть хороший невропатолог. С зубным врачом они меня подвели, а невропатолог у них действительно хороший. Саша рассказывал, что Лазарь Исакович после случая с Буденным заболел нервной крапивницей, у него дергалась голова и все падало из рук. Как я со своими зубами, он обошел множество врачей-невропатологов, но этот его вылечил.

— Что с вами было, где вы пропадали? — спрашивает меня Лазарь Исакович, когда на следующий день я прихожу к Бирнбаумам в гости.

— Ах, были неприятности, — отвечаю я.

— Что ты спрашиваешь... — вмешивается Бетя Яковлевна, — у кого их в наше время не бывает.

— Да, вечные темы, — говорю я.

— Вы имеете в виду антисемитизм? — понизив голос спрашивает Лазарь Исакович.

— Нет, я имею в виду зубную боль...

— Но это все-таки излечимо, — говорит Лазарь Исакович.

— Вы слышали, Веня, что случилось с Киршенбаумами? — спрашивает Бетя Яковлевна.

— Конечно, он слышал, — отвечает за меня Саша.

— Я Киршенбаумов не понимаю, — говорит Лазарь Исакович, — ехать в Израиль... Смотрит на Израиль сквозь розовые очки... Зачем вообще он был нужен, этот Израиль? Кому вообще он был нужен? Фашистское государство. Они там издеваются над арабами, а мы тут за них должны отвечать. Из-за них нас не любят, из-за них, из-за Израиля нас ненавидят, из-за них растет антисемитизм... Кто его придумал, этот Израиль, чтоб тому вывернуло голову... Да... Фашисты еврейские... Сионисты — это фашисты...

— Лазарь, успокойся, у тебя поднимется давление, — говорит Бетя Яковлевна.

— Этот Бегин, — не может успокоиться Лазарь Исакович, — его судить надо... Террорист... Руки в крови... Встречается с немецкими реваншистами... Штраусу руку подает... Нет, это только подумать... Только подумать... Негодяй! Мерзавец!

Лазарь Исакович так разволновался, что вставная челюсть выпала у него на стол, лысина и лоб покраснели.

— Лазарь, прошу тебя, успокойся, у тебя опять могут начаться спазмы. Выпей наливки...

Лазарь Исакович подносит к губам рюмку с наливкой, но как-то скособоленно, дрожащей рукой. Наливка выплеснулась на скатерть, течет у него по щеке, по подбородку.

— Папа, ты сейчас похож на жертву погрома, — говорит Саша.

— Саша, оставь свои глупые шутки, — говорит Бетя Яковлевна. Она накрывает на стол и вскоре мы уже едим румяные тегелех, сваренные в медовом сиропе, едим посыпанный сахарной пудрой флоден, едим лейках, покрытый сахарной глазурью, и пьем ароматную наливку из плодов владимирских киршенбаумов, ароматную наливку из черной, сладкой, владимирской вишенки, в которой каждая косточка заменена орешком. Пьется наливка легко, приятно и, между прочим, опьяняет. Наливка в стаканах темно-красная и тягучая, как артериальная кровь. Иногда одна и та же мысль одновременно посещает разные головы. Говорят, в этом предзнаменование свыше.

— Хорошо, что сейчас либеральные времена, — говорит Саша Бирнбаум, — а изменятся времена, заглянет какой-нибудь антисемит в окно, увидит, как мы пьем вишневую наливку — вот тебе и кровавый навет, вот тебе и кровь христианских младенцев в кашерных стаканчиках.

— Типун тебе на язык, — пугается Лазарь Исакович, — как же они заглянут в окно на третий этаж.

— Подумаешь, проблема, — пугает отца Саша, — лестницу подставят.

— Я ведь тебя просила, Саша, не шутить так глупо, — говорит Бетя Яковлевна, — ты всегда глупо шутишь...

Шутка, действительно, глупая, несерьезная, но образная, и у меня, под влиянием этой шутки и выпитой наливки, вдруг знобящий холодок снизу по животу до самого пупка. Впрочем, ненадолго. Мы вкусно едим, сладко пьем, рассказываем анекдоты. Бирнбаум сообщает, что тема его диссертации о замене коровьего масла в оконной замазке получила поддержку на ученом совете

института. Я надеюсь, что и моя тема по железной замазке при подводных железобетонных работах будет утверждена.

— Не понимаю, зачем нервничать, — говорит Саша, — Рафе хочется расти рядом с пальмами, это его дело, а мы остаемся в этой почве и, дай Бог, не засохнем, может, даже дадим приплод, если, конечно, нас не вырубят топором... А антисемиты? Без них тоже нельзя. Мне, например, без них было бы просто скучно. Более того, я считаю, что какое-то количество разумных антисемитов, понимающих свои интересы — это необходимое условие нашего существования. Главное, чтоб между нами и ими соблюдалось экологическое равновесие.

— А для этого, — говорю я, подыгрывая Саше, — хорошо б в наш век мирных инициатив собрать международную конференцию где-нибудь в Женеве или Одессе по мирному сосуществованию между нами и антисемитами. Для подготовки такой конференции должны встретиться делегации — Апфельбаум, Бирнбаум и Киршенбаум, отказавшийся от экстремизма, а с другой стороны — Яблочкин, Грушин и Вишняков, в свою очередь тоже бывший экстремист. Посредник — допустим, некий Томмазо Кампанелла, представитель ООН. В конце концов, все дурные предзнаменования и ночные страхи излечиваются невропатологом. Кстати, чтоб не забыть, нет ли у вас хорошего невропатолога?

— У нас есть один доктор, — говорит Бетя Яковлевна, — но мы им недовольны... Если найдем что-нибудь поприличней, то обязательно вам сообщим. А что, у вас тоже крапивница?

— Нет, нет, я просто немножко переутомился. Но теперь уже лучше. И надеюсь, станет еще лучше.

Действительно, следующую ночь сплю хорошо. Воскресным утром, успокоенный, бодрый, выхожу из дома. Поют осенние птицы, то есть каркают и чирикают, солнечно, как в государстве солнца у средневекового монаха философа, коммуниста Томмазо Кампанеллы, солнце блестит в небе и в лужах на тротуарах. Вокруг тютчевский пейзаж, тютчевское мироощущение.

Есть в осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора.  
Весь день стоит как бы хрустальный  
И лучезарны вечера...

Хорошо, легко дышится... Мы все сетуем на наше время, а как

люди жили в средневековье? Частые антисемитские погромы, даже в цивилизованных странах, зверства инквизиции. Тот же Томмазо Кампанелла был приговорен к пожизненному тюремному заключению и подвергался пыткам только за то, что, описывая свое государство солнца, где не было частной собственности, подробно разрабатывал государственную систему регулирования половых отношений. Он считал, что для обеспечения хорошего потомства необходима общность жен и необходимо, чтоб пары подбирались правительством. Только тогда воцарится мир между людьми. Не знаю, как насчет участия правительства, но чисто психологически этот принцип не лишен рационального зерна.

Когда я был совсем молодым жеребцом, еще в своем провинциальном городе, то делил одну и ту же женщину, Любку Строганую, с Филькой Шахом, настоящую фамилию которого я так и не знал. Шах была его блатная кличка, ибо Филька был известный в городе рецидивист, хулиган и антисемит. Однако, лично у меня с Филькой отношения были мирные. Все было хорошо, пока у меня не начался мучительный зуд на лобке. Вот чего не учел Томмазо Кампанелла. Мучения мои были ужасны и при этом приходилось таиться из-за стыда и страха. Тайно раздобыл медицинскую литературу и узнал, что крошечные бело-желтые паразиты, обнаруженные мной в моем волосяном покрове, именуется — плащница лобковая, втриирус пулис. Впрочем, Филька именовал паразитов просто — мандавошки... Бедная моя мамочка. Она узнала о моем несчастье по запаху, потому что Филька посоветовал смазать лобок и яйца керосином... Любимая моя мамочка, она чуть не выгнала меня из дому, хоть я знаю, она меня очень любит.

— Солнце мое, — часто говорила она мне, — ах, ты, солнце мое, — а потом сердилась и кричала, — я тебя сейчас ударю.

— Кого ты ударишь, мама? — отвечал я, — кого ты ударишь? Свое солнце?

Бедная моя мамочка, сколько я ей доставлял и продолжаю доставлять огорчений. Позавчера получил от нее письмо, как она пишет, "пропитанное слезами". Кто-то ей намекнул, будто я собираюсь подавать заявление на выезд в Израиль. Неприличные, аморальные люди, писать такое старой женщине с больным сердцем. Узнать бы, кто это сделал. Впрочем, если подумать, поразмышлять, то кажется, то возможно, то вполне допустимо, что она догадалась об этом из моего собственного письма. Когда у меня болели

зубы, я был так измучен и ожесточен, что сам не понимал, о чем говорю, а тем более пишу. Какой я все-таки хазер, до сих пор не ответил, не успокоил. Ведь она там волнуется, наверно ночи не спит. Ветеран партии, а сын собрался в Израиль.

Взял такси и помчался на главтелеграф. Пока ехали, все время нервничал — то пробки, то объезд, то на Комсомольской площади шофер побежал за сигаретами и черт знает сколько пропал. На метро добрался бы не только дешевле, но и быстрее. Наконец, доехали. Расплатился, не дав на чай в наказание за плохую езду, выскочил из такси, провожаемый вслед криком:

— Пидор гнойный!

Оглянулся, огрызнулся:

— Жлоб с деревянной мордой! — и сам себе тихо, почти шепотом, — спокойно, спокойно... Обалдуй! — крикнул еще сильнее, так, что отдало в затылок.

Таксист вытащил из багажника отвертку. Погромщик. Поспешил от него прочь. Так спешил, что на широких лестницах главтелеграфа споткнулся, упал, сильно ударившись коленом и вызвав смех прохожих. Подлецы! Действительно, в определенные моменты можно понять Киршенбаума. Кажется, сам бы убежал куда-нибудь, даже на далекую планету, лишь бы прочь отсюда. А вот так, взять бы, да бросить эту землю “законным сынам отечества”, пусть подавятся, эту планету, экологически загрязненную с ее 21 процентом кислорода. Первобытные ящеры таким составом воздуха дышать не могли бы. Может, “законные сыны отечества” надеются на то, что мы вымрем, как первобытные ящеры? Немцы в свое время довели нашу процентную норму кислорода до нуля. Дышать пришлось, первоначально, выхлопными газами автотранспорта, а затем всю дыхательную сферу, всю атмосферу для евреев изготавливали в Гамбурге на заводах “И. Г. Фарбениндустри”. Ну, до Гамбурга эти еще не дошли, но от Нюрнберга уже недалеко.

К счастью, свежая атмосфера в зале главтелеграфа несколько успокоила. Воскресное утро, никаких очередей у почтовых окошек не наблюдается. Купил почтовую открытку, говорят, почтовые открытки идут быстрее, чем письма. Сел у столика и отвратительной почтовой ручкой начал скрипеть и царапать о том, что немного болели зубы, но теперь уже все позади, немного переутомил нервы, но теперь уже все в порядке. Написал, что моя диссертация по железной замазке почти утверждена и я без пятнадца-

ти минут кандидат наук. В институте отношение ко мне замечательное и, возможно, я получу повышение по должности вплоть до замначальника отдела. Это уж написал без всяких оснований, просто, чтоб убедить, успокоить, доказать — мамины опасения напрасны. Однако, как непосредственно сформулировать то, что ее особенно волнует? Написал, прочел — зачеркнул. Еще раз написал — опять зачеркнул. В сердцах разорвал открытку. Оглянулся — какая-то женщина смотрит на меня тревожно, как на пьяного или сумасшедшего. Встал с опять по-ночному колотящимся сердцем. Ныли зубы. Странное дело, зубы у меня здоровые, но после перенесенной боли стоит понервничать и нервы бьют по зубам. Пошел, чтоб купить новую открытку, но по дороге меня осенило — почему бы не дать телеграмму? Открытка все равно будет идти несколько дней, а телеграмму мама получит, в крайнем случае, завтра утром, хотя, если повезет, то и сегодня вечером. Разумеется, еще быстрее позвонить по телефону, но начнутся вопросы, расспросы, кто знает, какого характера и куда это поведет. Начну маму успокаивать и вдруг сам разрыдаюсь. Нет, лучше телеграмму. Прекрасный жанр — словам тесно, мыслям просторно. Взял бланк, написал: "Дорогая мамочка. В гости к дяде Изе я не еду. Тысячу раз целую. Твой любящий сын Веня". Подал бланк в окошко. Телеграфистка прочитала, скользая над бумажкой карандашиком, и улыбнулась, явно ехидно. Неужели мой намек так ясен, так прозрачен? Неужели неудачно зашифровал? На душе глупо, стыдно, беспокоино... Выходя из дверей главтелеграфа, столкнулся с каким-то человеком, который нечто мне сказал. Услышал только — "... жжж..." "Что? "Жид" мне сказал?"

— Извините пожалуйста, — повторил человек.

Значит, почудилось. За что этот человек извинился передо мной — не понял. Прошел мимо, ничего не ответив, и лишь через несколько кварталов подумал: "Он, кажется, наступил мне на ногу... Отчего я не обругал его, не крикнул ему: хазер! свинья! мужик! хам?! Отчего не ударил его, не схватил за горло? Драки, крови, смерти хочется, шумного погрома, потому что с каждым годом, с каждой неделей, с каждым часом становится все труднее терпеть этот непрерывный тихий погром. По крайней мере, терпеть без помощи хорошего невропатолога. Но где же, где же найти хорошего невропатолога?"

*Октябрь-ноябрь 1987 года. Западный Берлин.*

**СТИХИ**

Я мало жил, — вздыхал один пророк, —  
и жил в плену, и до костей продрог.  
Цветет вода в заброшенном колодце,  
и не напиться, Господи прости,  
а землю есть, и в стиснутой горсти  
сжимать ее — пока не задохнется.

Жизнь просит продолжения. Она  
невыносима, медленна, влажна,  
то в очереди спит, то поневоле  
рассказывает байки о былом,  
то, сгорбившись, томится за углом,  
то вороном летает в чистом поле.

Подумать только — зла и хороша,  
в такую муку обошлась душа,  
а все ей тесно в городе и мире.  
И спит одна, и тешится одним,  
и не узнать, среди каких равнин  
упрямицу вспоили и вскормили.

Жизнь просит утешения, а где  
возьмешь его? Конвертом на воде  
слова мои кружатся, уплывая  
вниз по реке. И бывший ветрогон  
свистит один, в пальто недорогом  
на остановке позднего трамвая.

Застыну у дверей и вставлю ключ.  
(несмелый свет прольется из-за туч),  
скрипучую щеколду отодвину.  
А за спиной — другие пироги.  
Ушли друзья, рассеялись враги,  
перевалил мой срок за середину.



\* \* \*

Ну, вот и долгожданный дождь  
и одиночества навалом.  
О чем ты сам себе поешь,  
свернувшийся под одеялом?  
Дождь затянулся, посмотри,  
он с каждым часом холоднее,  
и городские фонари  
бегут, вытягивая шеи,  
в предместья тесные, а там —  
к холмам озерных побережий,  
к вермонтским темным деревьям,  
где на дороге непроезжей  
буксует, заблудившись, джип,  
звезда над речкою застыла,  
и ты запнешься, еле жив, —  
все это было. Правда, было.  
Осталось выключить мотор,  
задраить окна, выпить рому,  
начать старинный разговор —  
о снах, дождях, дороге к дому.  
Все это было, повторю,  
уже о стекла билась птица,  
пришло — со ссылкой на зарю —  
все, что должно было случиться.  
И даже осень клонит в сон,  
покуда, дворникам во благо,  
преподаватель всех времен,  
дождь, меланхолик и трудяга,  
шумит над городом, и за  
его работой жизнь вторая  
вдруг исчезает, как слеза,  
украдкой вытертая краем  
платка, и рядом — никого  
родного, кроме листопада.  
Платком, а может, рукавом,  
я не заметил. И не надо.

\* \* \*

Взмахом бесплотных рук разгоня сумрак,  
трудится Бог один в мировой пустыне,  
и хорошо в угожьях его бесшумных,  
где на ресницах тает прощальный иней  
и проступает тонкий, густой рисунок  
полузнакомых звезд в недоступной сини.

Спал, и не видел снов, потому что месяц,  
словно бескрылый ворон, кружил над домом.  
Жил — и не ведал жизни, в невинной спеси  
горя не знал — а в горле стояли комом  
дрожжи упрямой речи, обрывки песен,  
виолончельный стон, воробьиный гомон.

Так и пришла привычка — глаза боятся,  
но суетятся пальцы, и чайник стынет.  
Так, проморгав последние девятнадцать  
лет, не усвоив алгебры и латыни,  
ты научился в звездной пыли метаться,  
посередине моря, один в пустыне.

Что же опять, как в юности, сердце ноет?  
Белоголовый царь в ледяном кристалле  
вновь обряжает мир в черное и стальное.  
Свиста дуэльной пули, смертного мятежа ли  
просит ночной кораблик, сверкнув родною,  
капель дождя на одной из его скрижалей?

*4 января 87*

**ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
МИХАИЛА ГЕНДЕЛЕВА**  
санкт-петербургского  
**стихотворца**  
и  
полкового  
**врача**  
Армии обороны Израиля,  
**правдиво изложенное им самим**  
в  
тринадцати  
**книгах,**  
*содержащих*  
**пространные описания разнообразных приключений,**  
викторий, афронтов, авантюр и поединков  
**автора и героя,**  
а также  
подробнейшие  
**хроники**  
**стихийных бедствий, политических катаклизмов**  
**и чудесных знамений,**  
**с присовокуплением**  
бесчисленного множества  
**новейших открытий по разным предметам знания**  
как-то:  
геополитике, ксенопаразитологии, этографии,  
арифметике, натуртеологии, прикладной эсхатологии,  
русскому языку et cetera  
**в купе**  
**с**  
**прорвой**  
каких-то рекомендаций, адресов, поучительных историй,  
пророчеств, исторических анекдотов, галантных тайн,  
песнопений, писем, дат, снов, толкований последних,  
**документов и фактов,**  
**украшенных**  
сходственными портретами прекрасных дам,  
героев, государственных мужей, престолюдинов,  
философов  
и  
**портретом автора**  
**с приложением**  
государственных секретов, планов, миниатюр и  
**рецепта действенного бальзама от любви**  
к женщине, родине и литературе,  
**то есть сведения**  
**совокупно бесценные**  
**для всех, желающих посетить некоторые отдаленные части света**

*\* Главы из новой книги М. Генделева публикуются в сокращенном журнальном варианте. Полностью книга выйдет в 1989 году. Копирайт автора.*

## ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

(заметки к эпосе)

### ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

*... уж не знаю как вы, дамы и господа персонажи — мы, мы всецело и всегда за "соблюдайте чистоту" изящной словесности от низкой прозы. Или — или! Котлеты отдельно, мухи отдельно. А то начинается — уйдет жена от литератора — бац! "Да куда ж это ты, Елена? Как же это я без тебя, Ленок?! Твой Э." Не успел попасть под авто — дежурная теодицея... Мы — против. Мы за баллетристику как слеза. Причем слеза не застывшая, но отмывающая взгляд, брашанный вдогон журавлю достоверности в небе плача и причитаний:*

*Я часто думаю: меня  
Не жалко. Жалко Потемкина.*

*Теперь попробуйте возразить нам, что искусство есть отражение реальности. Дерзните, осмелитесь только. Опровергнем: нет! То есть: да! Искусство есть отражение реальности искусства. Реальности искусства отражение. Так что руки на одеяло, герои!*

*Кроме того, реальность, она как хочет, так и там и отражается. Невзначай отразится:*

*На мир подлунный глянешь без прикрас —  
и на тебе! Чайковский — пидарас...*

*— невзначай не отразится.*

*Нет! нас не интересует сомнительный сиюминутный успех у черни, не манит, и все! наши образцы: "Одиссея", "Путешествия Гулливера", "Как реорганизовать Рабкрин" — нетленные образцы наши.*

*Посему: все что вы прочтете — наглая ложь. То есть и тем самым честная и благородная правда нашей жизни, господа персонажи!*

*Донельза нам с коллегами обрыдли эвювоки — мол, "ни один из героев никогда не существовал в действительности"... Дудки! В нашей с вами, дамы и господа, действительности, мы очень даже существовали. Вольно ж вам дуться, персонажи, на случайное сходство с прототипами...*

*Мы — не от мира сего. Мы другой крови — ты и я. Мы — другой колленкор. Мы воображения полет, вкупе с генеральным героем М. С. Генделевым. И автором, он тоже НИ-КОГ-ДА, он полет, и игра прихотливого артиста. Мы все фуфу. Чистый вымысел чистого разума:*

*На то, что нету, нету в жизни смысла —  
отличная есть рифма — "коромысло".*

*И еще. Понятно, никакой Генделев в Россию не ездил. Выезжать — выезжал, выезжать ни-ни ногами. Во-первых, его, доктора Генделева М. С. нет на Белом Свете (смотри выше!). он, извините — герой, во-вторых, кто б его пустил в СССР, в-третьих: ни малейшей России не существует в природе — вообще — вот уже одиннадцать лет как на родине живем. Спокойно так что, так что не психуйте, дамы и господа, — все враки.*

*Привожу пар экзэмпль пример: заваливший французик из Годо. Урожденный, безусловно, еврей, но с волонтарным (перевод иноязычных текстов, толкование темных мест и примечания на странице 87), конечно, израильским гражданством, и — повхал в Бордо. Есть о чем писать? О чем читать, глаза утомлять? Нету о чем писать, нету о чем читать, глаза б не глядели.*

*С тем  
якобы Генделев Михаил Самюэльевич,  
10 дня месяца ава 5748 года,  
заря, Афула, государство Израиль.*

#### Книга первая

### СКАЗАНИЕ О ШАЛВЕ-ПИЛИГРИМЕ

*“Если праздные люди почему-либо покидают родину и отправляются за границу, то это объясняется одной из следующих причин:*

*Немощами тела,  
Слабостью ума или  
Непреложной необходимостью”.*

*Лоренс Стерн.  
“Сентиментальное путешествие”.*

#### Глава первая

*В которой Шалва встретил рифмоплета  
с лицом осеннего отлета.*

Как нефтяным ливнем, облит Шалва натуральной хулиганской кожей от — прославленного среди тех, кто понимает, — великого Дома — от тель-авивского Дома “Бегед-Ор”. И не скрипели кожи при передвижении маленького, крайне активного организма Шалвы в пространстве Бухарестского аэропорта — нет! визжали предсмертным пороссячим визгом штаны его, причем буколика

усугублялась стуком копытц, оправленных в кинжальные тeхacские сапоги со шпорами. Короче. Шалва выглядел очень сильно; страницы же описания его законной донны утеряны нерасторопной машинисткой при перепечатке.

О количестве собственных чемоданов с богатыми дарами Шалва был осведомлен, но был осведомлен приблизительно. Его половина, кантовавшая оные чемоданы, утверждала, что — пятнадцать. В то время, как старшая дочь, выполнявшая в кампании ту же неблагодарную роль, что маршал Бертье в зимнем походе несчастливого Буонапарте, — дочь-квартирмейстер Стелла знала, что чемоданов — четырнадцать, а что шестнадцать — так это аба\* хвастывается.

Как бы то ни было, семейство Шалва при штандарте с примкнутыми багинетами шло через таможду Бухарестского аэропорта, и незыблемо, как ей и положено, покоилась только пирамида шалвиных чемоданов, в тени которой и подвернулся Шалве Михаил Самюэлевич Генделев, странствующий сочинитель стихов и поэт, чье отчужденное выражение лица скачущий впереди семейства Шалва по запарке и врожденной ненаблюдательности принял за покойное величие персоны, Которая Знает Все. Тем более, что поэт уже дал два, как оказалось, исчерпывающих ответа на два животрепещущих вопроса Шалвы. Конспект:

— алеф: хватит ли шалвиному папе, который, конечно, прилетит обнять сына на транзитной станции Москва—Шереметьево-два, что лежит при торной дороге Лод (государство Израиль) — Кутаис (Грузинская ССР, Русия), хватит ли папе 15 (прописью в скобках — “пятнадцати”) тысяч рублей, чтобы оплатить государственный таможенный налог Союза Советских Социалистических Республик, буде таковой предъявлен, “потому что 5 (в скобках — “пять”) в видео вззу друзьям по армии? э?..”

— Хватит, — ответил Генделев.

бет: спрашивается: будет ли встречать Шалву Алка Пугачева, с которой Шалва большие друзья с тех пор, как водил советскую канарейку и весь ее гастролирующий коллектив по веселому Тель-Авиву и “самасшедшие денги вложил — не жалко?..”

Михаил Самюэлевич ответил:

— Канэшна.

---

\**Все примечания даны в конце текста.*

Но не списывайте на пресловутую генделевскую бессердечность, халатность и легкомыслие эту кажущуюся оскорбительной лапидарность, эту, почти лакедомонскую кратость ответов поэта. Выражение лица осеннего отлета, которое доверчивый Шалва принял за тертость в деле передвижения по трассе "Иерусалим—Ленинград", было не чем иным, как отражением совсем иного душевного состояния, поддающегося описанию лишь в буддийских терминах, из которых самым цензурно переводимым было бы *samadhi*. Известный поэт, чьи неотложные и невеселые семейные обстоятельства требовали немедленного личного присутствия в городе Ленинграде, только что перенес налет оравы румынских авиа таможенников, с точностью необычайной воспроизведших набег воинства Идолища Поганого на струи торговых гостей князя Владимира-Красно Солнышко.

## Глава вторая

### *Где движет недвижность странника самой судьбы мохнатая рука*

— Сувенира, — доверительно сказал то ли сержант, то ли полковник, кто их звезды считал! и вытянул из сумки поэта везомые в подарок колготки.

— Сувенира, сувенира, — закивал, заискивающе улыбаясь, Генделев.

— А, сувенира, — сказал довольный полковник и сунул колготки в свой, даже не вспучившийся карман. После чего вытащил из сумки вторые колготки.

— Сувенира? — уже уверенный спросил он. Генделев растерялся. И от растерянности забыл все, чему учили его иерусалимские доброхоты на предпоездочном инструктаже. Он зашипел и, запустив по локоть руку в галифе военного дака, вытянул экспропрированное назад.

— Нет сувенира! Ноу, но, нон сувенира! Нет не сувенира, зис из сувенира, вепрь проклятый!

И лихорадочно наскребя по сусекам крохи инструктажа, протянул таможеннику пачку "Мальборо". (Что я делаю! Я пал! Это же подкуп... — промелькнуло что-то белое на берегу и махнуло рукой его отплывающему сознанию.)

Вепрь одобрительно взял пачку сигарет, потом медленно вытянул из слабеющих рук Михаила Сэмюэлевича бесконечный какой-то, шелковистый, лунатический всхлип колготок, мгновенно, как всосал, втянул их в кулак и уже безвозвратно швырнул в пучину кармана.

— Да сувенира, — сказал он назидательно.

“Но пассаран, но пассаран”, — жалобно, как лист кленовый, планировала, кувыркалась и ложилась на крыло в седеющей голове Генделева единственная твердо известная поэту романская фраза. “Но пассаран”...

— Да сувенира! — повторил налетчик, уже присматриваясь к комплекту егерского белья, назначенного в подарок отцу поэта. Генделев панически оглянулся.

— Один, всегда один, — подумал он. И тогда взгляд его встретился с легкими, невинными глазами другого погромщика, на погонах которого лучилась уже просто Большая Медведица в полном составе. Генералиссимус таможни располагал. Располагал он симпатичным своим лицом, напоминающим Леонида Ильича Брежнева в период восхода карьеры. Сходство и расположение усиливались и орденом на груди приятных пропорций, — как груди, так и ордена. Бандит представлялся личностью почти харизматической.

— Судьба! — подумал поэт. — На сувенира! — ринулся он к доброму разбойнику. И сунул пачку “Мальборо” в ловкий хобот Леонида Ильича. — На! И судьба в лице начинающего генсека улыбнулась. Судьба сделала длинный шаг к зарвавшемуся коллеге, молча отпихнула бандита погоном, застегнула сумки и, побурлацки ухнув, орденосно поперла поклажу — естественно, мимо таможни.

### Глава третья

*О том, как выкупил еврейское добро  
Джон черчиль Первый герцог Марлборо.*

Таким образом, багаж почти нецелованным поплыл в аэроплан, а телесная оболочка Генделева осела в тени циклопического зиккурата из чемоданов Шалвы, где, как оказалось, уже успела ответить на два животрепещущих вопроса. А когда цвета и звуки



начали возвращаться в сознание поэта, он обнаружил перед своим лицом шевеление золотых пятен, до него донесся топ, звон бубенцов и цок копыт, что при врубе аккомодации и настройке звука определилось и (наплыв!) осмыслилось, как пляска святого Витта, исполняемая невероятно злато-глазым, -зубым и -волосым карликом-грузином при жене и шпорах. Через батальный лязг наплечников и набедренников, сквозь пасторальные звоны, по-над сполохами зайчиков на броне, сквозь битву даков с иберами прорубился к уму и сердцу поэта даже не смысл, но клеточный иврите-русском-грузинском с использованием ненормативной лексики идиша и арабского языков, донеслась невнятица такой тоски и силы, что Генделев прислушался — и вник. А вникнув, испытал этическое неудобство, некий зуд, эдакое щекотание совести, что-то вроде морального расчеса, стыд за нелюбезность свою, за бесчеловечность, за, прямо так и скажем, хамство ответов своих и вельможное безразличие к боли ближнего. И тогда он внял ближнему. А внявши, понял — беда.

Беда состояла в том, что чемоданов у Шалвы оказалось не пятнадцать, как думала его верная дура-жена, не шестнадцать, как помышлял пылкий и склонный к фантазмам Шалва, и не четырнадцать, как знала практичная дочь-квартирмейстер красавица Стелла. Чемоданчиков было — восемнадцать. Восемнадцать, цифра роковая, запомни ее, читатель, — восемнадцать. Один в один, восемнадцать гиппопотамов с натянутой гестаповской кожей, качеством соизмеримой только с кожами вздорных шалвинных джинсов. Восемнадцать спокойных чудовищ, до неподвижности обожравшихся электроникой, тряпками, часами, парфюмерией и забывших дышать от внутреннего напряжения. Восемнадцать мест ручной клади. А можно — 12 чемоданов (двенадцать чемдн.), отнюдь не восемнадцать. По два на рыло, включая малюток дочерей Ору, Яэль и несмышлениша Ционку, тоже обещающую со временем стать красавицей; шесть лишних, с позволения сказать, чемоданов — это уже беда, а если еще лишний, с позволения сказать, вес, то есть овервейт на жаргоне румынских авиацыган, пустяки, каких-нибудь 980 кэгэ, не тонна же! — но при цене шесть долларов США за каждый кэгэ лишнего груза, что в пересчете составляет (... ..) кус има шелахем, маньяким\* как справедливо заметил Шалва, ибо это уже была настоящая беда, и она смотрела в лицо поэту нестерпимо золотистыми влажными очами. И — зывала. К чести Генделева. Но к чести Генде-

лева ни разу, нет, ни разу с темного дна, из бездны подсознанки, где болтался мотивчик “Мальбрук в поход собрался”, не поднялась — плохо ложущаяся на этот мотив — формула “а ну его в жопу. С его чемоданами”. Нет. Израильтянин в беде! Мог ли Гражданин, Сионист, Врач-Армии-обороны-Израиля, поэт военной темы не прийти на помощь? Не мог. “Мальбрук в поход собрался”? Мальбрук... дюк... Мальборо! Вот оно, ключевое слово! Он, герцог имени которого табачное изделие работает сезамом социалистической таможи цыганской республики Румыния.

“Мальборо!” — страшным хриплым голосом пифии выговорил Генделев. Пляска святого Витта, исполнявшаяся Шалвой, сменилась огнями святого Эльма, зажегшимися — и забытыми погаснуть — в золотых глазах евреогрузина. Весь он, похожий на вставшую на дыбы взвизгивающую галошу, замер от восхищения и перестал звенеть шпорами. И через отрезок вечности минут в пятнадцать длиной впитал идею поэта.

Под сень чемоданов был призван необходимый орденосодец, уже несущий на отлете хватательные отростки, и мгновенно было установлено, что (пачка “Мальборо”) никакого (еще пачка) лишнего (еще две пачки) веса (очень много пачек “Мальборо”) у Шалвы и его семьи (почему-то еще одна пачка) нет, а об овервейте даже смешно говорить, и вообще чемоданов (пачка) у Шалвы всего двенадцать, что и требовалось доказать (последняя пачка, вдогон). Таможенный досмотр, состоявший в том, что начинающий генералиссимус посмотрел на незыблемый зиккурат и потерял к нему всяческий интерес, был пройден! и — крикнули (две пачки) дивизию носильщиков. Благородный Шалва хотел отблагодарить и Генделева двумя, нет, даже тремя пачками “Мальборо”, или даже познакомить в Москве с Алкой Пугачевой, — но объявили посадку и подали экипаж.

#### Глава четвертая

*Где к нам слетает сон, где сами мы паримы,  
и в Риме № 3 мы пилигримы.*

В румынском, подозрительном, еще на земле дребезжащем авионе, оказавшемся, если приглядеться, небрежно перекрашенным “Илом”, Генделев спал, а сновидений не запомнил. Но наверно ему снился — и в последний раз снился — неотвязный эми-

грантский сон (да-да, и в горнем Иерусалиме сон, и через одиннадцать лет — сон!): что стоит он, в нашем случае — Генделев, на Главном Русском Вокзале, и он — приехал, вэ аф ахад\* его не встречает, вэ зйн асемоним\*-двушечки позвонить родным, и никого знакомых, и если и есть они, знакомые, то не те какие-то они, а вовсе полужнакомые, и нехороши они, а тех необходимых (до сосущей и во сне боли в сердце) нет, и не добраться до дому, и заблудился, и плутает в неведомых (ах, это же старый адрес, а мы переехали в 61-м...) местах, и какой-то никчемный одноклассник (-ца?) ведет неправильно, и — родительская дверь, и нет ключа, и на звонок не открывают, и — да! то есть, юф корс\*, я буду есть свой завтрак, мисс, но это отнюдь не сыр кашковал, мисс, это мыло, мисс, я точно знаю, когда и на вид, и на вкус мыло и даже мылится!.. и как глупо, господа, что в таежном Бухарестском аэропорту нет телефона, значит — не встретят в Москве... откуда им знать, знать, что прилетел, хорошенький сюрприз, Господи, как снег на голову... а что это внизу — снег?! Господи, пролетели Киев, уже Россия, Господи, а сейчас еще и — советская — таможня!!! Оп-па!.. сели, как споткнулись, и на копчик — здрассте! Это что — это я в СССР? Что вдруг? Куда, простите?

— Сюда, пожалуйста!

— Откуда?

— Кто — я? Из Израиля.

— Зачем?

— А так.

— Паспорт?

— Вот паспорт.

— Будьте любезны, пройдите туда!

— Бога ради... Куда?

— Сюда, пожалуйста!

— Куда спасибо.

— Туда.

— Сюда. Куда теперь?

— Сюда теперь!

— Жванецкий?

— Конечно.

— Спасибо.

— Пожалуйста!

И когда, по прошествии получаса Шереметьевской белиберды, поисков багажной тележки и буридановских размышлений, к

какому хвосту какой очереди пристроиться, проходивший по касательной штатский небрежно пригласил господина Генделева из Израиля пройти к седьмому отсеку на досмотр, господин Генделев из Израиля все-таки задержался и из-за плеча штатского попытался досмотреть, досмаковать, восхищенный: юный, бело-розовый часовой-пограничник кроличьими чухонскими зеркалами души отражал танцующего перед ним, перебирающего мелкими копытцами чудесного грузина в стреляющих джинсах, в возбуждении вибрирующего, захлебывающегося и плюющего от обладания волшебным секретом успеха: это дивный Шалва в пляске протягивал совсолдату по пачке "Мальборо" в каждой руке...

Но досмотреть (пройдемте!) эту сцену (ну что же вы!) до конца Генделеву не удалось, и может быть потому на вопрос: ну, а печатные материалы у вас есть? — Генделев тяжело вздохнул.

#### Глава пятая

*Где в ногу семеро читают стансы,  
и зачем цыганы выдают квитанции.*

— Ну, а печатные материалы у вас есть? — и подошли еще двое, и стало их семеро.

— А как же! — сказал Михаил Генделев и извлек из сумки семь (какое совпадение!) экземпляров своей же собственной книги с названием (опять совпадение!) "Стихотворения Михаила Генделева". Семь офицеров синхронно, в ногу, открыли по экземпляру и углубились. Автор присел на корточки, с головокружением закурил последнюю мальборину, смял пустую пачку и, не зная, куда ее сунуть, повертев, попытался подлихнуть под собственную сумку.

— Не мусорьте, — не поднимая головы, склоненной над книгой "Стихотворений Михаила Генделева", буркнул таможенник. — Это вам не Израиль.

— Есть! — быстро ответил застигнутый ин флагранти Михаил Генделев. — Это мне не Израиль, — подумал он.

Время пролетало незаметно, а офицеры все читали. М. Генделев смотрел на читающих чинов. — Читатели, — подумал Генде-

лев. — Первые мои советские читатели. Общение с читательской массой.

— А зачем вам так много одинаковых книг? — спросил читатель.

— А что может подарить литератор, как не свою книгу, — ответил, пугаясь собственного остроумия, автор.

— Действительно, — сказал чин.

— Действительно, — подумал Генделев.

Офицеры дочитали и сложили книги стопкой. Из других печатных материалов так же внимательно была прочитана этикетка галлона "Смирнофф".

— Заберите, — сказали с отвращением читатели. — И идите.

— Куда? — спросил Генделев.

— В СССР, — сказали читатели. И поэт пошел в СССР. И уже было вошел, когда, пробив его суточную, тупую головную боль, шум Шереметьева взорвал такой первобытной мощи крик, что взрывной волной Генделева развернуло и швырнуло назад, к барьеру таможни, на который с другой, еще не совсем советской стороны набегал, обгоняя собственный рев, Шалва.

— Шмонаэсрэ! — ревел он. — Шмонаэсрэ!! И был Шалва ужасней собственного крика. Куда, куда девался бенгальского тигра огонь его очей? Они были мертвы и неподвижны, как пустыня, и пустыни, как смерть от жажды. Где византийская осень червонных его кудрей? Шалва облетал на глазах. Он умирал. Но он умирал в бою. И Самсон, и лев был Шалва — единолик. Ополумевший евреогрузин лягал шпорами двух стюардесс — русскую и румынку, мертвой хваткой вцепившихся ему в подкрылья. — Шмонаэсрэ, — кричал Шалва на языке Эрец-Исраэль, на языке города Лода, на языке, вряд ли попятном еще кому-нибудь в Шереметьево-два. Таким он и запечатлелся на мгновенном негативе вечности, взбесившаяся, поднявшаяся на дыбы галоша, разинутая в крике "Шмонаэсрэ. Смотри! и отвернуться нельзя. Затянутый турбулентным водоворотиком пограничников, я опять оказался прижатым к таможенному барьеру, за которым шла последняя битва грузинского пилигрима — и невольно понял: нет, не пятнадцать, как думала жена, не шестнадцать, как фантазировал Шалва, не четырнадцать, как знала дочь, — и не восемнадцать было выдано Шалве в Шереметьевском аэропорту чемоданов, а ровно 12 (прописью — двенадцать), согласно квитанциям Бухарестской таможни и наличию багажа в самолете. И никакого овервейта. В конце концов, это

вам не частная лавочка, а государственная авиакомпания Социалистической Республики Румыния. Катарсис.

И оттертый расцарапанными стюардессами, легко раненным белобрысым пограничником-при-штыке, читателями-моими-таможенниками и человеком в штатском с чем-то там наперевес, я вернулся и пошел от Шалвы в СССР под страшный, в вкуса слюны Судного дня, крик:

– Шмонаэсрэ!

*Конец первой книги*

Книга вторая

СЫНЕНЬКА

*“Пусть тот, который судит меня, тоже составит книгу”.*

*Иов (31:35)*

Глава шестая

*О том, как преподавал стрелок-водитель Павлик словарь Советских Социалистических Рипаблик.*

Начать! О, как начать главу воспоминаний? “Не встречали”? С ума сошли? Да лучше сразу расписаться в несостоятельности. “Не встречали”!.. Не смешите меня, господа.

Тем временем — писать стало решительно невозможно. Главы не приклонил — бац! машинистка-первопечатница возводит обвинения в опосредованности. Ни сном, ни духом — а укоряет... И в головизне. Каковую головизну всегда считал частью усопшей и посмертно копченой рыбы. Обидно.

Уже и с голоса дерут, добро бы погрешности стиля, но дыры интонации. И — в строку. Уличают в покраже образной, стыдно сказать, — системы. Обидно? Обидно...

Можно ли написать что путное, когда этот, с вашего позволения, Одиссей, сей главный, с нашего позволения, герой с повышенной возбудимостью этот персонаж Генделев М. С. ведет себя кое-как, жестикулирует, изливает потоки сознания, вертится под ногами,

связывает по рукам и опять же ногам — повернуться негде. Улисс связывал? Манас Великодушный — связывал? Гулливер, психотыфу! — логизировал? А этот — да. Обидно? Обидно.

А вообразите на нашем месте какого ни есть тоже русского поэта, Поэта-Изгнанника? Честно представьте! Или представьте честного-прозаика на худой конец, Солженицына Александра Исаевича представляете? Чтоб прибыл в СССР — и — “не встречали?” Умоляю, представьте. Жить — нас учили — надобно не по лжи, а писать — правду. Правда, художественную, а не какую-нибудь, когда ничего кроме и какая каждой психопатке три раза на дню. Отсюда — и выйдете из нашего положения — вон. Вон туда! Где и — представьте — “не встречали”, и — “поташнивало”, и — “распогодилось” в городе Москва 1 апреля 1988 года.

А то: “не встречали”...

А бывало ли на Руси, чтоб не встречали?..

Итак:

— ...А хрен его знает, куда ехать, — вконец опустившимся голосом, но вполне без акцента ответил иностранец Генделев из глубин “Волги”.

— Про хрен обязательно понятно, хозяин, — осклабился гэбэшник, — но поточнее, поподробнее... Адрес?

— А — картинка-гэбэшник... Рост, выправка, нордические черты, фотогеничен. Новая формация. Любезен до чрезвычайности. Конечно и безусловно — Гэбэ. Их рука, графологи, их почерк, посудите: сумы переметные в багажник прицельно подкатившей к крыльцу Шереметьева-два “Волги” — сам. Странника Генделева, ненавязчиво направляя под локоток, — плюх! на заднее сиденье — сам жаргончиком московско-таксерным бисерит, стилизуется — тоже сам. Ведь сам, небось, душитель свободы, сам, опричник, сам знаешь, куда везти! Нет, шутки шутит!.. Израильтянин озлился, налился жестоковойной кровью своей израильтянин. Стиснул заграничные, тель-авивской, довоенной еще работы, челюсти и дал себе слово: не колоться. До конца. До дыбы. До мученической смерти от расстрела в подвалах Лубянки. “Как шли мы по трапу на борт в суровые мрачные трюмы...” — вслух души своей затянул поэт иудейский, но не допел, запоминать, сбился, не пелось. Помолчали. Каждый думал о своем.

Добегался, — думал, например, Генделев. — Чего тебе дома не сиделось, мудака?.. Ну, хамсины, ну, кредиторы, ну, читателя — раз-два, левой!.. читателя мало, может быть трое... Ну — на свете

счастья нет... Но ведь была Покой-и-Воля!.. Нет! потянуло в Россию... Заката над Невой захотелось? "Ни страны, ни погоста, мамзер!" Ладушки, будешь смотреть закаты. На Вытегре, в бригаде Валленберга... А ведь остерегали. — Надолго ли едешь? — поинтересовался бывший московский бонвиан, а ныне владелец русскоязычного издательства "Антабус" художник Андрюха Резницкий. — На сорок пять дней, — отвечал Генделев. — Сорок пять, — подсчитал умудренный Резницкий. — Ровно три раза по пятнадцать суток... И когда это было? Еще в Израиле это было, на провах. Перед погружением.

— ...Только денег у меня ваших нет, — обреченно продолжая валять ваньку, сказал чистую, между прочим, правду, арестант. — Мы и ненашими берем, — покладисто отозвался возница-конвоир. — Вот и провокация! — облегченно догадался Генделев. — Валютные операции шьют. Врешь! На дешевку не возьмешь! Не маленькие... И — как отрезал: — Валюты не дам! — А нет баксов, возьмем, мамочка, товаром. Варенку везешь? — Варенку не везу, — твердо ответил Генделев.

Но, конечно, лингвистическое любопытство наше играючи задавило осторожность, и конечно, сидящий в красной темноте внутри нас литератор подал голос, спросил, не удержался-таки: "Что есть "варенка"?" Гэбист ахнул от наивности и — филантроп — дал первый урок соязыка на одиннадцать лет отставшему, отлученному от напряженного народного словотворчества изгнаннику.

"В а р е н к а" суть линялые джинсы, что нынче в фаворе в Московии. От руки, домашними средствами их изготавливают, отваривая обычные, советские (то есть сирийские, индийские и демократические венгерские и польские) штаны с какой-то гадостью, но ежу ясно, что настоящая, "в а ж н а я", как выразился шофер, "варенка" идет из-за бугра — "А м е р и ч к и" или "Ф а ш и с т и и", то есть ФРГ. Словарь пух. "Т о н н а" — тыща рублей ("штука" на старые деньги генделевской, отнюдь не невинной в этом смысле, юности), отсюда — "т о н н а ж" — кредитоспособность; "п у т а н а", "п у т а н к а" (вива Эспанья!) — шлюха, она же, если работает на "фирму", на "форинов" — "и н т е р т е л к а", или "с п и д о л а" (призрак СПИДа, по-человечески ЭИДСа, добрел ти до СССР); "т у с о в к а" (от глагола "т у с о в а т ь с я") — вообще любая активная деятельность, действие, передвижение; "л о п а р ь" — финн, он же — "ф и н и к"; "ш к о д н и к" — совсем не то, что раньше шкодник, то есть, про-



казник, а совсем даже наоборот — шкандинав; “человек с тараканами” — дядя с приветом (“джуким-ба-рош” по-нашему); “мудоид” (ноу комент!) — ретроград; “с.т.е.б.о.к” — от глагола (укр?) — “стебать с я” — сознательно вызывающего поведения субъект; “совок” (мн. ч. — “совки”) — простой советский человек. От последнего, тающего во рту, падкий на самовитого слова деликатесы израильский поэт облизнулся и зарурчал. Так, в непринужденной беседе, пополняя словарь, дули по Москве.

Москва как Москва. Ныне иерусалимец, урожденный санкт-петербуржец Михаил Самюэлевич Генделев Москвы не знал и традиционно не любил: Москва-как-Москва. Но — Россия ж! Не кот наччал, мудоид!.. А? Россия! „ha” — встрепенулся турист, опомнился и вперился:

битый, как на разъезженных танковыми траками дорогах горного Ливана асфальт. Кириллица, кириллица, кириллица... Кириллица “Молока” и “Электротоваров”. “Сыры”, “Витязь”, “Продукты”. Аскетические витрины. Удивительная, именно своим отсутствием наголо — реклама Тыщи народа, толпы народу, тьмы-народ, и тьмы, и тьмы. Странно-семящая походка толп — все-союзное плоскостопие? “Волга” тормознула у светофора — смотри: девица, всем ах-девица, в куртке почти “настоящей”, в “важных” штанах, в самовязаной красной шапочке — чем же нехороша? Шапочка хуже девицы, девочка лучше, чем красная шапочка. “Телка старше прикида”, — строго поправил водитель-инструктор. (Будет сия негармоничность, этот разлад внешности и одежды, — только не говорите мне, патриотки, о специфичности национальной советской моды — будет колоть эта неувязка карий, балованный глаз до самого конца Великого Русского Путешествия.)

Хотя Генделев знал Париж или, допустим, Берн, не говоря уж о Бейруте, лучше Москвы, он сообразил, что капитан-таксер раздумал доставлять арестованного на Лубянку и повез непосредственно на Ваганьковское. Бравый возница с трудом остановил раскатившуюся телегу, вышел, одернулся, стал по стойке смирно лицом к кладбищенским воротам и отчетливо перекрестился.

— Володе, — ответил он на незаданный вопрос. — Володе, он здесь лежит. Я всегда, как мимо катаю, так делаю.

И приосанился.

— Ага, — мгновенно сообразил Генделев. — Оторвались же мы

в провинциальных палестинах своих от жизни. Ай да Горбачев! Значит, перехоронили чучело. Опустел мавзолей.

— ...Оборвали ему гады серебряные струны, — надрывно прошептал псевдотаксист.

— Кому? — отшептал назад Генделев.

— Володе Высоцкому.

— Вот она, слава, — придя в себя, горько зазавидовал иерусалимский литератор. — Фиг на меня креститься будут! В Иерусалиме-то? ...И где он — о Иерусалим!..

Меж тем в экипаже беседовали. О том о сем. Звать — Павлик. Соляр нынче дорог. Дороги наши совдеповские — сам секешь — говно. (Секу: "хара" — аккуратно перевел себе "Миша"). Работа наша — грязная (еще бы!..). Любитель-Высоцкого-Павлик поинтересовался, как обстоит дело с телками в Тель-Авиве, Миша успокоил, что отлично.

Когда бричка подкатила по известному адресу, где проживала бывшая жена брата бывшей жены задержанного, прояснилось, что будет Павлик приводить приговор в исполнение собственноручно, что расплата (шма, Исразль!) близится и что она неизбежна. Расплата и осуществилась — тремя парами (опять) — колготок в цветочек, импортных, с шука Бецалель, по два шекеля штука, одноразовой бритвой (прошли и канули благословенные времена "Мальборо", о, Шалва! Где ты, земляк? Где бы ты ни был — мы помним о тебе, Шалва!), так вот — тремя парами колготок, бритвой одноразовой, — одна — и, подумав, открыткой с видом города Афула; и еще — двумя — свобода, если разобраться, дороже! — гонконгскими контрацептивами. Совокупно рублей на сто двадцать плюс крестное знамение, — мрачно учла бывшая-жена-брата-бывшей жены когда, воротясь со службы, застигла у своих дверей бывшего-мужа-сестры-бывшего мужа, разинувшего пасть во сне.

#### Глава седьмая

##### *Моление о чаше и эссе о колбасе.*

Путешественник дрых на сумах поклажи, а вокруг его прыскала и перепихивались локтями октябрята. Экскурсию по путешественнику вел никогда им невиданный, бо увидел свет по убытию

дяди из пределов России, племянник Янечка. Племянник Янечка очень переживал, на каком языке будет он разговаривать с дядей Михаилом из Америки (слово Израиль в непрочной семье прочно табуировалось), но успокоился после первых же инвектив заграничного родственника. Хотя некоторые, наиболее простые слова разбуженного ребенка из хорошей, интеллигентной семьи слышал впервые. А еще через миг, подобный обмороку, дядя Михаил сидел на московской кухне — и пробовал.

Нет, не голод он утолял, — утешал он ностальгию гастрономическую, взлелеянную годами разлуки. Ибо:

если мир есть дом, то родина — кухня. "С молоком матери". "Родительский очаг". "Горький хлеб сиротства" (вариант — "чужбины"). "Сладкий дым отечества". "Сладко пахнет труп врага" (вариант — "белый керосин"). "А сало русское едят". "Пуд соли". "Евхаристия". "Кровь с молоком". Маца. "Щи да каша — пища наша". "Что русскому здорово, то немцу карачун". "Когда я ем, я глух и нем"... — вот она, вот откуда она, гласность! (Посвящается Майе Каганской.)

Генделев пробовал.

...хлеб круглый черный по четырнадцать копеек пробовал, кефир из аутентичных стеклянных бутылок с изумрудной фольговой шляпкой — пробовал. И ацедофилин. И соленые огурцы пять рэ кило на рынке пробовал. С деликатностью. Предложение попробовать Колбасу поначалу отклонил, с мотивацией, что люди этого не едят и что колбасы такого (шалом, драгоценнейший Михаил Афанасьевич!) алого цвета не бывает и не было в его время, то есть, Колбаса, как бы это по-необходимее выразиться, недостаточно ностальгична... Но ведь и названия такого — "Студенческая" — в твои времена не было — вот как парировали гостеприимцы! И — Генделев попробовал. Сало (прости коллега Барух Авни, в девичестве Камянов\* — оскоромился!) — пробовал. С нами крестная сила! — какое сало в голодной России! Каждому еврею на пасху такое сало. В Иерусалиме, например, такого делать не умеют. Свиньи не те.

— А грибочки, а грибочки-то — боровики! Сами брали, сами маминовали!

— Стоп!!! — рывкнуло сознание Генделева. — Стоп! Чернобыль!!!.. Грибы тянут из почвы кадмий!

— А хер с ним, с кадмием, — разнеженно, с ленцой отозвалось подсознание.

И конформист Генделев немножко попробовал. Ведь, как согласились янь и инь, надо же человеку чем-то закусывать напитки, которые человек пробовал. Например: "Пшеничную" — прямоотой вкуса и устойчивостью духа подпирющую Столп Утверждения Истины, что "алкоголь — это наружное", — пробовал! (После чего и самую алую колбасу умял, и хиросимские грибы схрупал, и белой ручкой не махнул — прощайте, мол, ваше здоровье — Веничка!..) И "Золотое" пробовал "Кольцо" по семнадцать (Генделев поперхнулся) пятьдесят бутылка, как нежно спела вслед бутылке хозяйшшка. И антисемитскую "Горилку" вкуса "циклона-Б", и с резолюцией "с эффектом — согласен" — пробовал, и "Сибирскую", после которой с голыми руками хоть на медведя ("дов" — на языке Танаха) — пробовал. И действительно — хоть... И — абзац!

О дайте, дайте, Господь-Редактор еще сто строк описать этот стол, эту пищу! Продлить смак. Жалко, что ли? Для кого экономите место?! Где она, вереница напиряющих шедевров, жарко дышащих в затылок, ради которых стоит пожертвовать гулками просторами листа и желудка? Нет таких шедевров, Господь-Редактор! (Но — абзац! ...И краткость — сестра нашего таланта. И теща — Гения. И — кротость — сестра... — И — без никаких разговоров... абзац, кому я сказал!)

Абзац.

Начавши пробовать засветло, к одиннадцати вечера вспомнили, что на "Красную стрелу", на каковую загодя были куплены билеты для торопящегося к маме-с-папой израильтянина и сопровождающего его, но уже ничего не соображающего лица — оживленного лица все той же бывшей — ..? брата?.. жены..? — на "Красную стрелу" безусловно опоздали, но не печалься! еще по рюмочке со свиданьем, за Михаила-свет-Сергеича, дозволившего — дай ему Бог здоровья и не позволяй ускорение дней его — это свиданье, и — на! посошок! и заполночь встречающие, то есть провожающие, вставили Михаила, нет-нет, все-таки — на этот раз — Самюэлевича и Лицо Его в какой-то прибудный поезд на Ленинград, конечно, помимо билета, незатейливо напрямую забашляв проводнику и тем самым допустив подкуп государственного служащего при исполнении, что категорически не рекомендовалось гражданину государства Израиль миспар теудат зеут ахад-шева-шалощ-ахад-штайм-тейша-шалощ\*, нет все-таки шеш\* (или-таки шалощ?\*), получившего право нанесения гостевого (в порядке исключения)

визита к прямым родственникам в город Ленинград (мать, отец, дочь — нужное подчеркнуть) — подчеркиваем — в город Ленинград, Союз Советских социалистических Республик, и чему (нарушению социалистической законности) гражданин Израйля, кацин рефуа миспар иши\* (вычеркнуто военной цензурой) михазль г-н-д-л-в мог... несомненно б воспротивился, если б мог... И дальше — темнота.

### Глава восьмая

*Как, только оседлав дрезину,  
мы укрощаем Мнемозину.*

Но и в угнетенной России нет-нет, да и всходит солнце, и утро — брезжит, и традиционно — даже и нерусский путешественник — стоит в тамбуре шаткого вагона “чего-то-там-чего-не-выяснено — Ленинград Окт. ж. д.”, уцепив и без того дрожащей рукой — ручку (да-да-да-да!) дребезжащего мельхиорого подстанника (это надо же!). Путешественник время от времени прикладывает похмельным бедовым лбом к холодному (да-да-да-да) стеклу вагонной двери, а за стеклом текла областная Россия, дождик и вообще всякая дребедень, лесочки там, дачки, усадьба Набокова, корова (“пара, мой друг, пара), станционные сортиры, эмигрантские березки (а не интересно — и не читайте!).

И уже Рейнгольд Морицевич Глиэр грянул Гимн Великому Городу и его Николаевскому вокзалу. И уже по перрону бежали они, те самые персонажи изгнаннического кошмара, но — самые необходимые которые, и как сравнительно со сном, постаревшие! и Танька Павлова ревет, дура, и Лев хмыкает — ну чего ты!.. И редкая вразбивку надпись: “Л-Е-Н-И-Н-Г-Р-А-Д”, как будто и сами не знаем, над уходом в паха Московского вокзала, и выход на площадь, на которую никогда, вы слышите: ни-ко-гда- не мог и не должен был еще раз выйти Генделев, да и не вышел, а выбросился на плечах друзей Генделев на площадь Восстания. И — по Знаменской — Петра Лаврова — Неве — чрез Троицкий по Каменноостровскому, насквозь, наизусть, напролет к Черной речке, и не — “фи, символично” — а жила когда-то здесь, и — нет —

— нет, не узнать своим город и не признать своим. Только где-то близ Льва Толстого, когда прочел вслух транспарант поперек

Кировского: “Слава народу победителю!” — и форсированно рассмеялся, обернувшись, и предложил разделить веселое недоумение: “За что слава? какому народу? кого победителю?” — понял, что фальшивит, что врет! что не памятью доотъездного знания — но знанием поротой своей жопы знает и помнит, какому — здесь — такому народу и за что — слава, и ужаснулся что — как и не уезжал. И тогда оттолкнулась всеми четырьмя ногами и наверное хвостом его психика от этого “как и не уезжал”, и выползла из-под обвала, из-под оползня этой памяти мокрая ледяная психика. “Нет, уехал. Да, уезжал”. И больше никогда не переживал он это ощущение непрерывности своего всегда существования “дома”, в Ленинграде, что на планете Россия. Позднее, как ни звал, ни подманивал с явным мазохизмом он это ощущение неотъезда, как ни натягивал края вырванной и незашитой ткани непрерывности, края не сходились, зияние не затягивалось, и в дыру изображения, в прорехи до глазного дна вбивало стальные лучи бешеное солнце другой — его Планеты. И при перехлесте лоскутов изображения не был гладок шов, и приходилось с треском пороть лохмотья, и вообще терялась иголка, и нить не вдевалась в верблюжье ушко. Раз — так и не вдел нить — раз — и! — навсегда — трясущимися от волнения и с похмелья руками, когда мы еще приближались к “его дому”, в котором “он жил” почти до самого отъезда, и бил барабан и впереди несли куруры, пока мы и сошли в микроскопическую прихожую, где белая стояла, крохотная — сама себе по пояс, — мама.

#### Глава девятая, кратчайшая

.....  
.....

— Сынеька, какой же ты все-таки у меня страшный! — сказала мама.

*Конец второй книги*

## Книга третья

### ЧУДОВИЩА ИЗ ЗАВИЗЖАВШЕЙ ПРОРВЫ

*“Немалое удовольствие доставляет мне уверенность, что это произведение не может быть подвергнуто критике. В самом деле, какие возражения можно сделать писателю, который излагает одни только голые факты, имевшие место в таких отдаленных странах, не представляющих для нас ни малейшего интереса ни в торговом, ни в политическом отношении? Кроме того я не смотрю на вещи с партийной точки зрения, но пишу беспристрастно, без предубеждения, без зложелательства к какому-нибудь лицу или к какой-нибудь группе лиц”.*

*Джонатан Свифт. “Путешествия Гулливера”.*

#### Глава десятая

##### *Где описания луны*

*прелестным нашим юмором оживлены.*

Я к вам вернусь, — опрометчиво обещал в 1982 году поэт. Я к вам вернусь/ еще бы только свет/ стоял всю ночь/ и на реке кричала/ в одеждах праздничных/ но а меня все нет/ какая-нибудь память одичало/ и чтоб к водам пустынного причала/ сошли друзья моих веселых лет/ ... — придумывал, то есть сочинял, то есть фантазировал некий поэт с безвоздушной, довоенной ночи Неве-Якова (понятно, что до ливанской кампании 82-го года — как справиться?.. с комком в горле?.. о точной дате?.. как? дневников — не ведем-с) — в ночи Неве-Якова, нагорного предместья Горнего Иерусалима, предместья пятого года жизни в Эрец-Исраэль, предместья, в каком висит в воздухе, так, что устоялся и к нему привыкли, русский топор еврейского похмелья — хамсина навсегда, предместья, из чьих астматических окон вылетал плановый дымок паранойи, где водка теплая, жисть пропадающая, дети визжащие, а жены гуляющие; где безденежье означает не “0”. (на выбор — нулем, гласной, междометием, дыркой от “бейгале”\*), но числом отрицательным, а вообще все величины мнимы; в том баснословном довоенном Неве-Якове, где жили поэты, и каждый встречал бывшего харьковского негодяй-прозаика, ночью в темных очках и с пулей в стволе, пофонарно шарахающегося отсутствию соб-

ственной тени; где выходил в жаркий новый еврейский, приходящийся на сентябрь, год ностальгически-московский беллетрист, одетый Дедом-Морозом с бородой из ваты: беллетрист тянул на бечеве автомобиль по имени "Неистовый Роланд", до пенсии марки "Принц", а ныне дикой агрегат без тормозов, но с орифламой на корме, и тянул датый Беллетрист конвой крылатых несчастий по бокам, и баском, сам-хор, тянул: "Наши жены в пушки заряжены", в то время, как юная, розово-рыжая помоечная кошка жены его, развернувшись на балконе, перечитывала монументальное издание "Книги о вкусной и здоровой пище" с предисловием Анастаса Микояна от 1952 года, перелистывала, с физической болью переворачивая каждую страницу изображения кондитерских изделий в масштабе 1 : 3, и, обводя оральный свой рот неправдоподобно оранжевым, оральным же, лингвусом, мявом мяукала: "Оргазм!"; в том Неве-Якове, где и по сей день шатает покойного Анатолия Якобсона, на роковом поводке прогуливавшего сенбернара, ненадолго пережившего самоубийцу; где застит Полную, неполных лун над Неве-Яковым не бывает, крестообразная тень если не ведьмы, то уж точно стервы, рассказчицы про всех и про вся, телосложением с помело, чей — напротив — быкоподобный супруг спяну реализовал метафору, запихнув рассказчице в причинное место повестку, коей призывался в суд по делу о разводе; в веселом Неве-Якове, где до сих пор бежит в круг дома, помавая крыжем, одетый лишь лунным светом, карабасоподобный, бывший москомбинатовский художник и жуир за отказавшей ему в простом и естественном "ню" княжеских тифлисских кровей, на скаку не способной вместить обилие свое в скрещенье рук; во всеобщем Неве-Якове, где спятивший от головокружения при взгляде с высот открывшейся Истинной Веры на бездны глубин Галахи — и — наоборот — матерный Баян, некогда член комиссии по захоронению московских писателей, хаживал в полночи сдавать стеклотару, потому что запой; где наоборот — непьющий, ибо астеник, легкоранимый поэт-переводчик выводил ломкую свою жену-миниатюристку по ночам погулять по минотавровым лабиринтам телячьего, и так закаменевшего мозга-городка, и миниатюристка, в свою очередь, непременно встречала мышат в камзолах и с алебардами; где филолог изпод Тарту учился науке ненависти и вышел в первые ученики, и гениальным стал гоголеведом, что в Неве-Якове немудрено; где сами мы поскуливали на незаходящую луну и взвизгивали



от бессилия своего проснуться и заговорить — заговорить этот мир адамовым древним заговором, когда назвать — это значит овеществить, проименовать — значит призвать к существованию, чтоб стол стоял столом, а не был “шулхан”, и не отплывал, не наплывал двумя дымящимися по хамсинному сквозняку ножками и половиной столешницы на пейзаж-стеллаж классической русской литературы, тщетной описать, а значит — и осуществить это посмертное бытие, и чтоб к водам пустынного причала сошли друзья моих веселых лет, ибо поэт был петербуржский, стих русский, а вид — иудейский.

Вид из окон квартиры в Неве-Якове.

Отличный вид.

До нас квартиру смотрела чета экс-москвичей. Ключ, выданный им в конторе, понятно, не подходил к замку, в каком обломился. Нетерпеливые неоквартиранты спорхнули на этаж ниже, посмотреть, хоть глазком, хоть глазком! квартиру-близняжку. Дверь близняжки была уже блиндированной стали, звонок отсутствовал с мясом. Робко ломились... Открыл новосел из Дербента, человек-Гора, весь — небритый, смугло-синий пузырь, неаккуратно заправленный в синие же сатиновые трусы, плавно переходящие в галоши на босу ногу. Из объяснения понятного желания осмотреть аналогичную планировку, дербентец, славный, между прочим, человек, но мрачный, понял легко, что эти — “соседа прямо над моей голова”, но гостеприимно впустил. Сам сел. На табуретку. Лицом к стене. Окаменел — нормальная дербентская каталепсия. Осчастливленные социалистическим, щедро раздающим квартиры Израилем, разошлись по жилплощади. Они, проводшие медовые месяцы в шестнадцати метрах кубических коммуналки три звонка, с появившимися от шепота ночного и отсутствия ванной мальчиком Ярославом и дочкой Изольдой и неизвестно зачем? появившейся свекровью за шифоньером, наслаждались метражем, попутно осуждая сюзанне, раскрашенных акварелью родственников в папах в рамках из ракушек и анилиновых роз — у них, конечно, будет не так, и — какой вид! — запищала инженер-эксплуатационщик, распахнув этот вид — шизофренический вид каменных холмов Иудейской пустыни, месмерический пейзаж оборотной стороны Луны под небесами сна, устойчивый морок Джалудского хребта по окоему побережья Мертвого неба — какой вид... — Повэсица можна, — сказал, не

покосившись, невеселый дербентец, свисающий с табурета. — Такой вид.

Но поэт пел, закатывался, возводя гомеровские бельма горе этого вида, поэт бредил в грозное ночное небо Неве-Якова 1982 года, пятого года нашего Израиля, поэт выводил: /Я к вам вернусь/ от тишины оторван/ своей/ от тишины и забытья/ и белой памяти для поцелуя я/ подставляю горло... И подставил-таки. Еще через пять, а всего — через одиннадцать без малого лет нашего Израиля, подставил горло. Белой памяти. Для поцелуя.

#### Глава одиннадцатая

*В которой Генделев интересант,  
а слухи ползуют по Ленинграду-Санкт.*

Без дня неделю принимал Петербург поэта израилева. Мама с папой видали поэта по утрам в постеле, ибо к утрам сына приносили.

Надоело ронять красивую голову на реторты в своей лаборатории Ларке, в миру Ларисе Гершовне, женщине-химику, женщине строгого поведения и хороших манер, отличному товарищу и даже достойной во всех отношениях, но тоже из друзей моих веселых лет. Женщина-химик Лариса Гершовна клевала с недосяпу носом, а встряхиваясь, хрипло объясняла никогда не числившим за ней подобных прорух коллегам: "Кореш из Иерусалима приехал..." Кроме того, Ларочка крала (чего за ней тоже не числилось последние одиннадцать безупречных лет) казенный спирт ("шило") из химлаборатории в количествах, прямо сказать, товарных, потому что в законно сухой горбачевской России алкоголь, точнее, его дефицит — настолько насущн, что давал себя знать и в возвышенном доме Беллы Ахатовны известной советской поэтессы А.

"Шило", к справедливому неудовольствию пунктуальнейшей Ларисы Гершовны, не успевало настаиваться на бруснике; что понятно: этикетку галлона "Смирнофф" друзья веселых лет и их знакомые прочитали единым духом. Когда запасы ректификаката в ленинградской оборонной промышленности иссякли на ближайшую пятилетку вперед, рассудительная Лариса Гершовна перестала выходить на работу за свой счет, чтобы не нервировать сослуживцев.

Уже попал в медвытрезвитель драматург Е. В., молочный враг поэта. Смягчающим обстоятельством было, что драматург, теперь автор сценариев факельных шествий, нигде не работал никогда и продолжал нигде не работать все одиннадцать лет разлуки с врагом, поэтому на службу не сообщили.

Уже как-то приелось подымать упавших в обмороки проходивших на Невском проспекте. Уже популярный в известных кругах режиссер площадных действий Коля Беляк серьезно ушибся, брякнувшись об пол легендарного кафе Сайгон. — “Эк вас, батенька, перекосило”, — сказал, заботливо склонившийся над телом, военврач Армии Обороны Израиля, человек начитанный.

Уже на корректный, на недурном английском, вопрос отрока-фарцовщика: “Сэр, простите, сэр, вы что, сэр, наш русский сэр?” — поэт иудейский устало махнул: “Кажется, уже да...”

Уже в ресторане ВТО (ныне столовая союза театральных деятелей РСФСР) некий, визуально-раньше-знакомый деятель РСФСР разлетелся к некому откуда-то-смутно-визуально-раньше-знакомому целоваться:

— Ты?!

— Да, — сказал Генделев, уклоняясь от засоса.

— Леонтьев!

— Да, — сказал Генделев, — Леонтьев.

Уже прилетел из Йошкар-Олы, сорвав командировку и тем поставку сляб в северную зону СССР лучший друг Женька по кличке Жо Гималайский, прыгун тройным и несравненен в рукопашном бою, и другие лучшие друзья оформляли ему фиктивную госпитализацию в Скворцова-Степанова с диагнозом психостения. (Он лег туда с тем же диагнозом по отбытии поэта, хотя уже “до” жаловался, что больше-де не может.)

Слухи ползли по Санкт-Петербургу. Передавали, что (навсегда) приехал (вариант — попросил политического убежища) шишка из Мосада некто Генделев, лично организовавший Сабру и Шатилу. Кое-кто одобрял.

Уверяли, что Генделев в единоборстве сбил два наших самолета. Генделев не опровергал.

Утверждали, что Генделева будут печатать в “Октябре” — Генделев опровергал с негодованием.

Уже перекрестилась из толпы Первая поэта, первая комсорг, а ныне парторг идеологического вуза и поклонница перестройки

Наина Олеговна, с которой, юным комсоргом Миша, терял обоюдную невинность на скамейке Марсова поля, где лежат герои, в тридцатиградусный мороз... — Христос с тобой, сказала она, старенькая, и прослезилась.

Уже с телефона родителей снимали трубку, чтобы папа немножко поспал, но телефон все равно ритмично звенел. И некоторые предложения были настолько недобросовестны, что Генделев молк.

Предлагали отвезти моторную лодку-катамаран Муленьке в Димону. Просили передать берет. В Бней-Брак;

уговаривали признать дитя;

предлагали подписать протест;

предлагали шесть килограммов актуальнейшего романа о сталинских лагерях (Солженицын котенок);

предлагали остаться;

предлагали торпеду (понятно — макет);

предлагали вывезти пса (добермана — предполагалось, что он попадет под "Закон о возвращении"<sup>\*)</sup>;

нашлась в Кохтла-Ярве промежуточная (вторая) жена. Считала себя вдовой;

звонили из военкомата. Обещали безотлагательно призвать.

Уже через третье подставное лицо, горя французскими знаками препинания, депешей уведомил бывший соллагерник по п/л "Веселый спутник" папиного завода "Вибратор", товарищ генерал ГРУ, товарищ Х. У. З. (Икс, Игрек, Зет), что встретиться, сам понимаешь, пардон, не может, но-таки кинул NN (эн-эн) в окно камешек в час между собакой и волком (и попал в собаку), и ввалился Л. Ж. (эл жэ) в четыре квадратных метра кухоньки и занял три, но смешали березовый "Балантайн" с распределительским "Бифитером", и очень он, Ленька Ж. (Ленька Жэ) болел за ваших на Голанах, а поддав, выдавал госсекреты оборонного значения СССР, о которых ленились писать журналистки в "Джерузелем Пост". Отъехал товарищ генераль, Леонид Георгиевич Жабин, к полудню. У парадного дежурила "Чайка", и две БМП (боевые машины пехоты) подчеркнуто индифферентно ездил туда-сюда в скверике. Стайка автоматчиков в форме спецназа играла в пятнашки. Салил герой Советского Союза, прапорщик Саша Соколов. Моросило.

Генделев сладко потянулся, красными бессонными глазами посмотрел вслед кортежу, отдал честь. И вернулся к очагу.

## Глава двенадцатая

*О том, что Родина всегда вернет долги  
за две сугубо-смежные ноги.*

Квартира сугубо-смежная. До потолка поэт, роста почти среднего если в обуви, начал дотягиваться раньше, чем начал ломаться его творческий голос. Папин завод "Вибратор" наградил своего ветерана этой халупой и за беспорочный труд, и за инвалидность. Инвалидность отец обрел при прорыве блокады под управлением товарища Клим Ворошилова (управлением — как прорыва, так и блокады).

Под Невской Дубравкой папе-ополченцу оторвало обе ноги. Миной. И размозжило руку. И повредило сетчатку глаза. Было это в третью атаку на немца, на которого телефонист-ополченец рядовой Самуил Менделевич Генделев полз, вооруженный катушкой провода. Без никакого оружия. В первые две атаки отец полз даже и без катушки, для массовости. На языке стратегов это называлось "прорыв". Без сознания отец пролежал двое суток измочаленными кульями в крошеном льду мартовской Невы. Ледяная вода стянула сосуды — он не истек. Спасли отца часы — на них, дедовский презент, — позарились мародеры, они же санитары. Снимая с остатков отца часы, человеколюбивые мародеры обнаружили, что - - - дышит. Отцу повезло. И мне тоже, потому что это был мой родитель. В этой цепи счастливых случаев, прухи, слепых удач, везения, ослепительных улыбок фортуны кульминацией было даже не то, что папе товарищ Клим, маршал Ворошилов, полководец и балетоман, положивший миллион черепов в снег, в топь Синявинских, по весне прорастающих ржавыми костями болот, Климент Ефремович, сука ебаная! — первый красный офицер; кульминацией было не то, что папе выдали бесплатные протезы и по ордену Великой отечественной войны на каждую ногу, каковым орденами и медальонами папа не украсил себя ни разу, даже отправляясь на ежегодный сполз ветеранов, куда из его полка слетались еще двое, а кульминацией было то, что нам дали отдельную эту квартиру в двадцать семь квадратных метров всего через полтора десятка лет очереди, причем дали — без очереди.

Сюда (ба! в левом углу над окном дефекты штукатурки) как-то в ночь на 8 марта, возвратившись с шумства в честь меж-

дународного женского дня, нежный сын принес матери цветы. Мама глубоким утром постучала в комнату сына и сказала: "Это — убрать!" Генделев-сын поправил зимнее пальто, в котором лежал поперек и поверх одеяла, и понял, где ноги. По памяти ощущая вестибулярку, он выбрел в комнату родителей: из рук вон плохо, из рук! В комнате родителей — она же "большая" — было темно. Северный свет не пробивался. Северному свету из окна заслонял дорогу фикус, не вписывающийся в кубатуру и потому изогнутый даже не вершиной, но в середине, дугой ствола на весь четырехметровый гигантский пролет "Большой" комнаты. В джунглях его кроны сидел папа и читал "Науку и жизнь". Больше места в комнате не было.

— Вынеси ботанику, — тихо сказала мама, — дай нам дышать. Генделев изумительно быстро протрезвел: откуда?!.. — Вчера в три часа ночи, — наконец грозвым голосом проскандировали мама, — ты принес это. От тебя пахло. От тебя пахло вином. Ты был нетрезв как свинья, Михалик, ты принес это и перебудил нас всех, меня и папу, а папа так устает на работе. Ты принес это, и сказал, что это мне — женщине-и-мать, в мой международный женский день восьмое марта. Мы не хотели брать, но ты настоял. А теперь унеси эту ботанику. Где ты ее взял?

— Угу, — сказал Генделев-сын. И подумал, что сам бы не прочь приобщиться к информации, где это ночью достают такие деревья в кадках по пути с Васильевского острова на Черную речку, имея руп в кармане и состояние алкогольной интоксикации.

Быстро вынести икебану — об этом не было и речи. Фикус пришлось срубить, а кадку, весом не меньше центнера, выкатили на следующую ночь на помойку. Без лишнего шума. Пришлось сделать дюжину ходок, вынося фикусовы листья. Происхождение же цветов в подарок маме на восьмое марта так и не выяснилось. Подозрительно похожие кадки по случаю бросились через пару лет в глаза поэта Генделева в здании Нарвского народного суда, но как он мог попасть в Нарвский район по пути с Васильевского на Черную речку? А кадку как раз мы с Ленькой Жабиным и выкатывали, — удовлетворенный памятью своей, нежно вспомнил гражданин Израиля, вернувшись к очагу.

## Глава тринадцатая

### *О грации движений задницы Российской Федерации.*

Мама мыла ночные тарелки, папа смотрел телевизор: "В Иерусалиме идут уличные бои, — пламенно объяснял баритон. — Коренное население Палестины дает отпор сионистским захватчикам". Эдак рассупонившись, убийцей на отдыхе, сидел оккупант в папином шлафроке и с нежностью смотрел и слушал про далекую родину. Как раз на экране его добрый знакомец Володя — московской выучки палеолингвист Владимир Петрович Назаров, ныне и присно Волк Сын Скалы, то есть Зеев Бар-Селла, булгаковед из Иерусалима, несмотря что уже не мальчик, — уворачивался от бульжников усатых женщин и детей палестинской революции. Палеолингвисту было жарко, автомат на Вове сидел плохо, за спиной. "Бои идут в центре Тель-Авива", — заходился диктор. Владимир Петрович с натугой поднял подкатившийся кирпич и, озлившись на хулиганье, неловко отметил в комсомольцев. Не попал! Вот всегда так... — Звери вы там, сынок, — сказал папа. — Дал бы ребенку поспать, — сказала мама. — Эксель-моксель, — кажется сказал Зеев Бар-Селла. — Есть жертвы среди коренного населения, — сказал диктор. Генделев-сын промолчал, потому что в камере снова возник Сын Скалы с новым фингалом на скуле Владимира Петровича — двуединый, оне энергически грозили кому-то за экран, в угол, где торшер, и произносили, судя по артикуляции (звук сняли), нечто азартное по-русски.

Потом была передача о чекистах когорты Дзержинского — фаланги Менжинского, несправедливо репрессированных Сталиным. Просто Сталиным, без титлов. Подбежал Сталин и репрессировал гоплитов. Хотя невинно-убиенных чекистов было до обидного мало, Генделевы посмотрели и эту интересную передачу с непреходящим вниманием. Папа, старый человек — взгрустнул.

На сладкое неувядаемая плясунья Кировского театра вспоминала — как живого — Мироныча... И — сюрприз! — ударная стройка ЦМД (Центрального Молельного Дома) адвентистов Седьмого Дня, то бишь Свидетелей по делу Иеговы, как в период (1917—1988 годов) нарушения ленинских норм называли их в лагерях. Хроника текущих событий. — Что делается, — спокойно сказал папа. — Цирк, -- объявила мама. — Цирк! — объявил диктор.

Цирк!!! "Хы-ш-ч-ни-ки!" — под увертюру прокричал шпрых-

шталмейстер, и Марш Дунаевского непринужденно перешел в “некому березу поломати”. Лебядью выплыла Российская Федерация — аллегорией девы в кокошнике с андреевскими лентами и с хорошим лицом. Вывели Солженицына. Он был сыт, вял, убелен, и — рыкал. Обнюхал арену, пожмурился прожекторам, одобрил. Аллегория России пальцами нащупала в лаврах Исаича пасть. Как ни вертел головой, как ни хмурился — пасть разъяли. Амфитеатр — “Ах!!!” Дробь. Луч — в пасть, в большую. Все переживают. И тогда, очень удачно, девушка засунула в полость рта пасти зверя свою голову... Да! Кокошник не лез, Солж бил хвостом, давился, нет — не помогло! влез, как миленький! Торча из Александр Исаича, аллегория топырила отличный валдайский зад, ай-да-поводила рукавами сарафана — но в общем было уже ясно, что все “леги артис”, все удалось, что это для красоты, и дробь оборвалась — ап! Ка-а-амплимент!!! Извлеченная из зверя красавица только что раздурманилась, да ленты кокошника обслюнявились, а так все — как новенькие! Ап! И — еще комплимент! Что тут стало! Овации! Купол чуть не рухнул — какие овации. На Максимова Владимир Емельяновича и смотреть не стали, даже жалко его было по-человечески — забытого на тумбе, как ни ревел, сколь ни скребся, ни скапился, а все хотелось воскликнуть, как незабвенный Станиславский К. С.: “Не верю!” Да что там. Ничто из дальнейшего не шло ни в какое сравнение с этим гвоздем, с этой изюминкой манежа! Ни взаимоджигитовка — труппы “Нагорный Карабах”, ни музыкальные: “возьмемся за руки, друзья” — лилипуты в нацкостюмах (а самый рослый и с чуприной), ни воздушные гимнасты в скафандрах якобы закрытого типа, работающие без сетки, сетку не завезли. Ни готовящиеся к гастролям хасиды в танце хлопками ловящие моль, ни фигурное катание на катках по обоим полушариям, один-трезвец-с-медведем-на-один — все ни в какое сравнение! Пожалуй что, только этот, очень смешной, спасал положение, но ведь Его всегда любят, особенно детвора. Да факир, ариец, замедитировал весь цирк вконец, сам отлично впал в нирвану, показал Шамбалу, Бодисатву-Ульянова и прародину нордических народов под Воркутой, но и ему не удалась оккультно-аграрная программа, — что, в общем, понятно. Как ни верти — не Назарей. Да еще водная — под музыку бардов — феерия, перспектива еще тысячелетия крещения Руси, потрясла организм до глубины души Генделева и долго не отпускала, трясла...



— Тебя к телефону, — значительно округляя глаза, сказала мама и — шепотом: — Из ОВиРа.

— Не могли бы вы, Михал Самолыч (слабо господином назвать, слабо!) зайти к нам через часок-два...

— Это по поводу визы в Москву? — обрадовался поэт, наме-  
ревавшийся навестить столицу вашей — нашей? — вашей Родины  
под официальным предлогом истоскования по бывшей-жене-  
брата-бывшей жены и для этого зане испросивший в ОВиРе. Ви-  
зу в Москву.

— Допустим, — ответил Голос.

— А с кем имею честь? — спросил Генделев.

— Спросите Леонид Севастьяныча. Гудки. Бай-бай, — маши-  
нально сказал телефону Генделев.

#### Глава четырнадцатая

*В какой накал страстей невыносим,  
а Генделев М. С. имеет честь, засим.*

Ох, не в одиночку решил идти Генделев в ОВиР. Не понравил-  
ся ему тембр Леонида Севастьяныча. И имя-отчество не понрави-  
лось. Заржавевшая интуиция вызовов к леонидам севастьяны-  
чам сработала. Зуммер... Красная лампочка... Сирена... "Если вас  
вызывают в официальные инстанции, идите не один, — инструкти-  
ровали будущего гостя СССР, — и действуйте согласно ситуации,  
беседер?" Беседер-то беседер\*, потел, смотря на работающий кон-  
диционер, адон Михаэль.

— А если не беседер?

— Ну, — пожал плечами инструктор, — Элоим гадоль\*.

— Ох гадоль, — думалось тогда Генделеву. — Воистину гадоль!..

— Пошли со мной, — позвонил он Жо Гималайскому из друзей  
веселых лет.

— Куда?

— В ОВиР...

— Во-первых, еще рано об этом думать, посмотрим, что будет  
на ближайшей партконференции, — сказал рассудительный Жо. —  
Во-вторых, сам я, если ты, светик, не запамятовал, полуармянин,  
полурусский, и из "ваших" у меня в семье только хомяк Изя,  
полное имя Изяслав. В-третьих, я ослаб после вчерашнего, а у

тебя сегодня творческий вечер, и голова у всех одна. В-четвертых, дождик. Но пошли.

Секретарша ОВиРа странно посмотрела на твердо шагнувшего сурового израильянина, спросившего Леопарда Савельича, — и криво крутнула шейю на дверь. Жо залег при двери, контролируя простреливаемые выходы. Генделев вошел. Проник без стука. Трое в комнате. Опрометчивое рукопожатие. Молодые: ошую ровесник (в центре — Портрет), одесную — помоложе. Интеллигентные, красивые, простой русской городской красотой. Одетые недорого, но модненько. Ну, так и есть — книжечки. Майор, капитан. — Позвольте полюбопытствовать? — Бога ради... Но — из рук! — А я — близорук. — Тогда в руки. Майор — Маков Леопольд Севастьянович. Садитесь. — Постою, то есть сажусь. Тошненькое молчание.

И тогда Генделев взорвался (конечно, и бровью не поведя). А! — подумал он. — Еще и унижают! Майоришка, капитанишка! Мне, писателю с мировым, ну, хорошо, с европейским именем. Мне, доктору Генделеву из самого Иерусалима, каких-то шкетов, штаб-офицеров, добро б генерал-аншефа там, генерал-майора, но фи! — Капитан Севастьянович?

— Органы хотели бы встретиться с вами, Михал Самолыч, для того, чтобы узнать, как там наши люди в Израиле живут...

— Спокойно, — спокойно от страха сказал себе Генделев и от страха же охамел: — Не знаю, как там ваши люди, но наши — отлично. А беседовать с вами я не могу-с, да!

— Не хотите?

— Нет, что вы, не могу-с.

— То есть, как? — профессионально удивились капитан с майором.

— А так — и хотел бы, да не могу. Вы знаете (сотрудники КГБ кивнули), — что я не (сотрудники КГБ опять кивнули и одобрительно улыбнулись: знаем-знаем...) — не подданный СССР (кивок), но подданный (Элоим Гадоль! — откуда это слово, подданный?! Израила...) Израила... И как подданный (сотрудники кивнули) Израила, я еще и военнообязанный (кивок), и как военнообязанный, то есть военный, как солдат, вы меня понимаете, господа офицеры? — как офицер, я не имею права беседовать с представителями контрразведки, ведь так (сотрудники тайной политической полиции кивнули, фбалдев окончательно)? — без согласия моего непосредственного командования. Которого согласия (Элогим Га-

доль, что я несу?) — за удаленностью получить не могу. Засим, имею честь.

Сотрудники кивнули. Генделев тоже. Пыл его погас, героизм подскис, фонтаны адреналина толщиной и напором с Большую Струю Большого каскада, хлестали из его надпочечников. “Самсон” адреналина. Петергоф органов внутренней секреции. Наконец сотрудники чужеродных органов переглянулись. Майор встал. Майор извинился, что для того, чтоб иметь возможность встретиться с Михаилом Самю... Само... Саму...-иловичем, они были вынуждены прибегнуть к услугам дружественной организации — Ленинградского ОВиРа. Генделев извинения принял. Стоя смирно. От рукопожатий обоюдно уклонились. В дверях Генделев оглянулся. На лицах господ офицеров читалось веселое недоумение. Казалось, сейчас дверь закроется и они прыснут, как школьники. Дверь закрылась.

— Чем же я их так обрадовал? — мучался, приходя в себя от пережитого, распахивавшийся фрондер за столиком “Европейской”, где отпраздновали события.

— А ты их избавил от работы, — лениво отозвался Жо Гималайский, рассудительно закусывая эскалопом. — Они ж чиновники, бумажные их души. Им всех делов теперь галочку поставить: беседа проведена. А потом ты сыграл на их русской офицерской чести, — иронически посмотрев на военврача Армии Обороны Израиля, добавил Жо. — Кто же их за офицеров, кроме тебя, держит...

Один хитрый глаз Жо Гималайского был прищурен, второй, каким он смотрел на поэта сквозь фужер, был огромен, печален и вдруг подмигнул.

— Впрочем, может ты и прав, маленький — они теперь и есть наш русский офицерский корпус. Вандейцы Горбачева... И не горюй, маленький, давай еще по одной, у нас сегодня еще твой творческий вечер.

#### Глава пятнадцатая

*В которой Генделев себе же скажет: “Чу!”  
прикладываясь к милому плечу.*

На вечер съезжались. Собственно, это был вечер двух залеточек,

пары иностранных штучек, двоих изменников родины в двух отделениях. Первое — Бахыт Кенжеев (государство Канада). Конечно, с москвичем Бахытом (красивой степной девочкой лет под сорок) у ленинградца Генделева (государство Израиль) другого времени лично свидеться не нашлось, кроме как между первым его и вторым своим отделением вечера их эмигрантской поэзии, на который — съезжались. На вечер. Эмигрантской, вот беда какая — поэзии. В Большом зале. Ну, положим — в большом зале ДК пищевой промышленности. ...Но — в большом зале! Но — ДК имени Крупской. Надежды Константиновны. В "пищевичке". В "хлеболепешке". Что на улице "Правды". — Вечер? — Да! — Поэзии? (!) ...Что "какой?" — русским же языком: Э-ми-грант-ской. Конечно, официальный... То-се, билеты. Повторяю: э-ми-гра... — Что "Иди ты"?!

— А вы знаете, сограждане, что в тот же самый вечер — вечер! Да, такое совпадение. В бывшем ВТО. Вечер памяти, тьфу! — вечер Бродского? То есть, вечер по Бродскому, то есть вечер имени Бродского! Который Джозеф. Который (а что я такого сказал?) — лауреат. Да-да-да! Да разрешили? Да! Разрешили — да! И дежурные по Бродскому ведут тот вечер: Костя (Константин Маркович) Азадовский и Саша (Александр Семенович) Кушнер. Этот — который сидел, пресловутый, и — который зато поэт. Один сидел как Осип, второй поэт как Иосиф.

А тут! Вечер живых эмигрантов — Бахыта Кинжеева и Мишки, подумайте только — Генделева. — Что как? — Так! Гласность — не хухры-мухры. (Это "не хухры" и объяснили администраторше ДК имени Надежды К. Крупской, вдовы тоже небезызвестного эмигранта Ник. Ленина, объяснили — поклонники и рачители наших с Бахытом муз-изгнанниц. Заодно, говорят, прожектер и организатор этого вечерочка Витя Кривулин под горячую руку довел до сведения администрации тот, малоизвестный по нынешним временам, но исторический, в сущности, факт, что муж товарища Крупской товарищ Крупский (администраторша зарделась и глупо хихикнула), так вот, товарищ Крупский даже и помер в эмиграции, пережив второго мужа своей идиотки, и помер персональной смертью и нераскаявшимся меньшевиком. Факт доконал, и хоть администрация сама была не была, но зал дала.)

Съезжались все старые молодые поэты петербургской школы. Заранее пришел Петя Чейгин, лирик с ясными с точки зрения судебной психопатологии очами, чьи избранные — о, когда бы! — им

самим стихи двадцатилетней свежести наконец пристроились в задрипанный альманашек, каковой и подарил с дарственной. Можно подумать, что этих стихов не знали мы наизусть в те еще времена, когда случилась Генделева с Чейгиным дуэль под окнами Юлии Вознесенской, но не из-за ее телосложения, а из-за Петькиного. Рубились на эспадронах. И были они, стихоплеты, юны, пьяны и в кружевах по снежку на закатном морозце. Рубились во дворе, в проходном. Разгорячился псих-Чейгин от смехотворного оружия потерпев, взбежал на пятый этаж, где пировала честна компания, и выкинул на сатисфактора кактус. Соседский, в горшке. Чудом жив Генделев, а вы говорите. Шрам — вот он, а сейчас — поцеловались и ушел старый Петя с мелкоуголовными глазами, на вечер не остался, чужих стихов последовательно не терпел.

Пришел Шир. Легенда Ширали. Не пришел, легенду припер. А станывал Сайгон — пятнадцатилетки цитировали Шири. И все перевидавшие профессионалки цитировали, зардевшись. Известен курьез с одной юницей, с которой поэт провел даже вторую (правда, с полугодовой разбивкой) ночь любви. Потому что забыл. И по рассеянности опять уболтал и прельстил стихами, посвященными только ей, Единственной. Три самоубийства Виктора Гейдаровича Ширали-заде, три суицида — кто ж такое вынесет, у кого здоровья станет на три, с применением техсредств электрички и высокого этажа?! И нехорошо вышедшая в нехорошие годы книжка. Он почти и не вынес — без зубов, без желудка, без вожделенного членства в ССП, уже без вдохновений, кроме как выпить. Жены разбежались, чаровниц как сдуло. "Нихуя себе зима! Во морозы забодали"... — читал он во Дворце пионеров на Лито, приглашенный к цыплятам клушей Ниной Королевой... Поцеловались. С перегаром Саркосельским, с перманентного похмелья пребывал Витя — дали глотнуть. Первое отделение Гейдарыч спал, второе вяло бузил.

Пришел Генделев, Миша. О Генделева. Начинался Миша лет двадцать тому по шестиструнной системе. "Корчит тело России, — открывалась популярнейшая из его альб, — от ударов тяжелых подков. Непутевы мессии (аккорд) офицерских полков"... С многошепотным расейскому каждому сердцу припевом (муз. Л. Герштейн и Л. Нирмана): "Чей ты сын?.." А что? Не хуже, чем у людей. Так как "эполеты" отлично рифмовались с "сига-

реты”, клевреты представили корнета самому — Константину Константиновичу Кузьминскому (никогда не знал твердо, сколько и где мягких знаков. Ставим для надеги два), он же Кока, он же ККК, он же пятый пиита Санкт-Петербурга. Он же охотный консультант а) адрес, в) быт, с) цитаты ин ленинградз андерграунд поэтри. Мужская дружба полыхнула как пожар степной не разлей вода. Под рукой мэтра и пандан набухающему национальному самосознанию ИТР обеих национальностей Миша приступил к Боговдохновенному изготовлению брюсовской щегольской отделки иеримиад на впрямь-таки еврейские животрепещущие темы, путаясь, впрочем, в рукавах Заветов, что под общепитерский завыв и при свечах было не шибко заметно, а в струю. Но — главное! — Миша решительно глянулся прелестной Леночке — “Малютке” ККК, которая малютка и сбежала, с большим личным облегчением, от Константина Константиновича к, все-таки в каких-то рамках поддающему и не в пример благоуханному, Генделеву. Имело место очень много мелких движений; глупый и плаксивый ККК отбыл по иудейской (не ставим в счет кокетливую, но довольно отчетливую по пьяни юдофобию пятого пииты, ах, кто же считает!..) визе в Новый Свет, где, то ли сдох (ни слуху), то ли сгнил (духу). Оставил Многотомные Записки Рогоносца. Миша же Генделев, напротив, — счастливо сочетался с Леночкой, никуда, естественно, не уехал, подумывал было поначалу, как все, да не собрался как-то, родилась, как водится, дочь. И — душа в душу. Да и куда, посудите, уезжать русскому поэту, пусть этнически и даже еврею, от страны своего и Достоевского, и Гоголя языка, от агрокультур отчих вотчин, от наследственных колоннад и тому подобной недвижимости, посудите, господа? Вот и служит Генделев необременительно врачом при клубе водного спорта, народовольствует по маленькой, выпимши грезит, какова была бы доля, отвали он в Землю Обетованную, о которой он изрядно накатал в точную рифму, а что? Многим нравится. А в связи с общими позитивными, кто же спорит, изменениями культурной и гражданской жизни страны — вытанцовывается вот-вот и дюжинка самоих, как принято говорить, “текстиков” в отечественной периодике. Диетических по части маранства. Но и не без подтекстика: нумерующийся Рим там, опять же Ниневия... Подлысел, что говорить, инфарктик в юбилейных тридцать три, “побегаем по стеночкам по собственным застеночкам”, депрессийка в юбилейных тридцать семь. Все путем. Все, как у людей.

А ведь — пришел! Превозмог — пришел на гастролера! “Вот уж не ожидал”. “Обоюдно”. Поцеловались. Особливо с Леночкой. Говорят, имел место и диалог, пропущенный машинисткой при перепечатке.

Если честно, Генделевым вечер не понравился. Не пришелся как-то... “Претенциозно”, — поделился Миша с женой. “Пожалуй, гуленька, — сказала неувядающая Леночка, — крикливо. “Соть находки”, — объективно подытожил муж. “Есть удачные строки, — закончила жена поэта, — но крикливо, гуленька”.

Пришла Елена Игнатова, как встарь — ложноклассическая-в-шалль, даже когда и без. И чего там, если не выносила Елена Игнатова стихов Мишеньки. Чего там, через одиннадцать-то лет. Чего там.

Пришел Аркаша Драгомощенко, верлибрист, брахицефал, лукавец. Загар на Аркаше калифорнийский, “сафари” на нем, хоть апрель и прохладно, — только что из Североамериканских СШ, по приглашению университета лекции о себе читал. Солидно посетовали на малотиражность западных изданий. До начала с вечера смылся; как сказал ехидный Кривулин: обиделся Аюкадий, что не самый он тут загорелый.

Пришел Сережа Стратоновский, самый страшенький, самый тихий и самый образованный из ленинградских. Пришел послушать израильянина. Пришел, послушал.

Маэстро Кривулин сызмальства хром и кособок — полиэмулит. Про него апокриф: устраивался на службу. Преподавателем эстетики. В медучилище. Ну, завучиха посмотрела, простая душа, и — сморозила: помните, как Чехов говорил, мол, в человеке все должно быть прекрасно. И лицо и одежда... и — осеклась. А! — продолжил Кривулин — и ноги, и руки...

Но время, поэты! О, поэты! Время метать камни — и время уворачиваться от них. Время жить — время выступить.

Съезжались. Метры, километры петербургской Школы. На вечер своей иммигрантской поэзии. Пришли господа поэты. Или не пришли.

Леночка Шварц, например, не пришла, потому что траур: Нобелевскую премию дали не ей, а неей.

Анри Волохонский не пришел, потому что в Баварии. Живет в Баварии.

И Бурихин там.

Уфлянд пришел — вот и познакомились.

Аронзон не пришел, потому что в могиле. Лифшиц работает профессором Лосевым в США.

Охапкин в дурдоме на Пряжке. Рейн — в Москве, и Миша Еремин в Москве. Куприянов — при Русской Церковной Миссии, — такое впечатление что она одна, а он при ней староста церковный.

Бродский пошел на свой вечер. А мы пошли на вечер памяти своей.

#### Глава шестнадцатая

*Где как мы в сущности далеки от народу,  
а слезы сохнут в теплую погоду.*

И пришли прозаики. И драматурги даже. И неизвестные никому, и графоманы. Из квартир, котельных, с университетских кафедр, из вечерних школ для дебилов, из ничего, с того света из смерти и памяти, пришли. И привели с собой своих девочек, наших девочек. Тех, что в слякоть без никакого белья, подтянув единственный капрончик, и — стакан водки, и соперницу-красавицу-суку мордой об стол — пришли девочки.

Не могу продолжать, работай\*! Рыдаю. Хоть святых выноси. Бывало, куплю “Голду” по пять с полтиной, ситного там какого, в ночном супермаркете на Бейт-Агрон, чайной колбаски там, сырок плавленый, сяду у фортки в хамсин — и рыдаю. А слезы сохнут в теплую погоду. Нет сил писать о том, как время летит, чистая молодость проходит, жены уходят — нет сил, и слезы и те сохнут. Потому и эпик, что нет сил, нет слов, нет букв их описать, наших девочек... Неужели я тоже так выгляжу? — подумал Генделев. Но выглядел он не так.

На сцене ДК Крупской израильтянин Генделев выглядел очень “экзотик”: хорошо выглядел. В ширинной с ладонь алых подтяжках имени Боевого Красного Знамени выглядел он. И довольно нахально заявил он, априори, что не русский поэт из Израила сей Миша Генделев, а израильский поэт из России Генделев Миша он. Смех в зале.

Но обошлось, отвлекся, заволновался поэт, пошел в винт и начал читать все-таки по-русски еще — этим, пришедшим на вечер какой-то Эмигрантской, а не его поэзии.

Я к вам вернусь — читал, читал он стихи ровесные полнолу-



ной ночи Неве-Якова 1982 предвоенного года, пятого года нашего Израиля — читал Генделев:

Я к вам вернусь  
еще бы только свет  
стоял всю ночь  
и на реке кричала  
в одеждах праздничных  
— ну а меня все нет —  
какая-нибудь память одичало  
и чтоб  
к водам пустынного причала  
сошли друзья моих веселых лет...

— Кто? Чур, не мы! Кто знает о чем и что думал в этот миг Генделев, о чем вспоминал? Может ли быть, что был он счастлив в первый раз в своей последней жизни? Может быть. А не исключено, что он думал, что совершить что путное в России и, попросту, заставить себя в России слушать, можно, лишь воротясь из иммиграции, как тот, второй муж товарища Крупской, и не пора ли приняться за апрельские, кстати, тезисы, пока не поздно и такой завод? Не исключено. И что нет пророка ни в каком своем отечестве? Или он вспоминал все-таки о той душевной ночи горного предместья горного Иерусалима, когда сочинялись, то есть придумывались эти стихи? А может, — и скорее всего, — он ни о чем не думал и ничего не вспоминал, а читал и наконец дочитал до конца:

Я к вам вернусь  
от тишины оторван  
своей  
от тишины и забытья  
и белой памяти для поцелуя я  
подставлю горло:  
шепчете мне вздор вы!  
и лица обернут ко мне друзья  
чудовища  
из завизжавшей прорвы.

*Конец третьей книги*

**Примечания:** Стр. 2: *аба* (ивр.) — отец.

Стр. 6: *кус има шелахем* (ивр.-арабс.) — грязное ругательство.

Стр. 7: *ве аф ахад* (ивр., испорч.) — здесь: никто, ни один.  
*ве зйн асимоним* (ивр. испорч.) — нет телефонного жетона.  
*оф корс* (англ., испорч.) — конечно.

Стр. 9: *шмонаэсре* (ивр.) — восемнадцать.

Стр. 16: *Камянов, Борис* (Барух Авни) — израильский литератор, край-не религиозный.

Стр. 17: *миспар твудат зеут ахад-шева-шалаш-ахад-штайм-тейша-шалаш* (ивр.) — номер удостоверения личности 1731293.

*шеш* (ивр.) — шесть.

*шалаш* (ивр.) — три.

*кацин рефуа миспар иши* (ивр.) — офицер медицинской службы (ЦАХАЛа) личный номер.

Стр. 20: *Бейгале* (ивр., идиш) — бублик.

Стр. 25: *Закон о возвращении* — основной закон Государства Израиль, по которому любой человек, рожденный еврейской матерью, имеет право на израильское гражданство.

Стр. 30: *Беседер* (ивр.) — о'кей!

*Элохим гадоль* (ивр.) — Господь велик!

Стр. 35: *работай* (ивр.) — господи.

#### Авторы раздела:

*Ф. Горенштейн* — прозаик, сценарист и драматург, автор романов "Псалом", "Место", пьес "Бердичев" и "Споры о Достоевском", ряда повестей и рассказов; живет в Западном Берлине.

*Б. Кенжеев* — поэт и прозаик; живет в Канаде.

*М. Генделев* — поэт, автор трех поэтических сборников; живет в Иерусалиме.

#### КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

##### НЕЛЛИ ГУТИНА. "ЖУРНАЛ"

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячами лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 долл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

*Выборы в демократической стране, что бы о них не говорили, — всегда некий рубеж между прежним и новым. С какими мыслями идут на нынешние "Выборы-88" израильтяне "российского происхождения" — ветераны и новички? Этому посвящена подборка высказываний некоторых авторов нашего журнала, а также статья А. Этермана (отражающая, в частности, не представленную в следующей за нею подборке точку зрения верующего израильтянина).*

Александр Этерман

### ИСТИНА С БЛИЗКОГО РАССТОЯНИЯ

(очерк третий, окончание;  
начало см. № 60)

Мы обещали перейти к актуалиям нашей израильской политики. Как учил Козьма Прутков:

Что рота на взводы разделяется.  
В этом никто не сомневается.

Мир — это, прежде всего, предотвращение войны. На это у нас есть проверенный рецепт — быть сильными, разумно себя вести и помнить, что в нашем положении политика — это продолжение войны другими средствами, а потому нам долго еще именовать себя военными кораблями. Однако, сорок лет такого маневрирования несколько нас измотали, и мы, пожалуй, созрели для новой постановки вопроса — как бы сделать из врагов друзей и научиться с ними сосуществовать. Следует заметить, что это, прежде всего, тавтология. Сделать из врага друга невозможно, если речь идет — в нашей терминологии — о враге азиатском. Европейский, интересный враг — другое дело. Англия и Франция обычно воевали друг с другом как корректные европейские противники — с двумя интересными исключениями. Во время Столетней войны Англия попыталась слопать Францию целиком — и дело кончилось появлением Жанны д'Арк. Позднее Наполеон воевал с Англией насмерть, так что дошло до континентальной блокады. В ито-

ге побежденному императору пришлось прожить свои дни на удаленном острове в южной части Атлантического океана — и это при том, что Европа кишмя кишела отставными полководцами. Дело в том, что они не кусались в свободное от работы время, тогда как тот, кто воюет из ненависти, всегда социально опасен. Похожая судьба выпала и великому врагу Римской республики Ганнибалу, которого римляне добились уже глубоким стариком. Вот несколько отрывков из плутарховской биографии Тита Квинция Фламинина:

“Ганнибал, тайно бежав из родного Карфагена,.. нашел, наконец, пристанище в Вифинии, при дворе царя Персии, и в Риме все об этом знали, но никто не обращал внимания на бывшего врага — бессильного, старого и оставленного счастьем. Однако, Тит, посланный к Персии по каким-то делам, увидел Ганнибала и разгневался, что этот человек еще жив. И хотя Персия неоднократно и горячо просила за изгнанника, нашедшего у него убежище, Тит не уступил...”

Таковы сведения о смерти Ганнибала... Многим из сенаторов поступок Тита показался отвратительным, бессмысленным и жестоким... Но были и такие, которые одобряли его действия, а Ганнибала, пока он жив, считали огнем, который стоит только раздуть... Последующие события еще больше подтвердили правоту Тита, ибо, с одной стороны, Аристоник,.. злоупотребив славным именем Эвмена, ввергнул всю Азию в огонь войны,.. а с другой, Митридат, хотя и был разбит Суллой и Фимбрией,.. вновь выступил грозным противником Ликелла на суше и на море... Итак, если заглянуть в будущее, ничто в настоящем не может считаться ни великим, ни малым, а превратностям судьбы конец приходит лишь одновременно со смертью. Вот почему некоторые утверждают, что Тит предпринял этот шаг не по собственной воле, но что посольство, в котором он участвовал,.. не имело иной цели, кроме убийства Ганнибала...”

Все это — из истории превращения врагов в друзей. Те из числа наших современников, кто надеется заключить мир с кем-то в арабском лагере, полагают арабов достаточно основательными партнерами. Раз так, то, выдвигая свои предложения, они должны разумительно осветить два вопроса. Во-первых, каковы подлинные требования арабов, то есть какие уступки с разумной вероятностью насытят их, короче, убедят заняться своими делами. Во-вторых, достанет ли им в таком случае занятий?

Такого рода оптимисты делятся у нас на две группы, разумеется, весьма условно. Основу первой составляет Рабочая партия, возглавляемая, тоже условно, Ш. Пересом. Его "формулы" явно свидетельствуют об идейной деградации социал-демократического движения и выглядят примерно так: 1: Арабов удовлетворит отделение от Израиля неудобных для последнего густонаселенных кусков Иудеи, Самарии и Газы. 2. Сии куски должны быть присоединены к Иордании, которая сумеет найти им достойное применение или укротить. В любом случае, нас они больше касаться не будут — на иорданцев можно положиться.

Эта схема, на наш взгляд, — предел безвкусицы, и особых лавров своему создателю она не принесла. Но, разумеется, порок должен быть разоблачен как можно более основательно.

Прежде всего, Ш. Перес апеллирует не к арабской, а к израильской и американской публике. Его аргументы никак не предназначены для арабского потребления и справедливо воспринимаются арабами как оскорбительные, а то и вовсе расистские. Смысл их приблизительно таков: "эти" территории нам все равно не удержать, поэтому давайте их отдадим, а взамен получим как можно больше, в идеале — мир. Разумеется, отдать надо то, в чем мы сами меньше всего нуждаемся. Разумеется так, чтобы наша обороноспособность не пострадала. Ну, и чтобы экономически не проиграть. Разве так заключают мир? Ш. Перес "не замечает" своего противника, не уважает его и начисто лишает права распоряжаться своей судьбой. Кроме того, он пытается раздуть безусловно неистребимые расистские настроения. "Что бы ни вышло из моего плана, — говорит Перес, — в стране будет меньше арабов". Деловое начало в его программе отсутствует начисто. Что гораздо хуже, моральное тоже.

Политический изъян этой схемы содержится в главной из ее посылок — если отделаться от этих людей и этих территорий, хуже не будет. Но, увы и ах, — еще как может быть хуже! Столько всего написано о том, что произошло бы с Израилем, если бы Египет начал ограниченную войну 1973 года с тех позиций, которые ныне занимает! А ведь сейчас не 1973 год! Но самое главное — где учет интересов другой стороны? Перес велеречиво доказывает, что частичное отступление соответствует интересам Израиля. Главный его козырь — демографическая проблема. Но кто дал ему право распоряжаться арабскими душами? Как можно свалить ответственность за судьбы тех людей, с которыми за-

ключаешь мир, на третью, вовсе неприемлемую для них сторону? Тот, кто хочет превратить врагов в друзей и таким образом добиться мира, должен иногда ставить себя на место своего противника. Разве Перес, будь он палестинским арабом, согласился бы принять то, что предлагает Рабочая партия? Может, и согласился бы, но только с тем, чтобы завтра же начать новую войну — это лучший способ смыть оскорбление. Но зачем нам это нужно?

Впрочем, один из деятелей Рабочей партии как-то раз ответил на этот вопрос. "Дело в том, — сказал он, — что Рабочая партия относится к вопросу о целостности Эрец-Исраэль гораздо серьезнее, чем Ликуд. Факт налицо — воинственный Ликуд уже возвратил Синай, а миролюбивый Маарах — ни черта. Мы хотим все контролируемые территории заселить, освоить и прибрать к рукам. Но все это — при соответствующем звуковом оформлении. Нужно говорить о мире, уступках, компромиссах — но условия выдвигать неприемлемые..." Мы возразили, что не все так просто, что есть еще моральный и воспитательный аспект проблемы, что можно запутаться в собственной лжи, но сами подумали — ну, если в этом дело...

У нас, впрочем, довольно левых мыслителей, которые все это понимают. В соответствии с нашим рецептом, они перевоплощаются "в ту сторону", становятся экспертами по ее позиции — да так там и остаются. Следует заметить, что тому, кто как следует разобрался в арабской психологии, действительно непросто вернуться обратно, видимо, что-то в ней есть. Позиция этих людей, не столько солидаризирующихся с арабами, сколько понявших, что их нельзя смягчить, нас особенно интересует, ибо они сделали из этого нетривиального факта свои еврейские выводы. У каждого, разумеется, свое резюме, но среднее арифметическое мирных схем, учитывающих арабскую позицию, их план "окончательного решения" — это нечто вроде светского демократического двунационального государства на всей территории правобережной Эрец-Исраэль, населенное в умеренном варианте всеми проживающими здесь евреями и арабами, в более крайнем — всеми арабами плюс евреи, прибывшие сюда до 1917 года, то есть до опубликования Бальфурской декларации. Любопытным промежуточным вариантом является план создания чисто арабского государства на территории Западного берега, однако по существу он мало отличается от печально односторонних предложений Рабочей партии. Попросту невозможно представить себе

арабское государство от Калькилии до Иордана, занятое всецело своими делами, и ни один патриотически мыслящий араб, заботящийся о своих групповых интересах, не станет тешить себя таким вздором.

После сказанного выше становится понятным, почему в университетских кампусах партия Рац считается если не правой, то в лучшем случае центристской. Дело в том, что ее позиция, как и позиция всей сионистской "левой", отличается от позиции Переса только тем, что Перес не готов передать территории, от которых отказывается, ее жителям, на что Рац, может быть, и пошла бы. Согласитесь, небольшое отличие! Кто-то из левых интеллектуалов заметил недавно, что если Рабочая партия апеллирует к израильтянам, уставшим воевать, то Рац обращается к тем, кому надоело вообще служить в армии. Однако их общим адресатом остается еврейский обыватель. Недаром Рац не включила в свой список кандидатов в Кнессет двенадцатого созыва ни одного араба, а роль арабов в гигантском аппарате Рабочей партии чисто символическая. Поэтому-то, когда "бешеный" Иоси Сарид заикнулся в Кнессете о своей готовности возратить арабам Восточный Иерусалим, "босс" Шуламит Алони немедленно его поправила — партия против!

Что же получается? "Понимающие" арабскую позицию сторонники мира предлагают организовать арабское двунациональное государство от моря до Иордана. Наши сионистские "левые" оказались между двух огней — предложить арабам раздел страны означает смертельно их оскорбить, а если согласиться ликвидировать Израиль — то как же "если вы захотите — сказка станет былью"? Неужели никто не придумал чего-нибудь похитрее?

Разумеется, еврейский мозг не остался в долгу у столь привлекательной проблемы. Но бросить ей вызов смогла только весьма специфическая группа людей — умеренно религиозные репатрианты из Северной Америки, объединенные в организациях "Нетивот шалом" и "Оз вешалом". Секрет их уникальности в том, что реформистское мировоззрение "подобрало" им теорию, без которой задыхаются простые левые нерелигиозные сионисты. (Вот она, сила передовой теории, которая тем еще и хороша, что позволяет избавиться от старого теоретического хлама, в данном случае — от традиционного сионизма!)

"Общепринятая религиозная концепция государства Израиль, — говорят члены этих организаций, — в корне порочна. Считается,

что создание Израиля — это звено в цепи мессианского строительства, исполнение древних пророчеств, что восстановленный Израиль неистребим и прочее. Все это — грубая ошибка, разумеется, не только теоретическая, ибо Израиль таким, мессианистическим образом управляется и на практике. Как светские, так и религиозные лидеры страны полагают, что какое бы военно-политическое действие они ни предприняли, успех им обеспечен. Это опаснейшее заблуждение, верный путь к катастрофе. Израиль — обычное государство, и управляться оно должно так, как если бы оно было Швейцарией”.

Итак, прежде всего, — долой мессианизм. Все, что сказано в Талмуде о природе и будущем еврейского государства, для религиозных реформистских левых — досужие вымыслы. “Талмуд — это творение мыслящих людей определенной эпохи, эзотерического значения он не имеет, и его авторитет непререкаем только, пока мы не выходим из области чистой Галахи. Неортодоксальный, более того, крамольный подход к иудаизму? Ничего, существуют разные точки зрения, глядишь, и для этой найдется место. Главное, что наши выводы соответствуют современному западному взгляду на вещи. И, разумеется, политические и социальные вопросы вообще не имеют отношения к Галахе и не входят в компетенцию раввинов. В Северной Америке это не принято”.

Как ни странно, из всего этого следует вполне конструктивная программа. (Как и раньше, мы цитируем одного из ихних теоретиков, с коим провели два месяца в армии.) “Прежде всего, — говорит он, — мы тоже сионисты. Поэтому мы хотим, чтобы у нас было еврейское государство где-нибудь в Эрец-Исраэль. Как это где-нибудь? А все равно где. Оно может быть очень маленьким, может состоять из одного Тель-Авива с окрестностями, может — из одного Ашкелона. Иерусалим? В чем проблема, отдадим, лишь бы был мир. Нужно создать на Ближнем Востоке новый порядок, основой которого будет мир. Какой мир? Да самый настоящий, стопроцентный, даже не взаимовыгодный, а общепринятый, самоочевидный. Как в Европе? Нет, что вы, как в Северной Америке — между США, Мексикой и Канадой!”

Если, как мы уже отмечали, Рабочая партия обращается к тем израильтянам, которые устали от войны, а “левые сионисты” — к тем, кому надоело ходить в “милуим”, то “религиозные левые” — это те, кому непонятно, как это вообще можно служить в армии иначе, чем добровольно.



Отдадим им должное. Если сионистских миротворцев и можно упрекнуть а) в лицемерии и б) в мифотворчестве и недостатке прагматизма, то этих состоятельных полутуристов, большей частью работающих в филиалах различных американских организаций и мотающих на континент с семьей не реже трех раз в год, скупающих целые кварталы в Иерусалиме и воспитывающих своих детей по-английски, — ну никак. Эти колонизаторы прилагают массу усилий, чтобы создать внутри Израиля жизнеспособный североамериканский оазис, по возможности далекий от ближневосточной специфики. Их цель — опять цитируем — создать небольшое, развитое, западного толка государство, находящееся в тесном союзе с Соединенными Штатами, живущее в мире со своими соседями и сохраняющее еврейскую специфику. Чуть, утопия? Отнюдь. Представьте себе пятьдесят первый соединенный штат, полностью завязанный на метрополию, вообще не являющийся левантским образованием, разумеется, жизнеспособный сам по себе, не имеющий местных интересов, зато — богатый, напигованный, как некогда Бейрут, представительствами всех фирм, имеющих хоть какие-нибудь интересы в регионе, ведущий американский образ жизни, а заодно железно, как Гавайи, обороняемый Америкой — эта штука имела бы шансы вписаться в ближневосточный пейзаж. Такой Израиль мог бы заключить мир, ибо он не был бы еврейским государством, а соседям представлялся бы своеобразной зоной свободной торговли, ради которой можно пожертвовать клочком земли. У нас уже есть пример в этом роде — Гонконг, много десятилетий представлявший на Дальнем Востоке от имени английской королевы. Что ж, подождем и посмотрим, что будет с ним после 1999 года. Китай уже потребовал его назад, ну, а насколько он посчитается с собственными коммерческими интересами, покажет будущее. В нашем случае бесспорно одно — в тот момент, когда пошатнется оборонный кредит Соединенных Штатов, не будет ни мира, ни Израиля, ибо Ближний Восток — не Дальний, арабы — не китайцы, а кроме того, китайцы — не евреи, — но, ясное дело, для североамериканцев нет ничего более незыблемого, чем Северная Америка, так что эту оговорку мы с негодованием отмечаем. Итак, последний мирный вариант: Израиль — непотопляемый американский авианосец, с выходом к морю, разумеется, — уже, собственно, не Израиль, а "Израиль", как у того великого немца.

По-видимому, действительно нет ничего нового под солнцем, даже таким ярким, как наше. Но почему?

Размышляя об этом, мы раскрыли 57-й номер журнала "22" и немедленно получили большое удовольствие. Дискутируя на тему о мирном урегулировании на Ближнем Востоке, придерживающийся относительно правых взглядов А. Гордон пишет следующее: "На сегодняшней израильской политической улице разница между правой и левой стороной устанавливается с помощью лагерной терминологии: справа "национальный лагерь" (нацлаг), слева "лагерь мира" (мирлаг). Граница между двумя лагерями проходит по спорной границе страны..." Полемизируя с ним, относительно левый М. Хейфец реагирует: "У А. Гордона ... возникают на израильской политической улице два лагеря — "национальный лагерь" и "лагерь мира". Но по законам логики "национальному лагерю" должен противостоять не "лагерь мира", а лагерь "антинациональный" (или "универсалистский", "космополитический")".

Мы немедленно восхитились. Вот оно, зеркало ближневосточного конфликта! Какие же они оба умницы! Да ведь и мы сами об этом уже писали — *суть всех наших проблем еврейская, и на Ближнем Востоке мы муссируем все тот же пресловутый "еврейский вопрос"*! М. Хейфец прав. По законам логики национальному, еврейски настроенному лагерю должен противостоять лагерь космополитический, а еще точнее — ассимиляторский. Но только для него это аргумент *ad absurdum* — и совершенно напрасно. Законы логики, как правило, работают, тем более на Ближнем Востоке. Дело обстоит в точности так, как он указал.

Израильский нацлагерь объединяет — может быть, всего на один день — всех тех, кто придерживается, каждый по своей причине, такого "объединяющего" мнения: Израиль *д о л ж е н* быть национальным еврейским государством и *н е д о л ж е н* идти на компромиссы с культурами и обстоятельствами, ставящими под вопрос его еврейскую сущность. Прежде всего, с культурами, а потом уже со странами и народами. Именно поэтому в нацлагере оказались все ортодоксальные религиозные евреи — даже те, кто готов принять далеко идущие территориальные уступки в той мере, в какой они не угрожают их культурной программе, а в "лагере мира" — он же космополитический — пламенные сионисты из лагеря Труда. Граница между лагерями проходит, увы, не по долинам и по взгорьям, а, как и следовало ожидать, по израиль-

ским школьным учебным программам и по вопросу, кого считать евреем.

Кстати сказать, Рабочая партия далеко не всегда примыкала к мирлагу. Бен-Гурион, встретившись как-то с И. Ядином в Эйлате, ткнул пальцем в направлении Акабы и сказал: "Ты ее еще завоеешь!" — ну, а всему свету указал: "Важно, что делают евреи, а не что говорят об этом гой". Нынешние вояжи Ш. Переса, имеющие целью завоевание западного общественного мнения, а отнюдь не Акабу, — не прямая ли это противоположность развитому бенгурионизму? И вообще, способен ли Перес выговорить слово "гой"? С другой стороны, и "Херут" под руководством М. Бегина тоже претерпевал не простые эволюции. В июне 1967 года Бегин — министр без портфеля в правительстве Л. Эшкола — имел мужество заявить: "Теперь или никогда — если иорданцы ввяжутся, Иерусалим будет нашим". Так и произошло. А через десять лет он изобрел свой знаменитый льстивый комплимент, адресованный президенту Джимми Картеру (который мы успешно адаптировали и будем, видимо, применять вплоть до установления в США монархии): "глава самой дружественной за всю историю американской администрации" — вывел войска из Синая и разрушил Ямит. Так что членство в обоих лагерях не является пожизненным.

В израильском королевстве — как некогда в китайском — идет ожесточенная культурная борьба. Мало интересующийся еврейской традицией И. Шамир держит, тем не менее, в уме падение крепости Бейтар, немецкие лагеря смерти и английские депортационные лагеря и цедит сквозь зубы: "Идите к черту! Мы сами разберемся". Разговоры о мире его не интересуют и внедрять в школьные программы курсы по "демократии" и "веротерпимости" он не склонен. В то же время обаятельный и почти традиционный Ш. Перес мечется по свету, пытаясь импортировать его целиком, какой он есть, к нам, в Израиль. Он, все-таки, космоционист! Реформисты из "Нетивот шалом" изо всех сил стараются сами себя выстроить на одном из близлежащих островов — таком, чтобы его можно было потом переименовать в авианосец. Шуламит Алони, изо всех сил защищающая современную мораль и гражданские права, а вдобавок не обремененная министерскими постами, осуществляет то, о чем Перес говорит, то есть внедряет в нашу повседневную жизнь отличные чужие идеи, как-то: легализует гомосексуализм (через Кнессет!), организует граждан-

ские бракосочетания (еще противозаконные, но уже ненаказуемые) и т. д. Есть у нас и более крайние — не скажем, последовательные — борцы за культуру. Некоторые из них предлагают попросту пересадить Израиль в Европу — для начала речь, наверное, об израильской культуре — ибо это проще и дешевле, чем насаждать Европу здесь. Другие предлагают искоренить еврейскую культуру с помощью археологических раскопок — не может быть, чтобы под затхлым еврейским слоем не осталось чего-нибудь передового, скажем, остатков более богатой (человечной!) культуры ханаанейского периода... Словом, возможны варианты. Несомненно одно — вся эта пестрая мирлаговская компания делает одно общее дело — выковыривает из Израиля его еврейскую суть. Сегодня уже далеко не все согласны именовать Израиль еврейским государством. Тридцать лет назад, в пору безраздельного господства социалистов, этого названия никто не стеснялся.

Мы специально перечитали нашу Декларацию Независимости — плод нелегких раздумий и, разумеется, нелегкой борьбы. Она изобилует противоречиями, расплывчатыми формулировками и пустыми обещаниями — и все-таки это неплохой еврейский текст. Рав Кахане уже опубликовал брошюру, в которой комментирует Декларацию Независимости и призывает решить, что же мы все-таки провозгласили — государство еврейское или европейское. Он эту Декларацию, скорее всего, не подписал бы — слишком уж она противоречива. Нынешние левые, по-видимому, тоже, не ручаюсь за дисциплинированную Ш. Алони, но за И. Сариду ручаюсь — что у него общего с этим националистическим документом?

Ну, а как же с миром? Не ушла ли эта славная тема в песок? Кстати, коварный дух-искуситель уловил по ходу наших рассуждений интересную слабину. "Если принять, — заметил он, — что палестинцы не настоящая нация (так что даже если их соответственно определить и независимость предоставить, все равно они ничего устойчивого не создадут), то, разумеется, мира с ними никак не заключить. И причем тут высокопарные рассуждения о роли Всевышнего в региональной политике, о сепаратном мире и о политической морали? На нет и суда нет — будь мы курды или, напротив, тунгусы. Как сказал в свое время Рафаэль Эйтан — и внуки наши будут тут воевать!.."

Духу мы ответили следующим образом: "Правда ваша, — политическим способом потушить конфликт вокруг Эрец-Исраэль нельзя, и ни одна из замешанных сторон не готова жить в мире —

таков уж материалаец. Не обязательно быть гением, и уж тем па-че — евреем, чтобы прийти к этому малоутешительному выводу. Он — результат арифметических выкладок, нехитрого обсчета ближневосточного пасьянса. Но впереди еще алгебраическое исследование! С его помощью можно попытаться совладеть с этим грустным результатом. Война, которую мы ведем, еще не стала войной религий — это нас слишком ко многому бы обязывало, — но, безусловно, всегда была войной культур. Раз так — совсем нелишне вспомнить, что мы — евреи, а они — мусульмане, и что истина с нами, а война, то есть необходимость доказывать ее с помощью оружия, — только наказание, или, самое меньшее, констатация нашего несовершенства. Стань наша истина очевидной, война бы нам больше не понадобилась. Следовательно, нам есть на что надеяться. Воевать за обладание Эрец-Исраэль могут все, и в той или иной мере все этим занимаются. Но мира в Эрец-Исраэль можем достичь только мы, евреи, — независимо от того, хотят ли его наши друзья-противники, — если добьемся большего и лучшего, чем ныне, взаимопонимания с Главкомандующим. Тот, Кто восстановил еврейскую государственность после двухтысячелетнего перерыва, держит в Своих руках и ключи к мирному сосуществованию, как держал ключи к Эрец-Исраэль, — но следует иметь в виду, что это столь же иррациональное и многозначное “держание”. Иными словами, мы предлагаем толковать грустное пророчество Рафаэля Эйтана следующим образом: (боюсь, что) ни наши дети, ни наши внуки не станут достаточно хорошими евреями, чтобы Всевышний положил конец войне. Кроме того, полезно также иметь в виду, что никакая чисто политическая или даже военная операция, какой бы выгодной она ни представлялась, не будет иметь успеха, если ее попытаются про-вернуть, не согласовав с Владельцем контрольного пакета всех ближневосточных акций. А Он, в свою очередь, никогда не позво-лит нам забыть, что мы — Его непосредственные подопечные, а не относительно свободные курды и тунгусы”.

В заключение — еще одна цитата из М. Хейфеца. “Рассуждения А. Гордона, — пишет он, — это вопль отчаяния человека, почти потерявшего надежду на нашу победу”. Еще немного — и мы с ним согласимся. Та часть “нацлага”, которая ищет военного или полувоенного решения проблемы, испытывает большей частью сильнейшее разочарование. Правильно говорит Хейфец: военные победы — это чуть-чуть только не поражение, если из них не вы-

текают культурные победы, торжество национального дела, если мы не выходим из них лучшими евреями, чем вошли! Первое документированное изречение в этом роде принадлежит эфирскому царю Пирру. Но у нас есть и более древний пример. Грек Антей набирался сил, прикоснувшись лопатками к матери-земле. Как бы нам не оказаться в противоположной ситуации, если, проживая в Эрец-Исраэль, мы откажемся от родства с ней!

И еще. М. Хейфец и полемизирующие с ним правые разошлись во мнениях о том, что именно вызвало "интифаду" — арабский бунт, начавшийся в декабре прошлого года. Хейфец утверждает, что тому виной "правые" разговоры о трансфере, а один из его оппонентов — что дело в "левых" разговорах о международной конференции по Ближнему Востоку. По нашему мнению, причина тут куда более деликатная. Беда в том, что за последние десятилетия палестинские арабы стали чувствовать себя умственно и физически неполноценными людьми. Комплекс неполноценности бьет из них фонтаном. Видели бы вы, как десятки арабов буквально бросались на помощь еврейской машине (а в машине — мы с женой), застрявшей в центре Рамаллы! Как им хотелось, чтобы еврей приличного вида, хотя и в потертом пиджаке, пожал протянутую ему руку! И как мало евреев готовы были это сделать! Этому комплексу неполноценности, разумеется, способствовали страшные военные поражения, высота еврейского боевого духа, традиционная арабская неспособность использовать предоставленные законом средства борьбы и самоутверждения и многое другое. Тем не менее, в начале декабря они, по утверждениям осведомленных источников, не шибко подготовившись, стали бросать камни, и оказалось, что впервые за сорок лет у них что-то вышло. Естественно, они будут продолжать, сколько смогут. Но стоит иметь в виду, что арабы бросают камни не в израильских правых, а в собственную тень, надеясь ее таким образом перевоспитать. Тем, кому требуются доказательства, мы бы посоветовали пару раз попасть под "обстрел" (ну, хотя бы на шоссе Иерусалим—Хеврон, хотя существуют альтернативные варианты) — он убедился бы, что в жизни не видел ничего столь содержательного и бессмысленного одновременно. Кстати сказать, если неизвестно, как "интифада" помогла арабам, то можно точно сказать, что израильское общество под ее влиянием сильно сдвинулось вправо.

На наш взгляд, — а мы проживаем в очаровательном городке

Бейт-Эль, недалеко от Рамаллы, куда и зовем читателя в гости, — гораздо приятнее иметь дело с психически здоровым человеком, даже если он немного противник и немного сосед, и вообще говоря, мы ничего бы не имели против того, чтобы арабы немного раскомплексовались. Но мы очень боимся, что “интифада” не поможет им обрести чувство собственного достоинства, не говоря уже обо всем прочем. Тот, кто бросает камни и удирает, не решаясь взглянуть в глаза своей жертве, — на что он может рассчитывать? Сегодня арабы боятся евреев больше и глубже, чем год назад. Арестованные “метатели” клянутся Аллахом, что минуту назад вышли подышать свежим воздухом. Назавтра они посылают на улицу своих детей — уж им-то ничего не будет. Возможно, даже очень вероятно. Но через год арабы будут раздавлены в седьмой ближневосточной войне, и все оттого, что никак не могут научиться достойно держаться в критической ситуации. Если бы они — не дай Б-г — преодолели свой страх и взялись за нас соответственно (ни в коем случае не станем давать советы!) — наши дела, особенно с поправкой на действующие инструкции, были бы плохи. Но они боятся, боятся атаковать военные объекты, боятся идти под пули, что, кстати, великолепно проделывают на ирано-иракском фронте, — какая же тогда польза от “интифады”? И еще. У нас тут, чуть не в соседнем доме, живет Д. К., один из четырех или пяти евреев, по-настоящему пострадавших в последние месяцы. В его машине разорвалась бутылка Молотова, и он получил 75-процентные ожоги. Мы очень советуем всем, кто имеет досуг и интерес к ближневосточной тематике, заехать к нам и всего только на него поглядеть.

Напоследок хочу вас обрадовать. После истории с Д. К. и другими мы получили замечательную однозначную инструкцию — хулигана с бутылкой Молотова убивать на месте. В инструкции, правда, не было сказано — предварительно насыпав ему соли на хвост, но это лишнее. С тех пор утекло много воды, в том числе и из Кинерета, были брошены сотни бутылок Молотова, но ни один араб не был обнаружен с бутылкой в руках, поджидающим пулю. Однако мы лично обзавелись 9-миллиметровым Смит-и-Вессоном и собираемся поставить в нашем лимузине бронированные стекла.

Короче говоря, когда весь Израиль проведет как следует хоть одну субботу — на Ближнем Востоке настанет мир.

## РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

*Марк Азбель,  
физик*

Недавно в одном эмигрантском журнале меня охарактеризовали как "типичного представителя израильских правых". Это, конечно, абсолютная чепуха. Тем не менее, эта характеристика заставила меня задуматься: что я понимаю под "правым" и "левым" в политике? На мой взгляд, правые — это те, кому истина важнее, чем эмоции. Левые же, соответственно, те, у кого эмоции преобладают над истиной. Поэтому американским левым, например, "совершенно очевидно", что неравенство черных и белых в Южной Африке — это "плохо". Следовательно, эта несправедливая ситуация должна быть изменена. Черным следует дать равные права. Что будет после этого, левых не интересует. Американские правые могут обладать не менее острым чувством справедливости, но для них важнее вопрос: что произойдет после того, как все получат равные права? Для них важнее, что глобальный результат этого может быть намного хуже, чем последствия нефтяного эмбарго: в ЮАР сосредоточено более половины мировых запасов стратегического сырья. Не говоря уже о возможности кровавой бани, как в Камбодже.

Я, конечно, взял крайний случай. Но, по сути, именно в этом кардинальное различие. Однако в Израиле оно не воспроизводится с такой резкостью. Здесь ни правые, ни левые не могут позволить себе такую эмоциональность. Столь четкое деление возможно в Америке, где такие рассуждения не влекут за собой фатальных последствий. Или в Англии — в отношении Израиля (но не Ирландии, заметим). В Израиле различие между правыми и левыми состоит, скорее, в степени консерватизма, во взглядах на пути решения проблемы, но не по сути.

Это не значит, что я считаю проблемы, стоящие перед Израилем, фатальными. Я бы, скорее, назвал их жизненно важными. Одной из важнейших среди этих проблем я считаю палестинскую. Я не думаю, что различие в отношении к этой проблеме между израиль-



скими правыми и левыми принципиально; мне кажется, что это различие больше в тоне, чем в сущности. Однозначными выглядят только крайние позиции — Кахана, коммунистов (хотя они по сути не так уж далеки друг от друга) .

Я слишком прагматичен, чтобы мечтать о чуде, которое “избавит” Израиль от арабов. В то же время мне очевидно, что государство, не разделенное изнутри, устойчивее государства разделенного. Я имею в виду разделение не по национальностям или, тем более, по мнениям; я говорю о разделении по конечной цели. Самый оголтелый израильский крайний, от Кахана до партии Рац, не может помыслить, чтобы Израиль перестал существовать. Но так же несомненно, что арабы — во всяком случае, многие из них — хотят именно этого. Вот это я называю истинным разделением.

Я предпочел бы, чтобы такого разделения в Израиле не было. Сейчас много говорят о возвращении территорий в обмен за мир. Будучи прагматиком, я был бы безусловно готов отдать часть территорий в обмен на однопациональное еврейское государство, в обмен за то, что арабы согласятся покинуть Израиль и поселиться на отданных им землях.

Мне довелось быть в Америке, когда происходили недавние события на территориях. Со стороны более отчетливо понимаешь сложность нашей ситуации. Куда легче бороться с внешним врагом, чем с ордой мальчишек, швыряющих камни и молотовские коктейли. Конечно, эту проблему можно загнать “в рамки” и восстановить некое подобие видимого спокойствия, но я не думаю, что ее можно таким образом разрешить. Мы имеем дело с борющимся против нас народом. Верно, такой народ не существовал прежде. Но по моему глубокому убеждению, народ возникает, когда осознает себя народом, даже если в основе такого самосознания лежит обманчивый миф. Если завтра будет однозначно установлено, что Моисей создал народ с помощью мифа, мы не перестанем считать себя евреями. В этом смысле, сколь ни отвратительна подобная мысль, Арафат — палестинский Моисей.

Когда мы имеем дело с борющимся против нас народом, ситуация становится весьма сложной. Сложность состоит в том, что Израиль — демократическая страна. В отличие от тоталитарного государства, мы ограничены в выборе возможных решений. (Я уж не говорю о том, что для любого решения нужен партнер.

А его у нас нет.) Разумеется, нелепо было бы превращать Израиль в тоталитарное государство ради решения палестинского вопроса. Для меня это все равно, что покончить самоубийством, чтобы спасти жизнь. Поэтому не стоит даже обсуждать такие самоубийственные пути решения, как планы Кахана, — первая же попытка их реализации приведет к гражданской войне и гибели страны даже без “помощи” внешнего врага. Эта ограниченность нашего выбора теми решениями, которые сохраняют израильскую демократию и соответствуют ей, и делает палестинскую проблему столь трудной и сложной.

Многие говорят, будто существование этой проблемы уже повлияло на качество израильской демократии. Все эти разговоры, на мой взгляд, — всего лишь проявление присущего евреям “самоедства”: мы склонны сами себя запугивать, а потом ужасаться. У меня очень четкое ощущение (которое, кстати, совпадает с ощущением подавляющего большинства внешних наблюдателей), что Израиль все еще самое демократическое в мире государство, либо одно из самых демократических. Находясь в состоянии войны, мы ухитряемся быть более демократичными, чем Америка — по признанию тех американцев, которые достаточно хорошо знают Израиль.

Какие доводы приводятся в “подтверждение” нашей “недемократичности”? Отсутствие конституции или писаных законов о гражданских правах сопровождает Израиль всю его историю, независимо от палестинской проблемы. Но ведь существование или несуществование писаной конституции или законов о гражданских правах вообще не является признаком демократичности: множество демократических стран не имеют конституции. Вообще, демократия тем и отличается от тоталитаризма, что тоталитаризм везде одинаков, а демократии — разные.

Аналогично обстоит дело и с разговорами о “религиозном засилье”. Оно тоже не имеет отношения к тому, что мы управляем территориями. Это просто следствие многопартийности израильской политической системы. Из-за этого меньшинство получает возможность навязывать свое мнение большинству. Прошу прощения, но это означает всего лишь, что большинство с этим мирится! Хотя и ворчит. Если завтра большинство всерьез этого не захочет, оно поддержит закон о недопущении в парламент партий, собравших меньше определенного процента голосов, и религиозные партии исчезнут из парламента. И дело здесь не в

том, будто израильская система голосования по партийным спискам ограничивает "демократическое самовыражение" народа. Верно, голосуют за партии; верно, ни одна израильская партия не предлагает таких радикальных изменений; но о чем это говорит? О том, что состояние страны не может меняться от любого ветерка. Иначе оно будет нестабильно. Для того, чтобы произошли радикальные изменения, нужно, чтобы тот, кто идет против них, ощущал, что проиграет на выборах, ибо такие изменения уже поддерживаются большинством народа. Если же эти настроения остаются всего лишь настроениями, если людям в массе вопросы территорий, инфляции, безработицы, медобслуживания и т. п. представляются гораздо более важными, чем проблема "религиозного засилья", значит, в существующем порядке вещей массы не видят серьезной угрозы демократии. Изменяются настроения масс — изменится и ситуация. Поэтому претензии нужно иметь не к "израильской демократии", а — к себе, к народу. Перефразируя известное выражение, любой народ имеет ту демократию, которую он заслуживает...

Я не хотел бы выглядеть таким Панглоссом с его известным тезисом: все к лучшему в этом лучшем из миров. Разумеется, в нашем обществе существуют вполне реальные противоречия, конфликты и проблемы. Просто мне кажется, что далеко не всякое внутреннее противоречие является "угрожающим". В преддверии любых очередных выборов естественно осматривать политический горизонт в поисках угрожающих признаков тех или иных серьезных перекосов, которые необходимо исправить. Отсюда, я думаю, и эти разговоры об "угрозе демократии" и всяких иных "угрозах" израильскому существованию или образу жизни. У меня такие пророчества не вызывают ужаса. Замечу, что даже на Западе они не воспринимаются всерьез. Если тамшние "озабоченные" друзья Израиля чем и озабочены, то, в большинстве своем, не перспективами израильской демократии или состоянием здоровья израильского общества, а вполне конкретной проблемой палестинцев. Этим пресловутым "здоровьем" озабочены больше всего в Израиле. Только среди самих израильтян, например, мне доводилось слышать апокалиптические высказывания о "катастрофическом" состоянии нашей экономики, о "безнадёжном" кризисе нашего здравоохранения, о "неудержимо растущем" отставании израильской науки и тому подобное. Я зачастую просто не понимаю, о чем идет речь. В Швеции, например, степень "зажа-

тости” экономики налоговым бременем куда выше, чем в Израиле. Не объявить ли на этом основании, что шведская экономика “на грани катастрофы”? Система здравоохранения переживает кризис буквально во всех демократических странах — просто потому, что провозглашенный там принцип равного права всех и каждого на “все” (и, стало быть, прежде всего на жизнь и лечение) пришел в противоречие с взлетевшей до астрономических высот (и продолжающей расти) стоимостью современного медицинского обслуживания, этой “платы за жизнь”. Имея возможность сравнивать научную ситуацию в Израиле и других странах, я не могу не заметить, что израильская наука непрерывно рвется вперед и притом — буквально на глазах.

Все наши проблемы, разумеется, очень и очень реальны — но это естественные проблемы роста, а не признаки надвигающейся катастрофы. Разумеется, состояние нашей экономики, медицины, науки не адекватно нашему сегодняшнему уровню. Я согласен. Но я не вижу в этом “угрозы” — такие проблемы обычно разрешаются временем. Надо идти вперед, а не ужасаться, надо искать пути, а не упиваться ролью Кассандры.

Если же говорить о том, что мне действительно представляется на сегодняшний день уникально израильской проблематикой, к тому же достаточно серьезной и неприятной, то я бы назвал, в первую очередь, все ту же палестинскую проблему. Любая попытка дать полноту прав достаточному количеству арабов приведет к реальной угрозе еврейскому характеру нашего государства, а любая попытка отказать им в этих правах — к превращению Израиля в этикие древние Афины. Меня волнует также проблема наших взаимоотношений с еврейством диаспоры. Мне кажется, что происходит опасный отрыв Израиля от мирового еврейства. Я бы даже сказал шире — отрыв от Америки в частности и от других демократических стран вообще. Дело не в том, что Израиль будто бы идет каким-то “особым путем”. Путь наш, в общем, тот же, что и у других западных демократий. Мы отрываемся от них в другом. Десять лет назад заявление, что я — израильтянин, вызывало гул восторга. Сегодня оно вызывает такой же гул неодобрения. Меняется не Израиль — меняется отношение к Израилю. Наши моральные устои несколько не изменились, что бы ни говорили на сей счет отечественные “самоеды”. Но в окружающем мире отношение к Израилю изменилось к худшему — я могу говорить об этом с уверенностью очевидца. А ведь отношение —

такая же реальность, как все остальное. Если США воспринимаются в Латинской Америке как империалистическая страна, то это восприятие оказывает сильнейшее влияние на всю политическую реальность. Ситуация эта, общая и для Израиля, и для США, имеет, как мне кажется, и общую причину. Я бы назвал ее опасной "национальной глухотой". Каждый человек и каждая страна знают мотивы своего поведения. Но со стороны видны только поступки. И эти поступки, как и стоящие за ними мотивы, нужно объяснять. Мы справедливо оправданы в своих собственных глазах. Мы знаем, что наши, еврейские террористы были "хорошими" террористами. И мы знаем, что палестинские террористы были и остаются "плохими" террористами. Безусловно, в этом есть элемент двойной морали. Но куда важнее, что эта наша "двойная мораль" пока что — самая лучшая и самая справедливая двойная мораль в мире. Увы, мир не может этого знать и с этим соглашаться априори. Для того, чтобы другие поняли тебя, ты сам обязан понять других. Израильяне, однако, настолько увлечены своими проблемами, что порой видят в каждом, не способном и не готовом эти проблемы понять, своего врага. Взять, к примеру, американское еврейство. Мы даже не пытаемся понять их подход, их опасения, мы убеждены, что они должны нас принять, даже не пытаюсь понять.

Я пока не вижу апокалипсиса, надвигающегося на Израиль. Израиль не обманул моих ожиданий. Одиннадцать лет назад, после пяти лет отказа, я приехал в эту страну. Одни ехали сюда в поисках свободы, другие — самовыражения, третьи стремились в еврейское государство. О себе я мог бы сказать, что я "просто" убежденный сионист. Я убежден, что вопрос: когда евреев начнут бить в той или иной стране? — это вопрос "когда", а не "будут ли". Я понимаю, что и в Израиле меня могут побить. И даже убить. Но мне хотелось бы иметь возможность противостоять такой попытке с автоматом в руках. И чтобы меня окружали мне подобные — с такими же автоматами. Я не считаю, что погибнуть, не сопротивляясь или с оружием в руках, — одно и то же. Я выбрал еврейское государство, потому что хотел сам распоряжаться своей судьбой. И хоть немного — как могу, понимаю, ощущаю, — сдвинуть это еврейское государство в ту сторону, в какую мне нравится. Иными словами, я ехал давать, а не брать, ехал "для", а не "за". Я с первой же минуты осознал, что ничего в этой новой жизни не понимаю и не знаю, и если сегодня я понимаю Израиль

хоть немного лучше, то лишь потому, что с первой секунды при-  
знал это свое незнание. И в то же время я сразу же стал считать  
себя израильтянином и очень горжусь, что сегодня мои друзья —  
израильтяне, американцы и другие — тоже считают меня израиль-  
тянином.

Но именно поэтому мне хотелось бы сдвинуть Израиль в та-  
кую сторону, чтобы при слове "израильтянин" люди ахали от  
восхищения, а не ухали от неодобрения. Мне очень хочется, что-  
бы чертов еврей диаспоры воспылал желанием здесь жить. Я не  
знаю, как это сделать, но мне думается, я знаю, что для этого  
нужно делать. Я прагматик, я не вижу возможности перепрыгнуть  
через море. Даже Господь Бог его раздвинул, чтобы евреи могли  
пройти посуху, а не перенес их над ним... Сегодня в Израиль едут  
идеалисты. А мне бы хотелось, чтобы ехали реалисты, ибо идеали-  
стов на свете, увы, мало, а настоящая, большая алия из СССР и  
США сразу изменила бы расстановку сил: мы стали бы вдесятеро  
сильнее. Сегодня я зарабатываю в Израиле гораздо меньше, чем  
мог бы зарабатывать в Америке. Я не могу рассчитывать, что аме-  
риканский еврей окажется таким идеалистом, что будет готов  
уменьшить свою зарплату. Некоторые наши "идеологи", полагая,  
что эту разницу перекрыть невозможно, предлагают привлекать  
евреев в Израиль разными "великими целями", "великой мисси-  
ей" и тому подобное. Я бы предпочел, чтобы Израиль такие цели  
осуществлял, нежели о них разглагольствовал. Если мы хотим  
создать великое государство, нужно трезво отдать себе отчет:  
у нас маленькая страна, нашим единственным полезным иско-  
паемым является наш собственный мозг. Значит, надо работать  
головой, а не языком. Надо прежде всего работать, и тогда появит-  
ся много "великих идей".

И вот, сказав все это, я оказываюсь перед последним вопро-  
сом, который связан с выборами уже напрямую: так за кого же  
я буду голосовать?

За того, за кем, с моей точки зрения, будет большинство. И это  
нисколько не идет вразрез с моим индивидуализмом. Я думаю,  
Наполеон был прав, когда сказал, что о д и н плохой военачаль-  
ник лучше, чем д в а хороших. Все мои личные симпатии и анти-  
патии к тем или иным политикам или партиям не имеют суще-  
ственного значения. Поскольку перед нами стоят реальные и труд-  
ные проблемы, важнее всего сейчас, мне кажется, четкое большин-  
ство в парламенте и в правительстве. Не так уж важно, большин-

ство какой партии, лишь бы способное принять и о с у щ е с т - в и т ь о д н о з н а ч н ы е решения. Пусть это будут и не самые лучшие решения — это все же лучше, чем если н е б у д у т о с у щ е - с т в л е н ы самые лучшие решения. Ибо, на мой взгляд, время решений действительно наступило.

*Сергей Рузер,  
писатель*

Я всего девять месяцев в стране. Это, таким образом, первые выборы, в которых мне придется участвовать. В России проблема решалась просто: на выборы я не ходил. И сегодня, спрашивая себя, как поступить здесь, я, честно говоря, пока не могу дать ответа.

По большинству вопросов, которые обсуждаются конкурирующими израильскими партиями, у меня пока нет определенного мнения, нет своего решения для жгучих проблем, в основном волнующих израильтян. Те же решения, которые предлагаются в ходе дебатов, меня по тем или иным причинам, часто интуитивно, не устраивают. Так что тут мне довольно трудно выбирать.

Впрочем, есть несколько вопросов, которые меня живо интересуют. Они не требуют длительного "вживания", но, напротив, непосредственно связаны с предшествующим жизненным опытом, с определенной традицией. Но эти несколько тем, по которым у меня есть вполне определенное мнение, для израильского общества являются как бы второстепенными. Меня, к примеру, волнует проблема так называемых "прямых рейсов" из СССР в Израиль. Если бы возникла какая-то группа, которая заняла бы по этому вопросу принципиальную позицию и заявила, что она против таких рейсов, считает их нарушающими свободу выбора, унижительными для Израиля, противоречащими идеалам сионизма и так далее, я мог бы к ней присоединиться. Это было бы пунктом, который позволил бы мне ощутить солидарность с кем-то. Если бы появилась группа, которая последовательно выступала бы за прямые выборы в парламент, по отдельным избирательным округам, а не по партийным спискам, если бы была группа, выступающая — даже без особых шансов на успех — за принятие конституции, короче, если бы были партии, строящие свою программу на пунктах, по которым у меня есть свое суждение, то

я мог бы к ним присоединиться. Но спор в израильском обществе, повторяю, идет по другим вопросам: территории, экономика и тому подобное, — а у меня по ним такого суждения нет. Видимо, прошло слишком мало времени.

Может показаться странным, что столько зная об Израиле еще в России, я не имею позиции по этим, вроде бы — самым важным — вопросам израильской жизни. Но это так. Видимо, недостаточно читать — нужно прожить хотя бы несколько лет в стране. А может быть, я просто не имею особого вкуса к политике. Как бы то ни было, пока моя реакция на эти стороны израильской жизни чисто обывательская. Как человек “с улицы” или, в нашем случае, “из автобуса”, я предпочел бы, конечно, чтобы никто не швырял камни, а городские были в перчатках. И эта “обывательская” реакция, разумеется, подталкивает меня на поиски срочного урегулирования пресловутой палестинской проблемы. Но я стараюсь по мере сил сдерживаться и не превращать упомянутую реакцию в основание для политических выводов. Ситуация представляется мне слишком сложной для поспешных решений.

Несколько месяцев назад моя жена побывала на телевизионной встрече израильтян с палестинцами, организованной американским репортером Тедом Коппелем. Вернулась она оттуда в легком ужасе. Вроде бы, с палестинской стороны там собрались “умеренные” — во всяком случае, люди, готовые разговаривать, на деле же выяснилось, что все они, до единого, были до предела идеологизированы. Когда в конце встречи кто-то из израильского движения “Шалом ахшав” протянул было руку одной из палестинских женщин, та демонстративно отвернулась. Какой тут диалог? Это уже по ту сторону любого диалога... Таким образом, инстинктивная реакция, опирающаяся на общие либеральные представления о необходимости “договориться”, оказывается неадекватной реальности. Решения, предлагаемые группами типа “Шалом ахшав”, кажутся неосуществимыми, решения, предлагаемые их правыми оппонентами, не согласуются с моими общими мировоззренческими установками. В этой ситуации мне кажется надежнее выбирать не ту или иную политическую альтернативу, а общую мировоззренческую основу, оценивая предложения тех или иных партий по той нравственной позиции, которая за этими предложениями просматривается. В конце концов, любой конкретный рецепт может оказаться ошибочным, но всегда остается нравственная позиция, продиктовавшая этот рецепт, и важно,



чтобы она была таким фундаментом, на котором можно стоять...

Я бы сказал, что для меня (и наверно, не только для меня одного), то, каким будет нравственный климат государства и общества, не менее важно, чем достижение успеха в разрешении насущных практических задач. Насколько я понимаю, — никак не можем мы обойтись без ссылок на авторитеты, — отцы-основатели сионизма видели в будущем еврейском государстве не только убежище для евреев, но и олицетворение неких высоких нравственных, гуманистических, духовных принципов. К счастью или к сожалению, одно невозможно оторвать от другого. Израиль вряд ли привлечет евреев, если будет другим. Если пытаться разорвать это единство сионистского идеала, если пытаться ставить перед собой некие цели, поступаясь ради них моральными принципами, то, боюсь, что и цели эти не будут достигнуты, то есть компромисс окажется бесплодным.

Конечно, этот идеал был провозглашен сто лет назад и притом — людьми западного толка. Конечно, обретя свое государство, евреи вынуждены были заняться реальной политикой. Может возникнуть вопрос, не является ли некий отход от универсальных — и, что ни говори, идеальных — норм неизбежной платой за "нормализацию еврейского существования". Но даже если это так, это все равно не снимает проблемы моего личного выбора (раз уж мы говорим о выборах) : каким я хочу видеть Израиль? Не исключено, что универсалистские идеалы вообще становятся все менее популярными, а попытка их сохранить выглядит все более наивной. В Израиле я вижу достаточно людей, которые ратуют за то, чтобы "освободиться" от этих "заимствованных", "западных" идей и ценностей. Одни ратуют за это, чтобы окончательно перейти к "real-politik", другие — ради того, чтобы руководствоваться впредь тем, что они считают собственно "еврейскими ценностями". Да, такая тенденция есть. Но в конце концов, моей целью не является ассимилироваться в ту или иную наличную тенденцию, будь она даже самая что ни на есть историческая необходимость.

Кстати, о "real-politik". Небольшие государства Запада, по тем или иным причинам ее проводящие, не обязательно объявляют ее высшей ценностью и не считают, что она оправдывает отход от моральных норм. Напротив, они более или менее честно признаются, что она этим нормам зачастую противоречит, что отход от нее — вынужденный и никакой особой доблести в том нет.

Тут есть какая-то трогательная даже честность. У нас же преобладает странное сочетание этакое глобального, мистически-мессианского "замаха" (на словах) с "real-politik" (на практике), и это порождает, на мой взгляд, определенную болезненность. Здоровее было бы все-таки выбрать: или мы "светоч для народов", или "политики-реалисты" ближневосточного толка. Однако пока никто не решается открыто отбросить лозунги отцов-основателей, даже если считает их в глубине души пустым "прекраснодушием". Вот и сохраняется этакая смесь, в которой все идет в дело. Предлагаются различные толкования великой "миссии" Израиля: то ли ему быть по-прежнему "духовным светочем" для прочих несмышленных, то ли служить в регионе проводником современной цивилизации, то ли прокладывать еще какие-то, вовсе новые пути.

Лично мне все эти "миссии" не то, чтобы слишком малы — они мне чересчур велики. "Real-politik" так "real-politik", давайте удовлетворимся малым, минимальным. Я не считаю возможным говорить о "судьбах Израиля" — они мне неведомы. Я не пророк, я не провижу будущего, я выбираю лишь собственную судьбу — это и есть мой "минимум". И чтобы остаться в этом выборе адекватным самому себе, я бы проголосовал за партию или группу либерально-западного толка, ценящую личную свободу и противодействующую чрезмерной идеологизации общества. На сегодняшний день в стране множество политических позиций, но в этом широком спектре недостаточно, по-моему, представлен именно такой либеральный фланг. Российский опыт отталкивает меня от харизматических лидеров израильской правой с их непристойным жаргоном, он же заставляет меня относиться настороженно к куда более пристойному, но не менее заданному словарю так называемого "левого лагеря". Это не значит, что собственно либерального сектора нет вообще; он слабо представлен в политическом спектре Израиля, но в самом израильском обществе он достаточно силен. Однако речь в данный момент идет о политических выборах, и тут отсутствие либеральной альтернативы — главное для меня затруднение. Полагаю, что острота и неотложность проблем, вечно стоящих перед страной, постоянно отодвигает в тень те принципиальные основы, на которых такие решения только и могут приниматься. Попросту говоря, некогда размышлять о принципах, жизнь требует действий. Конечно, от этих решений и действий зависит будущее страны, но, думаю, что от

прояснения для себя духовных основ нашего национального существования оно зависит не меньше. Нельзя же все время только и делать, что решать сиюминутные проблемы — так можно дойти до того, что мы незаметно станем не теми, какими хотели бы стать. Конечно, мне понятна неизбежность нашего нынешнего состояния, эдакого “героического стоицизма”, она продиктована все еще длящейся войной за существование, но, в конце концов, сама такая война требует остановиться и задуматься. Вот, пожалуй, моя “сквозная мысль”, и я сознаю, что упорно протаскивая ее, сопротивляюсь честным усилиям окружающих вернуть меня к проблеме чисто политического выбора. Но поскольку она — моя “главная мысль”, ею и закончу.

*Яков Цигельман,  
писатель*

Я не знаю, за кого я буду голосовать на предстоящих выборах. Два самых крупных партийных блока — Маарах и Ликуд — могли бы привлечь меня теми или иными пунктами своей программы, но целиком меня не привлекает ни одна. А кроме того — даже то привлекательное, что есть в этих программах, смазывается тем, что за ними стоят политики, которых я уже знаю и которым, зная, не доверяю. Так за что же я бы хотел голосовать и за кого бы я хотел голосовать? Второй вопрос решается, к сожалению, сразу: я не вижу в сегодняшнем Израиле подлинных лидеров, обладающих широким государственным мышлением. Наши политики думают прежде всего об интересах партии. Я отнюдь не отрицаю их национальных, патриотических чувств. Но эти их чувства подчинены узкопартийным интересам. А разве не проявление государственной безответственности — пустующий зал нашего парламента во время обсуждения серьезнейших вопросов жизни страны?

Но оставим политиков. Изменить положение может только изменение избирательной системы. Поговорим лучше о том, чего бы я хотел для страны. Я бы хотел для Израиля, коротко и просто, — мирного развития.

Я понимаю — любой скажет, что он хочет того же. К примеру, Маарах призывает активно искать возможности мирных перегово-

ров. Я вполне поддерживаю этот призыв. Не возражая против переговоров, Ликуд призывает не отдавать территории и стоять насмерть. Я и за это тоже, всей душой. По-моему, в этом нет противоречия. Но партийные блоки никак не могут договориться. Мне кажется, это происходит потому, что они находятся во власти иллюзий. Маарах живет иллюзией, будто возвращение почти всех территорий удовлетворит арабов, Ликуд живет иллюзией, будто можно удержать все территории целиком.

Я тоже не хочу отдавать территории. И я знаю, что конечная цель арабов — вовсе не те или иные куски земли, а весь Израиль, вся Палестина — и без евреев.

Тем не менее я убежден, что нам нужно стремиться к миру. Потому что только мирное развитие даст нам возможность решить многие наши проблемы.

Да, конечно, события на территориях не изменили образ нашей жизни. Вокруг себя я вижу мирно живущую страну. Но за это она платит огромную цену. Мы, прежде всего, напрямую вкладываем огромные деньги в армию — вместо того, чтобы вкладывать их в развитие технологии, промышленности, науки. Во-вторых, все больше становясь солдатами, мы теряем свои прежние качества, теряем свой интеллектуализм. Особенностью евреев — и я думаю, что почти генетической особенностью, связанной с двухтысячелетним изучением Торы и Талмуда, — является их способность усваивать знания, а затем применять их на практике.

Я не хочу сказать, будто наше государство раньше было более интеллектуальным, чем сегодня. Оно и двадцать, и сорок лет назад вело войны. И эти непрерывные войны не дают нам использовать свой интеллектуальный капитал. Молодые израильтяне идут в армию в том возрасте, когда мозг лучше всего усваивает знания. В результате мы утрачиваем возможности, которые мог бы открыть нам еврейский интеллект. Разве мы хуже Японии, Южной Кореи, Гонконга? Мы могли бы создать такое же экономическое чудо, как они. Но для этого нам нужно мирное развитие.

Веками евреи славились жизненной стойкостью, силой духа. Сегодня мы все больше славимся силой силы. Раньше евреи всегда находились в обороне. Сегодня ситуация вынуждает Израиль атаковать, наступать, постоянно демонстрировать свою силу. Мы отодвигаем на второй план высшие достижения еврейского духа — наши собственные нравственные принципы, возвышенное учение наших пророков. Это не значит, что мы их теряем, тем более не

значит, что теряем безвозвратно. Ничего подобного. Но мы — отодвигаем. Между тем, пора, мне кажется, обратиться от винтовки к компьютеру. Мы показали миру, что умеем воевать и защищаться, — хватит. Отложим свое умение воевать про запас, достанем с полки иные наши умения.

Постоянная война, постоянная демонстрация силы понемногу меняет и нашу внутреннюю жизнь. Солдат, приучившийся ударом отвечать на угрозу врага, будет склонен так же вести себя в любой другой ситуации. В нашем обществе растет неприятный психологический климат тотального "противостояния". Религиозные противостоят секулярным, одни этнические группы противостоят другим, левые — правым; противостояние мы видим и внутри этих групп. Я очень надеюсь, что моральной стойкости и зрелости нашего народа хватит, чтобы не начать гражданскую войну. Залогом этого, на мой взгляд, является наш демократизм. Юрий Орлов, побывав в Израиле, очень точно сказал, что настоящая демократия именно здесь: люди с оружием ходят по улицам, но никому из них не придет в голову применять это оружие для решения своих конфликтов.

Конечно, такое "табу" не включает арабов, но вовсе не потому, что мы, якобы, видим в них каких-то "людей второго сорта", ничего подобного: мы просто видим в них своих врагов, и этим все сказано, к сожалению. Но я не думаю, что эти процессы необратимы. Если завтра арабы перестанут с нами воевать, наше отношение к ним немедленно изменится.

Но сегодня мы все же находимся в состоянии войны, а не мира. А когда люди стоят против общего врага, который хочет их лишиться государства, вытеснить с их земли, то вполне естественно, что они хотят единства в своих рядах. В любой драке "свои" должны быть заодно. А если ты, еврей, не хочешь стоять со мной заодно против врага, а призываешь уступить этому врагу или даже перейти на его сторону, — значит, ты мне враг. Так постоянная необходимость противостоять "вовне" навязывает свои условия и "внутри". Поэтому ожесточение внутриизраильской общественной борьбы — всего лишь отражение нашей внешней ситуации. Я уверен, что достаточно создать возможность мирного развития, чтобы эта борьба вошла в нормальные демократические рамки.

Но вот противоположный путь, пресловутая "столетняя война", о которой вещают некоторые отчаянные пессимисты, кажет-

ся мне действительно опасным. Он грозит закреплением всех этих отрицательных сдвигов в общественной психологии, грозит перерождением общества. Ведь что такое непрерывная, десятки лет подряд, война? Так же, как нельзя загонять человека в угол, постоянно избивая его и мучая, так нельзя поступать подобным образом и с народом — это не проходит безнаказанно, его психология меняется. А этого я для нашего народа очень не хочу.

Многие сегодняшние проблемы кажутся мне именно таким порождением нашей внешней ситуации. Меня, например, не пугают разговоры о возможном засилье религиозных кругов или сефардской "левантизации". Эти тенденции порождены, на мой взгляд, нынешней израильской ситуацией. Изменится ситуация, изменятся и тенденции. К примеру, мирное развитие немедленно поставит перед ними задачу участия в мировом научно-промышленном развитии. Конкуренция выдвинет на первый план иные качества, и тот, кто склонен к "левантизму", попросту проиграет. В том числе, и сефарды. Если они и станут преобладать в стране чисто количественно, это еще не будет означать реального преобладания. Если же они вступят в борьбу за преобладание на основе деловых качеств, это будут уже другие сефарды, "засилья" которых нечего опасаться. Или вот растущее сегодня возвращение многих молодых людей к религии. Я думаю, что оно порождено той же психологической атмосферой. В нашей сегодняшней жизни отсутствует что-либо устойчивое, ценности эфемерны, оценки случайны. В таких условиях естественна тяга к чему-то прочному, ясному, освященному традицией. Но опять же — в условиях мирного развития, когда снова выйдут на передний план нормальные общественные ценности и жизнь обретет устойчивые формы, религия уже не будет единственной надежной гаванью духа. И тогда ей останется роль чисто общинной связи.

Мирное развитие — самый реальный, практичный путь решения наших проблем. Наше общество, несомненно, переживает сдвиги, но все они, на мой взгляд, обратимы, потому что все они порождены ситуацией войны и противостояния врагу. Мир позволит нам создать процветающее, высокоразвитое и высокодуховное еврейское государство. Это именно тот идеал, ради которого я стремился в Израиль. Я хотел участвовать в таком созидании, быть причастным ко всему, что происходит с моим народом и его страной, надеясь, что мне удастся при этом сохранить и свой прирожденный индивидуализм. И я хотел участвовать именно в

созидании, еврейской страны. Еврейский национализм позволил мне ощутить себя евреем. Но национализм — любой, в том числе еврейский, — не самая лучшая идеология. И я готов с радостью отказаться от него — при условии, что на нас не будут нападать, что нам не будут угрожать. Я опять возвращаюсь к перспективе мирного развития: оно позволит нашему национальному чувству успокоиться, не быть таким чрезмерно возбужденным.

К сожалению, эта перспектива не кажется мне сегодня реальной. Уходить из Иудеи и Самарии — совсем не то, что уходить из Ямита. Иудея и Самария — они видны из окон наших домов.

На выборах решают массы. Что-то должно еще измениться — и у нас, и у арабов, — чтобы изменились настроения масс и выдвинулись соответствующие лидеры, достаточно сильные, чтобы эти настроения реализовать. А от нынешних выборов, увы, я не жду радикальных перемен.

*Виктор Богуславский,  
архитектор*

За кого я буду голосовать на предстоящих выборах? Для меня это самый трудный вопрос. Каждые выборы — это очередной экзамен демократии. На мой взгляд, израильская демократия — плохая демократия, и я для себя в ее рамках просто не нахожу места. Поэтому мне очень трудно ответить на этот вопрос.

Я вижу израильскую демократию как атавизм сорокалетней давности. Все ее главные политические партии родились задолго до возникновения государства, в совершенно иной обстановке, с совершенно другими программами и идеалами. Все эти программы и идеалы охраняются сегодня весьма искусственно. Сегодняшний политический расклад на "правых" и "левых" совершенно не соответствует тому, что было когда-то. Более того — он почти противоположен прежнему, я бы сказал. Все это затрудняет мне выбор.

Обычно среди знакомых я числюсь "правым", хотя вся моя "правизна" концентрируется в одном-единственном вопросе — еврейско-арабских отношений. И эта моя однобокая "правизна" отражает ситуацию с "правыми" и "левыми" на израильском политическом ковре в целом.

Когда мы говорим о других демократических странах, где партии тоже возникли давно и многократно меняли свои программы, то там важнейшую роль играет тот факт, что сами эти страны существуют весьма давно. На этом фоне не имеет значения, когда возникли сами партии. Там уже сложилась откровенно двухпартийная система, которая предоставляет своим избирателям два выбора. Когда не справляется одна партия, можно заменить ее на время другой и наоборот. Функция демократии там состоит именно в том, что любая партия, придя к власти и опасаясь конкуренции соперника, старается наилучшим образом угодить избирателям, вот и все.

У нас в стране динамика далеко не столь давняя и куда более острая. У нас гораздо больше насущных вопросов экзистенциального свойства. Иными словами, вопрос: быть или не быть этой стране? — здесь не отменяется ни на минуту. И каждая сводка новостей, которая здесь передается, наверно, чаще, чем где бы то ни было в мире — каждый час, а по армейской радиостанции — каждые полчаса, всегда насыщена именно этой проблемой: быть или не быть, что еще нового произошло с этим нашим "бытием" здесь? Поэтому здесь ситуация совершенно иная и требования к политическим партиям, их роль — тоже другие.

Возвращаясь к этим партиям, я готов утверждать, что за истекшие сорок лет они действительно изменили свои позиции на 180 градусов. Когда-то, при их образовании, слова: "левые" и "правые" — отличались прежде всего социальным содержанием, отношением к социальной структуре общества, к средствам производства, классовым задачам и так далее. Сегодня все иначе. Сегодня о правых и левых можно говорить только применительно к арабо-израильскому конфликту, потому что наши бывшие социалисты стали капиталистами — и в государственном, и в личном плане (в Рабочей партии полным-полно богачей и капиталистов, начиная с ее лидера Переса). Если Рабочая партия сегодня еще выдвигает какие-то программы развития общественного (прежде всего, гистадрутовского, профсоюзного) сектора, то лишь такие, которые совместимы с развитием частных капиталов. (В этом плане нападки наших русскоязычных журналов на "социализм" Рабочей партии продиктованы частично явным непониманием, частично же — стремлением напугать своих читателей, страшящихся социализма еще по советским воспоминаниям. В действительности, "социализм" Переса и К<sup>О</sup> — это такой со-



циализм, в котором наши выходцы из России чувствовали бы себя как рыба в воде, разберись они в нем, как следует.)

“Социалистический” элемент в программе израильских “левых” играет чисто функциональную роль — роль политического инструмента. Рабочая партия поддерживает Гистадрут не потому, что искренне стремится к социализму, а лишь потому, что Гистадрут — это мощное политическое орудие в борьбе с конкурирующими партиями. Если завтра к власти придет Ликуд и Рабочая партия снова окажется в оппозиции, она попросту повернет против правительства Ликуда всю мощь Гистадрута и его предприятий и задавит ликудовскую экономику гистадрутовскими забастовками.

Но любопытна и другая трансформация. Сегодня Рабочая партия и партия Мапам считаются “левыми” в отношении арабо-израильского конфликта, а ведь раньше именно они были самыми радикальными сторонниками изгнания арабов, конфискации их земель, строительства поселений и даже трансфера. И чем “левее” (в смысле “социализма”) была партия, тем радикальнее она была в этих вопросах. Дошло до того, что самая радикальная и экстремистская группа — “Лехи” Штерна — вообще описала какой-то фантастический зигзаг и, пройдя по всему кругу возможных политических позиций, оказалась уже на самом “правом” фланге.

А что же произошло с собственно “правыми”? Сегодняшние израильские “правые” фактически возникли из либералов. Либералом был и Жаботинский, и его ближайшее окружение. Они были либеральны в отношении экономики, гражданских прав, равенства прав этнических меньшинств и так далее. Иными словами, они занимали весьма “срединное” положение. Сегодня эта “середина” считается “правой” по отношению к арабам, но всего лишь потому, что бывшие экстремисты ушли в этом вопросе далеко “налево”. Не менее причудливый зигзаг описали “правые” в социальных вопросах. Борясь с “социалистическими” партиями, опору которых все больше начинала составлять “рабочая аристократия” (и просто капиталисты), “правые” стали искать опору в той бедноте, в тех этнических слоях, которые не были охвачены Гистадрутом. И постепенно их либеральные лозунги превратились в лозунги популистские (“справедливое распределение благ”, “велфэр” и “перераспределение богатств”), направленные исключительно на привлечение избирателей из этих слоев. Иными сло-

вами, их социальная программа стала таким же орудием достижения политических целей, как у "левых". Политическая борьба увела и тех, и других весьма далеко от их исходных позиций.

Вся эта путаница, эта идеологическая "мешанина", господствующая в больших партиях, отталкивает меня от них, — хотя я понимаю, что именно они будут формировать нашу будущую политику, наше будущее правительство, та или эта. На то они "большие", тут никуда не денешься... Что же в этих условиях остается делать такому человеку, как я, не видящему перспектив в "больших колесах демократии"? Очевидно, искать среди "малых".

Приходится обратиться к малым партиям. Я с удивлением замечаю, что я, оказывается, всегда голосовал за малые партии — сначала за "Шломцион" Арика Шарона (который после выборов обманул надежды своих избирателей, слившись с победившим Ликудом),<sup>1</sup> затем за партию "Тхия", которая привлекла меня и своим симпатичным руководством во главе с профессором Нееманом, и своим острым вниманием к арабо-израильской проблеме. (Я считал тогда и считаю сегодня, что Война за Независимость еще не кончена и потому арабо-израильский вопрос является самым важным для нашего существования.) Но и эта партия, после своего объединения — а затем разъединения — с группой генерала Рафаэля Эйтана тоже изменилась. Новая партия Эйтана "Цомет" привлекает сегодня своей секулярностью, начисто лишенной той религиозной окраски, которая густо присутствует на знаменах "Тхии". При всем при этом в программах обеих этих партий, довольно четко ставящих проблему арабо-израильского конфликта, фактически отсутствуют социальные и общественные вопросы.

Говоря о социальных и общественных вопросах, я намеренно оставляю в стороне вопросы духовной, нравственной, культурной жизни страны. Я убежден, что такие вопросы вообще не входят в ведение политических партий и не должны быть связаны с политикой. Говорю я об отсутствии в программах "Цомета" и "Тхии" "подлинно социальных" проблем, стоящих перед нашим обществом — например, проблемы конституции, проблемы гражданских прав и тому подобное. Мне симпатична существующая в Израиле группа "Граждане за конституцию", но она, к сожалению, ограничивает свою программу этим единственным требованием, тогда как я не считаю конституцию панацеей от всех бед, а задачу ее принятия — самой наиважнейшей из нынешних задач Израиля.

Тем не менее принятие конституции представляется мне достаточно важной и насущной задачей. Верно, существуют демократические страны, где нет писаной конституции — Великобритания, например. Что ж, возможно, англичан это устраивает. Лично меня — нет. И даже шире — я думаю, что не только мне, но и евреям вообще без конституции хуже. Евреям, в силу их природных особенностей, нужно каждый пункт продумать до конца, что англичанину, может, вовсе не требуется. Вообще, мое недовольство израильской демократией связано не с тем, что она “плохая”. Может быть, она даже самая лучшая в мире, вполне готов согласиться. Но она, на мой взгляд, — не такая, какая, нам, евреям, применительно к нашим, израильским условиям, нужна. Вот еще один пример: у нас до сих пор отсутствуют четко обозначенные демократические права человека, как гражданина страны. Права человека в нашем обществе, с одной стороны, различны в зависимости от того, верующий этот человек или неверующий (поскольку вопросы брака и развода отданы на откуп религиозным партиям), а с другой стороны — в зависимости от того, еврей этот человек, друз или араб. Меня, как гражданина страны, это оскорбляет. Конечно, я бы очень хотел, чтобы все арабы покинули Израиль, но с другой стороны, зная, что у этого араба есть такое же гражданство, как у меня, я хочу, чтобы у него были такие же, как у меня, гражданские права. Ибо если у него будут равные права, то у него должны быть и равные обязанности, и если он не будет исполнять эти обязанности, у меня будут законные основания требовать, чтобы он “убрался”. Сегодня у меня ни на то, ни на другое нет законных оснований.

Безусловно, состояние израильского общества, израильской структуры влияет на возможности и пути решения экзистенциальных проблем Израиля. Но я бы не стал располагать то и другое в какой-то последовательности: мол, сначала нужно самим “почиститься”, а уж потом заняться арабо-израильским конфликтом. Не стал бы я и прогнозировать: что и в каком случае может произойти. Я отказываюсь от прогнозов, потому что мне самому неясно — какой Израиль я хочу видеть? Я действительно не знаю, например, какой Израиль лучше — с арабами или без арабов. Меня, наверно, устроили бы оба эти варианта. Если бы арабы были стопроцентными израильтянами, ощущали бы себя гражданами страны так, как я им себя ощущаю, меня такие арабы, как сограждане, вполне устраивают. Если они на это не готовы или не

согласны в принципе, меня устраивает Израиль без них. Единственное, что меня не устраивает и что составляет мою главную претензию к израильскому политическому руководству, — что мы этого выбора перед арабами не ставим. Все остальное зависит от них. Они решат — быть им лояльными гражданами этой страны или покинуть ее. Но мы должны поставить перед ними этот выбор. Мы поставим, а они пусть решают — я не хочу им навязывать.

Я не боюсь утраты “еврейского характера” государства, которой часто пугают нас противники сосуществования еврейского большинства с большим арабским меньшинством. Мне ясно, что язык и культура такого бинационального общества будут ивритскими — и я, кстати, не думаю, что такие арабские писатели, как, к примеру, Антон Шаммас, достигнут в этой культуре меньшего, чем собственно еврейские авторы. Возможно, что палестинцы, как давние жители этой земли, в чем-то вообще являются более “подлинными евреями”, чем я, — вполне готов это допустить. Что остается? Иудаизм? Но он не охватывает и добрую половину израильских евреев. Я не думаю, что иудаизм — то единственное, что “нас всех” здесь объединяет. Это напоминает мне разговоры о том, что иудаизм, якобы, сохранил еврейство. Жаботинский говорил, что напротив — это еврейство сохранило иудаизм. Израиль — это исторический шанс иудаизма, а не наоборот. Конечно, я не берусь предугадывать, как пойдет развитие культуры, религии, социальных отношений при наличии большого арабского меньшинства, но во всяком случае, такое развитие меня не пугает. Не пугает меня и угроза якобы неизбежной при этом “левантизации”. Я сторонник западного пути, но не вижу в нем абсолютной ценности — может быть, нам (с арабами или без них) действительно удастся найти свой особый путь между Западом и Востоком? Не знаю, все это непредсказуемо...

Я не думаю, что моя готовность к сосуществованию с арабами так уж выделяет меня среди прочих израильтян. Действительно, часто приходится слышать рассуждения, что израильтяне, якобы, чуть не поголовно мечтают “в один прекрасный день проснуться и увидеть, что арабов больше нет”. Но я думаю, что, на самом деле, они мечтают о другом: проснуться и увидеть, что нет больше арабо-израильской проблемы. Они просто не могут этого правильно сформулировать. На самом деле, вопрос здесь не в наличии или отсутствии арабов, а — в отношениях между арабами

и евреями, между палестинцами и израильянами: жить им вместе или порознь. Сводить это к спору из-за территорий значит безнадежно запутывать весь вопрос. Большинство арабов Иудеи, Самарии и Газы — это беженцы с тех территорий "собственно Израиля", которые вообще никто отдавать не думает (нельзя же всерьез обсуждать возвращение беженцев Хайфы, Тель-Авива и так далее)! Я, например, живу в поселении в Шомроне. Я живу там, во-первых, потому что мне там нравится; а во-вторых, потому что я не вижу разницы между этими и теми: все они для меня — территория моей страны, где я хочу жить, и которую я не хочу отдавать потенциальному противнику, стремящемуся вытеснить меня вообще со всех территорий. Я не хочу вести разговор о территории Израиля, я готов вести разговор лишь о том, будут эти полтора миллиона арабов жить в Израиле или предпочтут уйти. Поэтому я и говорю, что вопрос — не в территориях, а в самих арабах. Нам давно пора, повторю еще раз, четко поставить перед ними выбор: готовы они быть полностью лояльными гражданами государства Израиль или, не будучи способны на такую лояльность, готовы (добровольно или нет) покинуть это государство. Я не знаю, каким будет их решение, если мы поставим перед ними такой выбор. Боюсь, что сегодня арабы сами готовят себе трансфер, ибо все дальше уходят от возможности стать израильянами.

Я говорю обо всем этом так много, потому что арабо-израильская проблема кажется мне, как я уже сказал, центральным узлом всех израильских проблем, начиная с проблемы самого нашего существования. От ее решения, насколько я вижу, зависит будущее страны. То или иное решение этой проблемы может радикально изменить условия, в которых мы будем жить и решать другие наши вопросы. Но чего я, к сожалению, не вижу — это готовности к такому решению, даже к постановке выбора — ни с арабской, ни с израильской стороны. Я не вижу ни в одной политической партии Израиля тех лидеров, которые были бы способны на судьбоносные решения. Я не вижу даже просто крупных политиков, которых можно было бы сравнить с деятелями прежних поколений. И я не вижу партий с четкими программами. Остается одна лишь политическая игра, и выборы — это всего-навсего еще один ее акт. Поэтому я не возлагаю на эти выборы никаких особых надежд.

Предстоящие выборы часто называют “судьбоносными”. Имеется обычно в виду, что “главная проблема” Израиля — проблема палестинцев и территорий — настолько обострилась в результате недавних событий, что именно она будет стоять в центре межпартийной борьбы. И именно о ней народ, избиратели должны вынести решение, от которого будет зависеть судьба государства.

Я не могу с этим согласиться. Палестинская проблема существует уже много лет и, соответственно, может существовать еще много лет. Конечно, сейчас очень острый, кризисный момент. Но это вовсе не значит, что этот кризис — смертельный. Он может быть разрешен сегодня, а может быть не разрешен, как-то эволюционировать, сместиться куда-то. Насколько я понимаю, различие между позициями Маараха и Ликуда как раз и заключается в том, что Маарах считает, что этот кризис нужно разрешить как можно скорее, потому что он “отравляет” атмосферу израильской жизни, сам народ. Именно это, как мне представляется, больше всего беспокоит Маарах. Это то, о чем говорит Перес. В то же время Шамир рассуждает как реалистичный, прагматичный политик, который надеется, что в конечном итоге будет найдено какое-то политическое сосуществование — на его условиях.

Какая реальность стоит за этими позициями? События на территориях действительно резко изменили ситуацию. Во многом, как ни странно, к выгоде Израиля, во многом — к его невыгоде. Несомненно, эта ситуация отравляет наше сознание, нашу психику. Тут я согласен с мнением Маркса о том, что “не может быть свободен народ, который угнетает другие народы”. В стране растет жестокость, дикость, отход от традиционных еврейских ценностей — милосердия, доброты, понимания других людей, либерализма. И напротив, усиливается все, что мы обычно — кто с неприязнью, кто с завистью — связывали с “гойством”. Разумеется, “еврейские” качества вовсе не были изначально присущи евреям как народу. Евреи — такой же народ, как все. Но исторически сложилось так, что евреи в рамках европейского общества — будучи народом угнетенным и добиваясь равноправия — понимали, что их единственный шанс — это поднять знамя гуманистических, либеральных ценностей. Не случайно ведь всегдашнее

обвинение евреев (со стороны европейских националистов) состояло в том, что они, якобы, "расслабляют" другие народы, что они чужды героике, мужественности, воинским доблестям и так далее. Сегодня кое-кто у нас восхваляет утрату гуманистических ценностей, полагая, что происходит такая "девестернизация", отход израильтян от ориентации на западные нормы. Мне это кажется чрезвычайно недалёковидной оценкой. Девестернизация — это как раз то, на чем строит свои расчеты Арафат и что может привести, в случае осуществления, к ликвидации государства Израиль.

Однако всю нашу ситуацию на территориях можно оценивать и без привлечения морально-этических и идеологических соображений, просто в терминах реальной политики.

Сегодня в эти политические рассуждения вошел еще один, на мой взгляд — новый элемент. События на территориях, повторяю, принесли Израилю не только понятный ущерб, но и определенный выигрыш. Они показали арабам, что палестинцы территорий не хотят следовать в фарватере арабской политики. Они не хотят ни власти Хуссейна, ни власти Асада. Они хотят своей власти, они борются за свои интересы. Но за и х интересы никто из соседей не станет всерьез воевать. Никто не станет таскать для них каштаны из огня. Израильские политики включают этот момент в свои нынешние расчеты возможных решений. Понимая это, палестинцы все свои надежды строят на демографии. Палестинская демографическая угроза — это то, что над нами висит. Хотим мы этого или нет, но реальность такова, что перед нами — новое поколение палестинцев, с новой идеологией и психологией, и их становится все больше и больше. Мы потеряли очень много времени в расчете, что как-то все само собой образуется. Единственный человек, который пытался что-то сделать, был Шарон, который надеялся, разгромив Арафата в Ливане и одновременно свергнув Хуссейна, создать палестинское государство на восточном берегу Иордана. Видимо, эти дерзкие планы о казались не слишком обоснованными и потому провалились.

Тем не менее, повторяю, даже необходимость как-то решить палестинский вопрос, осознаваемая сегодня и правыми, и левыми в Израиле, не делает предстоящие выборы судьбоносными. Предположим, что они принесут победу Ликуду. Опросы показывают, что Ликуд может сформировать правительство лишь в том случае, если привлечет все партии справа от центра, от Мафдала до

Кахане. Это и практически-то с трудом представимо. Но главное, что правительство, опирающееся на 61 мандат, не будет иметь достаточной силы, чтобы предпринять что-то решительное. Предположим, что победит Маарах. Это будет примерно такая же победа — опирающаяся на все партии слева от центра, вплоть до коммунистов. Я не сомневаюсь в желании лидеров Ликуда и Маараха что-то сделать и решить. Но я сомневаюсь, что выборы, то есть избиратели, дадут им такую возможность.

Политика ухода партий и общества от решений стала хронической в Израиле. Маарах потерял многолетнюю власть именно потому, что в последние годы, особенно после войны Судного дня, стал избегать решений. Ликуд, придя к власти в 1977 году, сначала действовал весьма энергично, но после Ливанской войны уподобился своему предшественнику и впал в летаргию. Обе наши ведущие партии обнаружили одинаковую идиосинкразию к действенной, активной политике — и обе после соответствующей войны. Впрочем, тут я бы внес важное уточнение. Я полагаю, что нынешнее бездействие этого правительства объясняется во многом определенными личными особенностями премьера Шамира. Это добросовестный, внимательный, трудолюбивый человек. Но он слишком осторожен. Когда он что-то хочет подготовить, он готовит необычайно тщательно, хочет взвесить все последствия. Бегин — тот умел рисковать, потому что знал, что все осложнения все равно не сосчитать. Поэтому Бегин пошел на Кемп-Дэвид, а Шамир не посмел — воздержался.

В какой-то степени особенности нынешнего израильского правительства отражают, на мой взгляд, особенности нынешнего состояния общества в целом. Оно тоже осторожничает, опасается чересчур рискованных решений. По правде говоря, ему есть чего опасаться. Мы действительно находимся в ситуации, где любая ошибка может стать непоправимой. Интуитивный выбор в таких условиях может оказаться весьма опасным. Мы имеем дело с непредсказуемым противником, который в любой момент может нанести чудовищный удар — сам себе. Вот, в разгар событий на территориях в шиитской общине Ливана Амаль и Хицбола начинают междоусобную борьбу за кормушку, результатом которой оказывается шестьсот убитых за две недели! Предсказать действия такого безумного противника невозможно, а стало быть строить какие-либо планы урегулирования необычайно трудно.

Раньше израильское общество было менее осторожно. Оно,



например, пошло на риск Кемп-Дэвида. Оно пошло на риск Ливанской войны. Вряд ли оно сейчас пошло бы на такие рискованные действия. Конечно, есть в нашем обществе и такие элементы, которые готовы рисковать. Мне представляется, что эта готовность определяется психологическим складом личности. Вот, например, Перес кажется мне человеком такого дерзкого склада.

Есть еще одна область нашей жизни, о которой особенно много говорят в преддверии выборов, оценивая перспективы страны. Это — проблема демократии. Одни утверждают, что израильской демократии угрожают опасные сдвиги общественных настроений — в сторону шовинизма, ксенофобии и тому подобное, другие (по данным последних опросов — 45 процентов) считают, что в нынешних условиях демократия для Израиля — чрезмерная роскошь, нужна “сильная рука” и так далее. Этот разброд во мнениях соответствует той общей растерянности перед требованиями времени, которую я вижу сегодня в израильском обществе. Наше общество напоминает сегодня подростка, вступившего в период полового созревания. Оно так же “меняется к худшему”, теряет детскую привлекательность, грубеет и развязно себя ведет. На мой взгляд, это — болезнь роста, не более. Когда мне указывают на обострение религиозно-секулярного конфликта, трудности в экономике, примеры коррупции, я отвечаю, что все это — признаки не столько глубинного кризиса (и уж, конечно, не надвигающегося апокалипсиса), а свидетельство естественного роста. И именно этот рост, это новое, еще непривычное ощущение самого себя в качестве деятеля, субъекта истории — вот источники той растерянности, которая, на мой взгляд, характерна для нашего общества накануне нынешних выборов. В значительной степени это наше состояние связано с необходимостью менять не только себя и свое общество, но и свой стереотип отношений с соседями. Раньше израильтяне ощущали себя в регионе носителями высшей культуры, высшей морали, высшей цивилизации — среди дикарей и варваров, которые понимают только язык силы. Возможно, так оно и было. Возможно, эта модель когда-то вполне соответствовала реальности. Но внедрившись в этот мир, израильтяне сами его изменили. Арабы стали ощутимо другими и буквально за последние годы. Они нас догоняют на нашем же пути. Это не значит, что Израиль снизил свой уровень, замедлил развитие или сошел с

западного пути. Напротив, — глядя вокруг, я вижу необычайно динамичную страну, с массой новостроек, со всеми признаками непрерывного роста. Но есть другое: одновременно с невероятной быстротой развиваются и наши соседи. И особенно большое воздействие мы оказали на тех арабов, которые живут с нами рядом и уже многие годы непрерывно подвергаются нашему политическому "облучению", — на палестинцев. Раньше они действительно ничем не отличались от прочих арабов, и согласен — не имели признаков отдельного народа. Но сегодня они поднялись на совершенно иной уровень. С ними уже нельзя обращаться как с существами второго сорта, как раньше: вызвали мухтара и дали ему "установку"...

И это возвращает меня к размышлениям об израильской демократии. Я думаю, что демократические ценности нашего общества в последние годы действительно размываются. Как может быть иначе? Арабские граждане нашего государства составляют уже сейчас 18 процентов. Если мы подключим к ним жителей территорий, даже без беженцев, их будет 30 процентов, с беженцами — все сорок. А это означает сорок-пятьдесят членов парламента. Такая перспектива не может не пугать евреев-израильтян. И вот появляются всевозможные поиски ограничений нашей демократии — так, чтобы она не вполне распространялась на арабов. 55 процентов евреев-израильтян, согласно данным недавнего опроса, высказываются против того, чтобы предоставлять палестинцам равные права. А чтобы хоть как-то подкрепить эти явно антидемократические взгляды, выдвигаются "теории", оправдывающие существование, даже необходимость существования в стране "граждан второго сорта", — соображения безопасности, лояльности и тому подобное. Между тем многие палестинцы — именно благодаря нам — сегодня уже отнюдь не граждане второго сорта. И отказать им в правах на законных основаниях будет чрезвычайно трудно. Хотя соображения безопасности и лояльности тоже нельзя сбросить со счетов.

Я не вижу иного пути предотвращения этих противоречий, кроме "избавления от арабов". Не в смысле насильственного трансфера, конечно, но в смысле какого-то политического решения, которое ликвидировало бы угрозу практического превращения Израиля в бинациональное государство — или государство с жителями двух сортов. Мне представляется, что такое желание:

обеспечить будущее Израиля именно как однонационального государства — главная подспудная идея всей политики Маараха. Именно поэтому я намерен на выборах голосовать за Маарах. Ликуд и все сочувствующие ему партии и группы не считаются с этой угрозой, они готовы включить в состав государства еще миллион, даже полтора миллиона арабов — жителей территорий. Это фундаментальное различие — даже не политических, а психологических позиций — мне представляется отражением того этнического деления израильского общества, на которое опираются его основные политические партии. Ведь Маарах опирается, прежде всего, на ашкеназов, которые стремятся быть в своей “еврейской компании”, не хотят, чтобы это огромное восточное море, раздражающее их культурно и психологически, определяло всю их жизнь. Ликуд же опирается, в основном, на сефардов, которые всегда жили среди арабов, привыкли к этому. Раньше арабы ими командовали, теперь они будут с таким же вкусом командовать ими, но само, так сказать, “культурологическое поле” такой жизни не представляется им чем-то неприемлемым.

Кое-кто говорит, что за этой ментальностью, якобы, стоит будущее. Говорят о неминуемой “сефардизации” Израиля, о его неизбежном превращении то ли в “средиземноморскую”, то ли в “ближневосточную” страну. Я решительно не хотел бы такого превращения, как бы это идеологически ни оправдывалось и ни возвеличивалось. И не хотел бы, хотя бы потому, что вижу, как окружающий нас “ближневосточный регион” в действительности сам тянется к вестернизации. Наши соседи хотят быть такими, как мы, а в это время идеологи нашей “девестернизации” призывают нас стать похожими на наших соседей! Они обрекают нас лишь на то, что если сейчас нас не любят завистливой нелюбовью отставших к вырвавшемуся вперед, то тогда мы будем окружены презрительной и обидной нелюбовью к провалившемуся неудачнику...

В то же время я понимаю, что, живя в регионе, взаимодействуя с ним, мы не можем не учитывать его динамику, его особенности. Все это диктует поиски новых путей. На новые пути толкают нас и наши собственные, внутренние проблемы. Несомненно, все это меняет облик Израиля, как еврейского государства. Наши связи с мировым еврейством ослабевают, наши отношения с ним и к нему меняются. Меня особенно тревожит, что это происходит в отношении русского еврейства. Когда сейчас

некоторые израильские деятели с возмущением говорят о том, что 90 процентов советских евреев едут "мимо" Израиля, они говорят, в сущности, о своих собственных ошибках. Эти евреи вполне законно едут "мимо". Говорят, что у Израиля нет средств на "алию де-люкс". Но это демагогия. Пятнадцать лет назад государство было еще беднее, тем не менее тогда оно почему-то могло обеспечить каждую семью дешевой квартирой. Значит, тогда средства были. Куда же они делись? Они пошли на более активную политику. Но в результате борьбы за территории мы теряем людей, которые эти территории могли бы заселить. Нельзя призывать людей подражать первым сионистам-пионерам — те были преимущественно бессемейными одиночками. А у семейного человека есть д у х о в н а я потребность и обязанность — именно духовная, а не материальная: обязанность обеспечить свою семью. Конечно, у него есть обязанности перед своей страной, но можно ли их противопоставлять его обязанностям перед собственными детьми? Как ехать в страну, если не знаешь, будет ли у тебя жилье, сумеешь ли ты на него заработать? Высокие лозунги хороши, но к ним нужно добавить реальные земные возможности. Сегодня советских евреев пытаются воспитывать исключительно высокими лозунгами.

Как произошел такой сдвиг в отношении к алии? Он был порожден общественными настроениями. Израильское общество действительно отрывается, отчуждается от еврейства диаспоры, в частности — от советского еврейства. Растет ощущение, что особенно стараться их привлечь и не стоит — заниматься нужно, прежде всего, своими проблемами, заботиться о себе. И на этой волне настроений правительству уже легко было сдвинуть акценты с алии на "активную политику". И соответственно перебросить средства.

Да, сдвиги в настроениях общества происходят — и не всегда это сдвиги к лучшему. Несомненно Израиль меняется в сторону "национально-государственного эгоизма", зачастую сопряженного с высокомерием, глухотой к чужому мнению, склонностью к самооправданию любой ценой и прочими малоприятными особенностями. Как только у нас появилось собственное государство, оказалось, что "ничто гойское нам не чуждо". Я подозреваю, что оно не было нам чуждо и тогда, когда мы проповедывали европейским народам мораль наших пророков и их призыв к всеобщему миру. Я подозреваю, что многие евреи всегда

испытывали тяготение и к другой стороне жизни — к действию и утверждению себя в истории. Но сегодня, мне кажется, в мас-се израильтян возобладало увлечение уже не просто действием, а — силой.

Уместно тогда спросить: куда же оно идет в целом, наше общество, наша страна? К каким высоким целям она призвана? Я не всегда понимаю: какие такие "высокие цели" нужны народу? Разве создание собственного государства, жизнь в нем и улучшение этой жизни не являются сами по себе достаточно высокой целью? Единственная особая, подлинно израильская "миссия", которую я могу себе представить, — это служить моделью и образцом цивилизации для остальных стран нашего региона. Это не задуманная кем-то, но естественно возникающая миссия. Мы стали таким образцом в силу того, что уже сделали. Эти страны стремятся к вестернизации, к современной цивилизации. Но Европа для них — слишком далека, она живет в своих условиях, по своим традициям. Мы же живем среди них и показываем им, что можно даже в пустыне, даже без полезных ископаемых вырастить сады, насадить леса, создать культуру, попасть в центр мирового общественного мнения. Если когда-то Израиль, говоря в религиозных терминах, оказался "призван" распространить в мире единобожие, то, может, сейчас он "призван" распространить на восток западную цивилизацию, ее ценности и нормы?

Впрочем, я не могу сказать, что меня лично привели в Израиль соображения, связанные с какой-то его особой "миссией". Не был это и антисемитизм: я испытывал его в России только со стороны государства, но не людей, — люди ко мне всегда относились хорошо. И еврейских корней у меня, в сущности, не было. И тем не менее я не только приехал в Израиль сам, но и уверен, что каждый нормальный еврей должен жить именно здесь. Ибо только в Израиле я — сейчас я говорю именно о себе — могу говорить так и то, что и как говорю сейчас. Я имею совершенно законное — даже с точки зрения моих политических противников — право судить о делах этой страны. Этого права у меня никто не оспаривает. Я могу — с точки зрения тех же противников — быть неправым, ошибаться, заблуждаться, быть (в их глазах) даже "врагом народа", но — как часть этого народа. То есть я — естественная составная часть этой страны. И это — то комфортное состояние, которое меня чрезвычайно устраивает. Я не искал только свободы — свобода есть везде на Западе, я искал чувства

принадлежности. Больше того — я не стану уверять, будто еврей не может иметь такого чувства, живя в других странах. Скажем, по моему ощущению, у очень многих евреев в Соединенных Штатах это чувство есть. Но там оно обычно появляется во втором-третьем поколении. А я хотел попользоваться этим на своем веку. Быть членом такого государства, где все, что я говорю, воспринимается, как слова своего — пусть дурака, пусть подлеца, пусть изменника, но — своего. Поэтому мне особенно важен психологический, духовный, демократический климат моей страны. Если сегодня этот климат меня не устраивает, я его должен менять. Если он меняется не в том направлении, в каком мне хочется, это я виноват. Я — сотворец этой страны. Именно с таким чувством я иду на ее очередные выборы — участвовать в решении ее будущего.

**Авторы раздела:**

*А. Этерман — писатель и публицист, ответственный редактор религиозного журнала "Направление"; живет в поселении под Иерусалимом.*

*А. Азбель, С. Рузер, Я. Цигельман, В. Богуславский и М. Хейфец — репатрианты из СССР в Израиле, бывшие активисты еврейского движения.*

!!      новая книга      !!      новая книга      !!      новая книга      !!

**Игорь Губерман**

## **ГАРИКИ**

Объем 160 стр.

Цена 20 шекелей

"Гарики" — новое название широко известных и любившихся читателем "Еврейских дацзыбао". Каждый "гарик" — это глубокая мысль, упрямая в блистательно остроумную форму. В новой книге Игоря Губермана ровно 400 "гариков", и рецензенты не случайно говорят, что "эта книга сильнее, чем "Философская энциклопедия" ". И уж, конечно, смешнее. Торопитесь приобрести эту маленькую настольную энциклопедию веселого житейского опыта и печальной жизненной мудрости, созданную Игорем Гариком-Губерманом и изящно оформленную художниками Е. Сарни и А. Окунем. Заказы и чеки по адресу: I. Guberman, P. O. B. 11152, Gilo, Jerusalem.

Во второй половине тридцатых годов в Западной Европе появилась банда таинственных убийц. Совершенным ею преступлениям — если учесть их влияние на последующие политические события — вряд ли можно найти параллель в летописи политических убийств за всю историю человечества. Группу эту составляли агенты советской тайной полиции (тогда НКВД, ныне КГБ), действовавшие в рамках специальной террористической организации. Существование группы стало известным благодаря нескольким сенсационным событиям, среди которых наиболее шумевшими были ликвидация в сентябре 1937 года в Швейцарии Игнация Рейсса, бывшего сотрудника НКВД, похищение на улицах Парижа белого генерала Евгения Карловича Миллера спустя неделю после смерти Рейсса и убийство сына Троцкого, Льва Седова, в парижской больнице в 1938 году. Хотя группа базировалась в Париже, ее щупальцы проникли и в Испанию, где в июне 1937 года был выкраден из полицейской тюрьмы левый антисталинист Андреу (Андрес) Нин. А в 1940 году ведущий член группы Леонид Эйтинген руководил убийством Троцкого в Мексике.

Эта террористическая груп-

*Стивен Шварц*

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ И УБИЙЦЫ —  
ИЗ АННАЛОВ СТАЛИНСКИХ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

па состояла из примечательных людей, ни один из которых не напоминал обычных героев преступной хроники. Большинство из них принадлежали к интеллектуальной элите — поэты, художники и ученые. Современный историк, сотрудник американской военной разведки Джон Дзак недавно привлек внимание к почти невероятной, ранее никем не замеченной стороне деятельности этой группы. В своей книге “Чекисты: история КГБ” Дзак рассказывает, что одним из руководителей похищения генерала Миллера был не кто иной, как ближайший личный сотрудник Зигмунда Фрейда, один из столпов психоаналитического движения в Европе доктор Макс Эйтинген (иногда неправильно именуемый Марком), брат Леонида Эйтингена.

Дзак приводит убедительные доказательства того, что доктор Эйтинген участвовал также в подготовке тайного процесса 1937 года, в результате которого высшие руководители Красной Армии, включая ее наркома и восьмерых маршалов, стали жертвами сталинской истребительной машины. Как показал ранее американский историк Роберт Конквест, для получения “доказательств” вины этих генералов террористическая группа Эйтингена вошла в контакт с руководителем гитлеровской контрразведки Рейнхардом Гейдрихом.

Сотрудник Фрейда доктор Макс Эйтинген не был единственным известным интеллектуалом, вовлеченным в деятельность группы советских террористов. Другой ее член, психолог и антрополог Марк Зборовский ныне живет на пенсии в Сан-Франциско. Еще один, Сергей Эфрон, был мужем русской поэтессы Марины Цветаевой. В своей мексиканской операции против Троцкого Леонид Эйтинген заручился поддержкой художника Альфара Сикейроса, который лично возглавил массированную вооруженную атаку на дом Троцкого в мае 1940 года, за три месяца до удачного покушения. И, как свидетельствует в своих воспоминаниях тогдашний глава мексиканской полиции генерал Санчес Салазар, отвечавший за расследование дела Троцкого, поэт Пабло Неруда был отстранен от службы в чилийском посольстве в Мексике за участие в группе Эйтингена, выразившееся в предоставлении Сикейройсу выездной визы, которая позволила тому избежать преследования мексиканской полиции.

Трудно поверить, что члены интеллектуальной элиты принимали участие в подобных низменных действиях. Тем не менее, доказательства против них до сих пор никем не оспариваются, хо-



тя они циркулируют в печати уже довольно давно. Помимо Дзяка, расследованием деятельности группы Эйттингена—Эфрона—Зборовского и ее связей с центром НКВД в Москве занимались также французский историк Пьер Бруе и американский советолог Натали Грант.

Одним из первых шагов специальной группы было появление молодого русского “эмигранта”, некоего Льва Нарвича в штаб-квартире диссидентской марксистской партии, Партит Обрер д’Унификацио Марксиста (ПОУМ), в Барселоне в начале 1937 года. Нарвич, выдававший себя за противника советской политики в Испании, вскоре добился интервью у Андреу Нина, хорошо известного каталонского писателя и ведущего деятеля ПОУМ. После этого Нарвич, который одновременно был и фотографом, стал добиваться разрешения заснять руководителей партии и ее активистов в их барселонской штаб-квартире. А затем последовал удар. 16 июня в результате советского давления на республиканское правительство Испании все руководители ПОУМ, включая Нина, были арестованы по обвинению в государственной измене. Спустя несколько дней Нин исчез из барселонской тюрьмы. Его никогда больше не видели. Сегодня даже руководители испанской компартии признают, что Нин был убит по приказу Сталина. Фотографии Нарвича были использованы для опознания зарубежных сторонников ПОУМ. Джордж Орвелл, который оказался в Барселоне вскоре после этих арестов, но затем бежал из Испании из боязни оказаться в руках сталинских убийц, спасся, видимо, именно потому, что его не было на фотографиях Нарвича.

В Париже Нарвич входил в так называемый Союз репатриации зарубежных русских эмигрантов. Эта организация была создана советской разведкой для прикрытия деятельности, направленной на внедрение своих агентов в эмигрантскую среду. С этой организацией были связаны и четыре других члена специальной террористической группы — генерал Николай Васильевич Скоблин, его жена Надежда Плевацкая, доктор Макс Эйттинген и Сергей Эфрон, которые имели отношение к убийству Игнация Рейсса и похищению генерала Миллера. Игнаций Рейсс (в действительности Игнатий Порецкий), уроженец польской Галиции, был высокопоставленным офицером советской военной разведки, отвечавшим за ее операции в Швейцарии. Созданная им сеть включала также некоего Ноэля Филда, американца, связанного с знаменитым коммунистическим агентом Алджером Хиссом, разо-

блаченным впоследствии в Соединенных Штатах. В начале 1937 года Рейсс, узнав о готовящейся операции против ПОУМ и Андрею Нина, отказался от службы в НКВД, бежал на Запад и в резком разоблачительном письме, адресованном лично Сталину, заявил о своей солидарности с Троцким. После этого он ушел в подполье. Однако агенты специальной группы выследили его вблизи Лозанны и 4 сентября 1937 года ликвидировали его. Один из пособников убийц был пойман швейцарской полицией, и с этого момента началось распутывание советской конспиративной сети. Тем не менее террористам еще удалось осуществить некоторые из своих планов.

22 сентября 1937 года "русский" Париж облетела весть о похищении генерала Миллера. На его квартире было обнаружено письмо, в котором он сообщал, что отправляется на заранее условленное свидание с двумя другими русскими эмигрантами — генералом Скоблиным и неким Вадимом Кондратьевым. Запросив швейцарских коллег, французские следователи довольно быстро установили, что Вадим Кондратьев, подозреваемый — вместе с Эфроном — в убийстве Рейсса, является помощником и приятелем генерала Скоблина. Главные подозрения полиции сосредоточились на Скоблине, который, как оказалось, служил посредником между НКВД и Гейдрихом. Однако Скоблин тотчас исчез из Парижа. Удалось арестовать только его жену, знаменитую тогда исполнительницу русских народных песен Надежду Плевацкую. Суд приговорил ее к тюремному заключению за соучастие в похищении генерала Миллера. Три года спустя она умерла во французской тюрьме. Именно на ее процессе вскрылись подробности участия в деятельности советской террористической группы доктора Макса Эйтингена.

Примерно в то время, когда Нарвич появился в Барселоне, генерал Скоблин вошел в контакт с главой германской службы безопасности СД ("зихердинст") Рейнхардом Гейдрихом. Скоблин сообщил Гейдриху о якобы существующем сговоре между германским генеральным штабом и теми советскими генералами, которые впоследствии были осуждены на тайном московском процессе. В обмен за "любезность" Гейдрих сфабриковал документы, "подтверждающие" этот конспиративный генеральский сговор. Эти документы через Скоблина были переправлены в Москву. В июне 1937 года высшее советское военное руководство было расстреляно за "измену родине". С этого началась массо-

вая "чистка" в рядах советского комсостава, которая практически обезглавила Красную Армию к моменту гитлеровского нападения в июне 1941 года. Детали этой операции были впервые опубликованы бежавшим из СССР Вальтером Кривицким. В своей книге Кривицкий утверждает, что генерал Миллер был похищен именно потому, что ему стало известно о подделке "доказательств" по делу советских генералов.

Следующий шаг в распутывании этой сложной операции сделал уже упомянутый Джон Дзак, который установил, что Скоблин и Плевицкая были завербованы в специальную группу доктором Максом Эйтингеном. Эту догадку подтверждают и другие историки, занимавшиеся расследованием деятельности группы. К моменту похищения генерала Миллера доктор Эйтинген уже выехал в Палестину, где он еще ранее создал собственный психоаналитический институт. Советские историки-диссиденты Виталий Раппопорт и Юрий Алексеев в книге "Измена родине" утверждают, что доктор Эйтинген, исполняя указания своего брата Леонида, согласился "вести" Скоблина и Плевицкую (то есть быть агентом, контролирующим их деятельность). На процессе в Париже Плевицкая назвала доктора Эйтингена своим "финансовым ангелом-благодетелем". Вскоре после того, как доктор Эйтинген покинул Европу, бежал оттуда и его брат Леонид. Он объявился в Мексике, где руководил убийством Льва Троцкого, используя в качестве наемного убийцы некоего Рамона Меркадера, сына женщины, с которой Леонид Эйтинген имел любовную связь.

Сын Троцкого, Лев Седов умер 16 февраля 1938 года, вскоре после операции аппендицита, сделанной в парижской больнице, хозяевами которой были русские эмигранты, связанные с "Союзом репатриации". Но его смерть не была результатом неудачной операции. Специальная группа приставила к нему своего агента Марка Зборовского, который изучал тогда антропологию в одном из парижских университетов и удачно выдавал себя за троцкиста. Зборовский, бывший член "Союза репатриантов", сумел настолько войти в доверие Седова, что тот поручил ему получать и вскрывать свою почту. Впоследствии, во время слушания в американском Конгрессе, Зборовский признал, что доставил Седова именно в эту больницу, чтобы облегчить специальной группе его похищение. При этом Зборовский утверждал, что ему не было известно намерение главарей группы: ликвидировать

ровать Седова. Однако документы французской полиции доказывают, что Седов был убит прямо на больничной койке. Более того, существуют факты, указывающие, что именно Зборовский навел специальную группу на след Игнация Рейсса в Швейцарии.

Специальная группа имеет на своем счету и другие политические убийства — например, одного из секретарей Троцкого, Эрвина Вольфа, который при загадочных обстоятельствах исчез в Испании, и Рудольфа Клемента, видного немецкого троцкиста, обезглавленный труп которого был обнаружен в водах Сены в Париже.

Сергей Эфрон и его жена Марина Цветаева бежали из Франции вскоре после убийства Рейсса и похищения генерала Миллера. В течение двадцати лет Эфрон обманывал свою жену, выдавая себя за убежденного белогвардейца и антикоммуниста. Он даже сумел убедить ее отправиться с ним в Россию. Там он стал жертвой “великой чистки”. Цветаева, как известно, покончила жизнь самоубийством.

Марк Зборовский, эмигрировавший в Соединенные Штаты, был разоблачен в начале 50-х годов как сотрудник советского КГБ. В обмен на смягчение приговора он выдал шпионскую сеть КГБ в Америке и, отбыв небольшой срок наказания, вернулся к занятиям антропологией, в которых добился заметных профессиональных успехов: к моменту ухода на пенсию он заведовал одним из отделений больницы Маунт-Сион в Сан-Франциско. Его роль в описываемых событиях не придумана — она подробно описана многочисленными историками, включая Исаака Дейтчера, автора обширной биографии Троцкого. В книге Джона Дзяка все эти детали сведены в одну впечатляющую картину.

Кем же были братья Эйтингены? О Леониде Эйтингене мы знаем сравнительно мало. Не удалось обнаружить даже его фотографии. Считается, что он был выдающимся экспертом КГБ по всем делам, связанным с русскими белоэмигрантами и троцкистами. Для прикрытия своих подлинных целей он выдавал себя на Западе сотрудником советской пушной фирмы.

Зато о его брате, докторе Максе Эйтингене известно достаточно много. Доктор Эйтинген родился в России в 1881 году. По завершении занятий медициной он некоторое время практиковал, а затем выехал в Европу, где вскоре установил близкие отношения с Фрейдом. Он даже вошел в так называемый “комитет семи”, созданный Фрейдом для защиты психоаналити-

ческого движения от постоянных антисемитских нападок. В этот комитет, кроме самого Фрейда, входили также его биограф Эрнест Джонс и ближайшие ученики Отто Ранк, Карл Абрахам, Сандор Ференчи, Ганс Закс. На широко известной фотографии "семерки", постоянно висевшей в приемной Фрейда и часто воспроизводившейся в книгах о нем, доктор Эйтинген стоит во втором ряду, позади Фрейда, между Абрахамом и Джонсом, — невысокого роста, лысоватый человек с острым взглядом.

С 1925 по 1937 год Эйтинген был ближайшим сотрудником Фрейда. Абрахам умер, Ференчи и Ранк отошли от учителя, а Закс и Джонс плохо подходили для той роли, которую добровольно взял на себя Эйтинген — помогать тяжело больному Фрейду и защищать его от внешнего мира. Фактически, Эйтинген стал личным секретарем Фрейда. Анна Фрейд одно время была даже влюблена в него. Уже в 1922 году Фрейд писал Эйтингену: "Я хотел бы, чтобы наши отношения, которые из дружеских стали почти семейными, продолжались до конца моих дней".

В книгах по истории психоаналитического движения часто упоминается, что доктор Эйтинген был единственным его членом, имевшим независимый доход; говорят, что он вложил "семейный капитал" в создание психоаналитического института в Берлине. Некоторые биографы Фрейда утверждают, что капитал семьи Эйтингенов растаял во время великого экономического краха 30-х годов. Однако документы французской полиции, основанные на показаниях Плевницкой, связывают богатство доктора Эйтингена с продажей мехов, то есть с тем же делом, которым занимался его брат Леонид.

Доктора Эйтингена нельзя назвать впечатляющей личностью. Пауль Руазен в книге "Фрейд и его последователи" пишет, что "о нем трудно сказать что-либо определенное, потому что он не был ни заметным ученым, ни выдающимся пропагандистом учения". После его смерти (в 1943 году в Иерусалиме) Ганс Закс, другой член "семерки", писал: "Макс Эйтинген сыграл выдающуюся, незабываемую роль в психоаналитическом движении, хотя его имя и не связано с развитием какого-либо конкретного вопроса теории психоанализа".

Мы, вероятно, так никогда и не узнаем, как относился доктор Эйтинген к деятельности своего брата, благодаря которой он сам оказался связанным с НКВД. Можно, конечно, утверждать, что его участие в операциях специальной группы было незначитель-

ным; но без его связей со Скоблиным ликвидация советских военных руководителей вряд ли могла бы осуществиться так легко. И в любом случае, мало удовольствия доставляет сама мысль, что ближайший сподвижник Фрейда состоял в одной компании с подручными Гейдриха.

На фотографии "семерки" доктор Эйтинген выглядит симпатичным, цивилизованным, мягким человеком. В этом он схож со многими другими членами специальной группы, имена которых мы упоминали выше. Он был интеллектуалом, а не бандитом, врачом, а не партийным активистом. Но Сикейрос и Неруда, услугами которых Леонид Эйтинген воспользовался для убийства Троцкого в Мексике, были, соответственно, художником и поэтом. Эфрон был мужем одной из величайших русских поэтесс нашего века. А Марк Зборовский приобрел широкую известность, как исследователь болевых процессов.

Может ли случай доктора Эйтингена, роль которого в деятельности специальной группы советских террористов только сейчас начала приоткрываться, служить примером того, что историк и журналист Поль Джонсон назвал "бессердечием интеллектуалов"? Или же этот психоаналитик был, как и Цветаева, запутавшейся жертвой семейной лояльности? Джон Дзьяк и другие историки считают, что участие доктора Эйтингена в истории генерала Скоблина было весьма существенным, но что мы знаем о мотивах, толкнувших его на это участие? В отличие от Цветаевой, Кривицкого, Сикейроса и Неруды, он не оставил литературного или иного наследства, которое приоткрыло бы нам, что происходило в его душе. Его брат Леонид тоже ничего не рассказывал о себе, хотя его судьба нам известна: после смерти Сталина он был арестован и брошен в тюрьму, где впоследствии умер. Такая же судьба могла постигнуть и Марка Зборовского, согласись он на многочисленные требования КГБ вернуться в СССР; он, однако, предпочел оставаться в Соединенных Штатах вплоть до разоблачения.

Если б я хотел извлечь мораль из всей этой истории, я сказал бы, примерно, следующее: когда люди Сталина искали агентов для выполнения самых отвратительных и преступных задач, они зачастую находили их не среди грязных выродков из преступного мира, а в лице профессионально образованных и культурных членов высшей западной интеллектуальной элиты — среди

поэтов, психиатров и художников, которые почему-то соглашались стать наемными шпионами и убийцами. Почему?

*Стивен Шварц – американский историк и журналист, сотрудник Института современных исследований в Сан-Франциско. Его статья впервые появилась в литературном приложении к газете "Нью-Йорк таймс" в январе 1988 года и вызвала многочисленные отклики, часть которых публикуется ниже:*

Я с большим удовольствием прочел статью Ст. Шварца. Она демонстрирует куда большее понимание, чем цитируемая им книга Дзяка. Следует отметить, однако, что измена интеллектуалов, о которой пишет Шварц, была обусловлена не столько манихейскими манипуляциями КГБ, сколько двумя другими факторами, о которых Ст. Шварц не упоминает.

Главным из них была первая мировая война с ее чудовищными потерями и тревожным предостережением человечеству, которую интеллектуалы считали, прежде всего, столкновением капиталистических гигантов. На этом фоне советский коммунизм выглядел куда привлекательней, тем более что о массовом терроре Сталина на Западе тогда не было известно. Во-вторых, основной угрозой, нависавшей в 30-х–40-х годах над Европой, была нацистская Германия, а не Советский Союз. Сталин был значительно менее разгаданной фигурой, нежели Гитлер, широко рекламировавший свои планы мирового господства и уничтожения евреев.

Игнаций Рейсс был перебежчиком из КГБ и продавал в Швейцарии важные военные секреты тому, кто больше заплатит. Случилось так, что в 1938 году таким покупателем оказалась нацистская Германия. Он был убит двумя женщинами – агентами КГБ, которых Вадим Кондратьев, упоминаемый Шварцем, привез в Лозанну и обратно в Париж. Здесь Кондратьев успел еще посетить свою мать и детей (мне было тогда восемь, а моей сестре девять лет), перед тем как сесть в Гавре на советский пароход, идущий в Россию. Вопреки тому, что предполагает Шварц, французская полиция явно не хотела арестовывать его или создавать международный инцидент.

Вадим Кондратьев был одним из группы в тридцать бывших "белогвардейцев", которым было разрешено вернуться в СССР. Все они были отправлены в Сибирь, за исключением моего отца, который умер в 1941 году в санатории КГБ на Кавказе.

*Вадим Кондратьев-мл. (Лос-Анджелес)*

Замечательный очерк Ст. Шварца может быть дополнен несколькими примечательными деталями. Среди жертв сталинских истребительных групп на Западе были также Жюль Стюарт Пойнтц, похищенный на улицах Нью-Йорка, и Марк Абрамович, сын Рафаила Абрамовича (лидера русских меньшевиков в изгнании), который сотрудничал с Андреу Нином и ПОУМ в Испании.

Давид Альфаро Сикейрос, который организовал первую попытку убийства Троцкого, бежал из Мексики с помощью Пабло Неруды и скрывался в семье дочувствующих коммунизму американцев в Бруклине, пока не сумел вернуться на родину.

Вальтер Кривицкий, за которым сталинские убийцы охотились с того момента, как он стал перебежчиком, был обнаружен мертвым в снятом им номере вашингтонской гостиницы в самом начале 1941 года. Причиной смерти было признано самоубийство. Я отлично помню, как Кривицкий говорил примерно за год до смерти: "Если придут к выводу, что я совершил самоубийство, знайте, что это дело рук НКВД". Письма, которые он отправил жене, сообщая о своем намерении покончить с собой, видимо, были частью его сделки с убийцами, имевшей целью спасти свою семью.

Наша небольшая группа радикалов и либералов, пытавшаяся в те годы организовать публичное расследование Московских процессов, всегда предполагала наличие на Западе группы сталинских убийц. Когда мы говорили об этом, нам отвечали, что мы одержимы антикоммунизмом.

*Сидней Хук (Стэнфорд, Калифорния)*

В своем содержательном очерке Ст. Шварц еще раз привлек внимание к группе интеллектуалов, которые в 1930-е годы стали пособниками советской тайной полиции и оказали ей помощь, а порой и прямое содействие, в организации похищений и убийств тех людей, которых Сталин провозгласил своими врагами.

Но именно потому, что эти интеллектуалы изменили всем ценностям цивилизованного мира, весьма существенно, чтобы обвинения против них были документированы и доказаны. В отношении одного из важнейших среди этих преступников, доктора Макса Эйтингона (Эйтингена), в очерке доказательств явно не хватает.

Будучи биографом Фрейда и прожив несколько лет в его доме, я нахожу обвинения против доктора Эйтингона странными и в высшей степени маловероятными, хотя и не могу категорически утверждать их полную несостоятельность. Разумеется, молчание самого доктора Эйтингона ничего не доказывает, как и не опровергает. Если собака не лает, это еще не значит, что она спит.

На каких основаниях Ст. Шварц приходит к своим обвинениям? Он обширно цитирует книгу Дзяка и добавляет, что его выводы находят поддержку и у других историков. Я тоже тщательно изучил всю доступную литературу о сталинской тайной полиции и пришел к следующим выводам. Нигде в английских, немецких и французских источниках нет упоминаний о докторе Эйтингоне. То же относится к публикациям, упомянутым в книгах, которые цитирует Стивен Шварц. Кто же в таком случае те "прочие историки", на которых он ссылается? Наконец, упоминания об Эйтингоне в книгах Дзяка и Алексеева-Рапопорта тоже весьма примечательны. Вторая из них является самиздатской публикацией, вывезенной из СССР и опубликованной по-английски в 1985 году (по-русски, из-



дательством ОРІ, в 1988 году, — прим. ред.). Макс Эйтингон появляется в ней дважды. Один раз говорится: "По всей видимости, Скоблин был рекрутирован органами НКВД через его жену, знаменитую русскую певицу Надежду Плевицкую. Ее начальником в НКВД был легендарный Наум Эйтингон (sic!). Ее связным был брат Эйтингона Марк". В приложении авторы пытаются свести воедино те скудные сведения, которые им удалось собрать о Науме (на самом деле — Леониде) Эйтингоне и при этом мельком замечают: "В течение многих лет он (Марк Эйтингон) был щедрым покровителем Надежды Плевицкой. На суде она сказала, что он "одел ее с ног до головы". Он финансировал публикацию двух ее автобиографических книг. Маловероятно, что он делал это только из любви к русской музыке. Более вероятно, что он действовал как связной и финансовый агент своего брата Наума". Такие ненадежные предположения никак не могут подкрепить категорическое утверждение Стивена Шварца, будто бы "... авторы однозначно заявляют, что ... доктор Эйтингон был агентом-руководителем Скоблина и Плевицкой". Здесь догадка на наших глазах необоснованно возвышается до уровня "факта". Дзяк, который является для Шварца главным источником далеко не столь категоричен. Шварц пишет, что Дзяк, якобы, "утверждает, что Скоблин и Плевицкая были завербованы доктором Эйтингоном". В действительности Дзяк ничего подобного не утверждает. В своей книге он упоминает Макса Эйтингона трижды и всякий раз мельком. Сначала он пишет: "(Леонид) был одной из самых загадочных фигур сталинской разведки. Его отец и брат были врачами и жили в Европе, при этом брат Марк (sic!) был близок с Зигмундом Фрейдом. Марк, по-видимому, был близок с генералом Скоблиным и его женой Плевицкой". Столь же осторожно пишет Дзяк и о финансовых связях Плевицкой с Максом Эйтингоном: "по-видимому, речь шла о значительных суммах, но поступали они из фондов семьи Эйтингон или из советских источников, не вполне ясно". И наконец: "На процессе всплыло имя Марка Эйтингона, но не его брата Наума. Однако советские диссидентские источники утверждают, что именно Наум организовал и осуществил похищение Миллера". В примечании, демонстрируя похвальную сдержанность серьезного автора, сознающего скудность материалов, Дзяк указывает, что "в вопросе о деятельности братьев Эйтингонов остается много неясностей". Если бы Стивен Шварц руководствовался такой же сдержанностью, он не приписывал бы своим источникам такую категоричность, которой в них нет.

Все это, разумеется, не доказывает невинность Макса Эйтингона. Однако рассказ Стивена Шварца о его взаимоотношениях с Фрейдом еще больше снижает степень доверия к его утверждениям. Шварц заявляет, что "с 1925 по 1937 годы доктор Эйтингон был ... фактически личным секретарем состарившегося Фрейда". Можно только удивляться, как это было возможно. Эйтингон жил и практиковал в Берлине и, хотя не внес заметного вклада в теорию или практику психоанализа, был важной фигурой в психоаналитическом истеблишменте. На его деньги была создана первая в Берлине психоаналитическая клиника. Однако вес придавали ему не только деньги. И в Берлине, и позже, с конца 1933 года, в Палестине, он был очень активен в организационных вопросах. В то же время Фрейд, как известно, почти не путешествовал, особенно после операций по поводу рака,

и в Берлине был всего несколько раз — для изготовления зубного протеза. Совершенно непонятно, как мог Эйтингон быть его “секретарем”, находясь в Берлине, а позже в Иерусалиме? Да Фрейд и не нуждался в секретаре, поскольку ему помогала его любящая, деятельная и умная дочь Анна.

В конечном счете, все обвинения против Макса Эйтингона восходят, как к первоисточнику, к книге Бориса Прянишникова “Незримая паутина”, опубликованной по-русски в Соединенных Штатах в 1979 году. В этой книге воспроизводятся отрывки из показаний Плевицкой на парижском процессе по делу о похищении генерала Миллера. Это, конечно, сомнительный источник: трудно предположить, что именно найдет выгодным для себя сказать обвиняемый на процессе. Но и с учетом этого, все “обвинения” Плевицкой против Макса Эйтингона сводятся к тому, что она его хорошо знала, что он был состоятельным человеком (о чем можно догадаться и без Плевицкой, зная о наличии у него клиники в Берлине и о его продуманных щедрых подарках Фрейду и другим), что она никогда не “продавалась” за деньги или подарки (в том числе Макс Эйтингону) и что в действительности Макс Эйтингон не был заинтересован в амурных приключениях.

Повторяю, все это не гарантирует его невиновности. Возможно, что у Стивена Шварца или процитированных им историков есть в распоряжении еще неопубликованные материалы, которые надежно устанавливают его вину. Но пока такие доказательства не представлены, не стоило бы упоминать имя Фрейда в одном ряду с пособниками Гейдриха, как это делает Стивен Шварц. В отсутствие убедительных доказательств следует исключить Макса Эйтингона из этой преступной компании.

*Питер Гэй (Нью-Хэйвен)*

Статья Стивена Шварца проливает свет на плохо изученный период интеллектуальной истории нашего века. Но в том, что касается Марины Цветаевой и ее мужа Сергея Эфрона, статья содержит серьезные ошибки. Цветаева не бежала в Россию “после дела Рейсса и Миллера”. Она оставалась во Франции еще около двух лет, и за это время была арестована, но в тот же день освобождена, поскольку стало совершенно очевидно, что она ничего не знала о террористической деятельности бежавшего в Россию Эфрона.

Эфрон не “притворялся перед женой в течение двадцати лет... антикоммунистом”. Цветаева знала о его просоветской деятельности, по меньшей мере, с 1932 года, но о его участии в убийствах узнала только после их встречи в Москве в июне 1939 года. Эфрон не “взял свою жену в Россию”. Она вернулась в Россию не ради мужа, а ради их сына, Георгия Эфрона.

Стивен Шварц намекает, что она была игрушкой в руках Эфрона и знала об убийствах, в которых он принимал участие. Это равносильно клевете на великую поэтессу и замечательного человека. В моей книге “Марина Цветаева: женщина, ее мир и ее поэзия” читатель может найти детальное описание обстоятельств возвращения в Россию как Эфрона, так и Цветаевой.

*Саймон Карлинский (Беркли, Калифорния)*

В своей статье о деятельности НКВД в 1930-х годах Стивен Шварц допустил ряд фактических ошибок.

Он заявляет, что этот раздел истории НКВД до сих пор не освещен. Это не совсем так. Все, кто интересуется проникновением НКВД в русские эмигрантские круги и в частности делом Скоблина—Плевицкой, могут обратиться к содержательной книге Бориса Прянишникова "Незримая патина".

Далее он пишет, что без участия Макса Эйтингона, как знакомого Скоблина, ликвидация советских генералов не могла бы быть такой легкой. Это слишком категорично. Юрий Алексеев и я показали в нашей книге "Измена Родине", что немецкая дезинформация не играла существенной роли в процессе Тухачевского—Якира.

Шварц утверждает, что генерал Миллер был похищен потому, что слишком много знал о фальсификации доказательств по данному делу. Здесь Шварц попросту повторяет мнение Вальтера Кривицкого. Гораздо более вероятно, что Миллер был устранен, чтобы открыть Скоблину путь к руководству Союзом русских офицеров. Когда операция сорвалась, Скоблину пришлось бежать.

Заявляя, что "мы мало знаем о Леониде Эйтингоне", Шварц явно упускает из виду специальное приложение к нашей книге, посвященное этому человеку. В конце 1940 года Эйтингон был назначен заместителем начальника ГПУ — разведывательного управления Генерального Штаба, которым руководил тогда генерал Судоплатов. Он был арестован незадолго до (а не после) смерти Сталина и в 1954 году приговорен к двенадцати годам лагерей за "нарушения социалистической законности". После освобождения Леонид Эйтингон вернулся в Москву и работал в фирме "Международная книга", которая была фасадом для ряда операций КГБ за рубежом. К настоящему времени он, вероятно, уже умер.

*Виталий Рапопорт (Нью-Йорк)*

*Стивен Шварц отвечает:*

Я с сожалением вынужден отметить, что Питер Гэй так и не привел убедительных возражений против моего предположения о виновности Макса Эйтингона.

Он спрашивает, каким образом Макс Эйтингон мог быть близок к Фрейду, если проводил столько времени в Берлине и Иерусалиме. Мой ответ состоит в том, что Эйтингон был достаточно богат, чтобы много путешествовать и действительно путешествовал, не говоря уже о том, что широко пользовался телефоном. Его роль как фрейдовского посредника описана в изданной Эрнстом Л. Фрейдом "Переписке Зигмунда Фрейда и Арнольда Цвейга".

Далее, Питер Гэй обходит самый важный вопрос, связанный с Максом Эйтингоном: что, кроме поручения НКВД, может объяснить его знакомство со Скоблиным и Плевицкой? Фрейдовские источники говорят об Эйтингоне как человеке, весьма чувствительном к антисемитизму, а между тем русские белогвардейские круги были им весьма заражены, да и сама

Плевицкая (если верить Наталии Грант) была связана с черносотенной погромной организацией "Союз русского народа". Наконец, следовало бы заметить, что положительная характеристика, выданная Максму Эйтингону Плевицкой на ее процессе, тоже кое о чем говорит, если вспомнить связи самой Плевицкой с НКВД.

Французские полицейские досье, хранящиеся в Гуверовском институте в Калифорнии, отмечают, что при обыске в доме Плевицкой была найдена Библия, посланная ей Максом Эйтингонем из Палестины и, по мнению полиции, служившая для расшифровки их секретной переписки.

Согласно тем же досье, полиция была гораздо более заинтересована делом Рейсса, чем это предполагает Вадим Кондратьев-мл. В этом вопросе его предположения противоречат данным двух книг о Рейссе — "Свои люди", опубликованной вдовой Рейсса Елизаветой Порецкой, и "Этот обман" Хиды Массинга.

Я знаком с книгой профессора Саймона Карлинского, но не думаю, что она оправдывает Цветаеву в такой степени, в какой это утверждается в его письме. И хотя приложение в книге Алексеева-Рапопорта является самым подробным источником в отношении Леонида Эйтингона, оно остается относительно мало известным.

Наконец, приведу (вынужденно ограниченный отсутствием места в газете) список тех источников, о которых спрашивает Питер Гэй (следуют названия нескольких книг, статей и других источников на английском языке, которые мы опускаем. — Прим. ред.).

Американскому научно-исследовательскому институту  
"ДЕЛЬФИК"

для подготовки обзорных монографий по научному и техническому прогрессу в различных областях

т р е б у ю т с я

недавние эмигранты из СССР (с надежной научной и профессиональной характеристикой).

Работа оплачивается.

"Куррикулум вита" направлять по адресу:...

Delphic Associates, INC., 7700 Leesburg Pike, Suite №250, Falls Church, VA 22043. USA.

## МЕТАФИЗИКА СТАЛИНИЗМА

Вот уже на протяжении полувека сталинизм является объектом пристального изучения историков, социологов, политологов и философов. Парадоксальность и безусловная значимость этого явления в общем контексте общественно-политической истории XX века до сих пор продолжает привлекать к нему внимание как слева, так и справа, порождая одновременно как ярких противников, так и восторженных поклонников. В настоящей статье мы хотим проанализировать феномен сталинизма не с позиции формально декларируемых им лозунгов, но с точки зрения его собственной глубинной, так сказать, "метафизики".

Здесь сразу хочется сказать, что особая сила притяжения сталинизма, его магия основывается, на наш взгляд, не столько на его интеллектуальной привлекательности (это было бы естественно!), сколько как раз на противоположном — на его принципиальной антиинтеллектуальности, раскрывающей широкие возможности перед безграничным субъективным волюнтаризмом и особым трансцендентальным обскурантизмом. Если с формальной точки зрения сталинизм еще и может рассматриваться как произведенная от марксизма особая ересь, то с точки зрения своей сущностной ориентации он не имеет ничего общего не только с марксизмом, но и вообще ни с какой из существующих в позитивном смысле идеологий. Как ни парадоксально, но сталинизм может быть представлен как своеобразное практическое воплощение антигуманистических и антирациональных тенденций, имевших место в западной культуре и философии в конце прошлого-первой половине этого века. Наиболее курьезным здесь, пожалуй, будет то, что такие откровенные и сознательные антигуманисты и антирационалисты, как, например, Ницше или Шпенглер, оказались в своем патетическом вызове реальности наивными детьми в сравнении с тем, какой вызов рациональной и человеческой реальности бросил Сталин. Фактически Сталин более непосредственным образом воплотил в жизнь ницшеанский тезис воли к власти и права сильнейшего, чем это сделал любой из последователей Ницше вплоть до Гитлера.

Много говорилось и до сих пор говорится о схожести большевистского интернационал-социализма с национал-социализмом и фашизмом. Эти три общественно-политические системы принято считать вариантами тоталитаризма (термин, введенный Муссолини). Действительно, идеологические корни тоталитарных режимов удивительно близки: известно, что и Гитлер, и Муссолини свою политическую деятельность начинали, как социалисты (Муссолини даже встречался с Лениным). И тот, и другой пользовались, по существу, марксистской фразеологией (социализм, классовая борьба, эксплуатация и т. д.). Гитлер, например, в своей книге "Моя борьба" явно признает заслугу Маркса в открытии законов политической эко-

---

\* *Статья печатается в порядке дискуссии.*

номии и обвиняет последнего лишь в том, что тот скрыл действительную сущность этих законов от широкой публики и тенденциозно проинтерпретировал их с точки зрения текущей выгоды еврейского банковского капитала. Свое предназначение Гитлер видел (по крайней мере, в начале своей политической карьеры) именно в том, чтобы разоблачить марксову интерпретацию экономических законов "в пользу евреев" и проинтерпретировать их "в пользу немцев". С этой точки зрения национал-социализм является не более, чем одной из "ересей" марксизма (наряду с ленинизмом, сталинизмом, маоизмом, да и тем же фашизмом, как идеей корпоративного государства). Однако то, что составляет подлинную природу тоталитарного государства — это не псевдоэкономическая фразеология, а реальная идеологическая ориентация — на создание культа вождя с неизменно присущими последнему элементами волюнтаризма и обскурантизма. В отличие от классического марксизма, пробным камнем тоталитарной идеологии является не "объективный исторический процесс", а "субъективный миф вождя" или его так называемая "концепция мира". Ведущий идеолог Третьего Рейха А. Розенберг считал, что всякая "концепция мира" (Weltanschauung) имеет ровно в такой степени право на существование, в какой поддерживающая ее субъективная воля в состоянии "аннулировать" все прочие концепции. Что касается обскурантизма, то он в тоталитаристской идеологии проявляется в утверждении (явном или косвенном) тезиса о том, что лишь вождю, лишь его сверхъестественной интуиции (лишь его "абсолютно объективному" видению) открыто непосредственное созерцание переднего края реальности. В определенном смысле "открытия" тоталитаристской идеологии превосходились уже в эстетических установках футуризма и экспрессионизма. Именно отсюда в дальнейшем произошло официальное искусство тоталитарных государств. Принципы дезинтеграции художественного пространства и субъективного утверждения свободной воли художника-артиста неожиданным образом нашли свое воплощение в разрушении культурного пространства человеческой цивилизации и в утверждении абсолютного волюнтаризма диктатора. При этом само искусство — вот уж, поистине, метаморфозы! — из средства выражения принципиальной изначальной немотивированности субъективной творческой воли художника-артиста превратилось в наглядную демонстрацию абсолютно объективно мотивированного (с точки зрения официальной идеологии) личного мифа диктатора, сменив при этом авангардную форму на псевдоклассическую.

Вообще же сложность "объективной" интерпретации всякой тоталитарной идеологии состоит в том, что здесь, собственно говоря, нет ничего объективного. Официальная точка зрения на природу вещей в тоталитарном государстве служит не для выражения того или иного отношения к позитивной реальности, но для того, чтобы "имеющие уши" могли ориентироваться в очередных колебаниях агрессивно-немотивированных импульсов и субъективной воли диктатора, имеющих своей конечной целью не более не менее как аннулировать эту самую реальность.

Основная разница между Гитлером и Сталиным, на наш взгляд, состоит в том, что первый действительно верил в некую неизбежность позитивной реальности в ее конечной инстанции и, называя это онтологическое

дно "шарниром времени", сделал его формальной целью своей мифомании, тогда как второй, по всей видимости, не верил даже в объективность "конечного дна" и поэтому в своем волюнтаризме был поистине бездонен. Сталин не доверял никому и ничему. Естественно, что он не верил ни в абсолютную непреложность догм марксизма, ни в политический гений Ленина, ни в самую однозначность так называемой "объективной реальности". При этом Сталину нельзя отказать в обладании особым онтологическим инстинктом, позволявшим ему безошибочно угадывать, так сказать, "количество реальной экзистенции" в своих союзниках и противниках. И опять же, основной внутренней целью Сталина в его отношениях с людьми было сведение этого "количества экзистенции" к нулю, а вовсе не выяснение формальной лояльности. Как ни парадоксально, в этой ситуации наиболее преданный друг как раз и является наиболее опасным метафизическим соперником, поскольку сам фактор преданности и искренности является показателем экзистенциальной силы и полноценности, и главное — внутреннего наличия реальной воли. По-своему Сталин гораздо более глубоко угадал крайние пределы загадочной человеческой воли, чем это сделал такой апологет волюнтаризма, как Ницше. Пожалуй, более уместно будет сравнить Сталина с Гурджиевым — известным мистиком с Кавказа, которого французский писатель Л. Повель назвал "Калиостро XX века". В гурджиевских кругах до сих пор ходит легенда о том, что именно Гурджиев инспирировал сверхъестественные волевые возможности не только Сталина, но и Гитлера. Сам Гурджиев никогда не упоминал ни о своем знакомстве со Сталином, ни о своих отношениях с Гитлером, хотя известно, что он действительно жил в начале 20-х годов в Германии и каким-то образом пересекался с К. Хаусхофером — учителем Р. Гесса и теоретиком германской геополитики. Но дело здесь не в личных знакомствах и связях, а в том, что Гурджиев своей мистической теорией и эзотерической практикой демонстрирует самую суть, сами, так сказать, метафизические корни тоталитарной идеологии и тоталитарного порядка. И корни эти (во всяком случае, в гурджиевской теории) не случайно уходят в толщу возможной мистики и магии.

Действительно, Восток традиционно известен не только своей высокой и древней культурой, но и жестокостью нравов и безграничным деспотизмом правителей. Кроме того, на Востоке издревле процветало (и до сих пор цветет в некоторых местах) тайное искусство манипулирования темными сторонами человеческой психики — своего рода негативный гипноз. Похоже, что Запад до сих пор даже не подозревает, какие опасности для человеческого архетипа потенциально хранятся в тайной практике некоторых восточных эзотерических движений. Порой эта тайная магия выливается в открытые политические эксцессы, совершенно непредсказуемые с точки зрения западного рационального мышления. В принципе, то, что пытался воспроизвести в Европе фашизм, кажется таким пугающим лишь нам, людям Запада, "изнеженным" демократией. Ведь на Востоке существовали и до сих пор существуют вещи и покрепче. В Сталине — в силу тех или иных причин — как раз и воплотился архетип восточного деспота. Именно архетип, поскольку феномен Сталина является типичным для Востока. Другое дело, что в условиях XX века и такой огромной страны, как Россия, этот феномен принял чудовищные масштабы.

Неудивительно, что сталинизм нашел своих горячих приверженцев, в первую очередь, именно на Востоке, и прежде всего — в Китае. Думается, что Мао Цзе-дун был заморожен Сталиным именно как живым примером абсолютного автократа и принципиального антиреалиста, по всем фронтам противопоставившего этой набившей оскомину "объективной реальности" свою субъективную волю вождя. И уж совсем одиозен пример Северной Кореи, где "любимый вождь и товарищ" Ким Ир Сен открыто основал первую в истории коммунистическую династию и объявил так называемый кимирсенизм абсолютно независимым ни от чего, принципиально новаторским учением всемирно-исторического значения. Однако, если мы вспомним о радикально антиинтеллектуальной природе всех тоталитарных идеологий, то все встанет на свои места.

Согласно словам известного югославского диссидента М. Джиласа, лично знавшего в свое время Сталина, последний как-то сказал, что заслуга Ленина состоит в том, что тот очистил марксизм от "этой ненужной" немецкой классической философии. Свою заслугу Сталин, видимо, видел в том, что, продолжая чистку, он, в конце концов, очистил марксизм от самого Маркса, да и от Ленина (не говоря уже об остальных). Весь марксизм Сталин, с гениальностью вождя мирового пролетариата, свел к единому понятию "практики", которая с точки зрения его собственных внутренних критериев была синонимом "я хочу!" Так мы неожиданно убеждаемся в том, что даже такое "единственно научное" и объективно-бескомпромиссное учение, как марксизм, да еще в его ленинской редакции, может быть адаптировано для нужд самой крайней субъективной метафизики. При этом более, чем курьезно, что Сталин со своей "практикой" пришел (разве что с другой стороны) к тому же результату, к чему в свое время в лице Гегеля пришла столь хулимая первым немецкая классическая философия. Как известно, Гегель основой всей объективной реальности считал некий высший дух, последовательно раскрывающий себя по мере позитивного сотворения всех планов вышеназванной реальности. Высшей и конечной формой откровения этого духа Гегель считал собственную философию (читай — самого себя). Таким образом Гегель отождествил собственный интеллект с универсальной основой реальности, зарезервировав за собой право окончательного суждения. В интерпретации Маркса гегелевский "дух" стал "практикой" общественно-экономического развития. Ленин превратил марксову "практику" в свою "практику" классовой борьбы, а Сталин, в свою очередь, окончательно свел последнюю к "практике" личного хотения. Зарезервировав за собой право окончательного хотения, Сталин, безусловно, видел в своей "практике" высшую и конечную форму откровения мировой воли, не подчиняющейся никаким надуманным законам — будь это хоть законы самого всемирного логоса. Так, сам о том не догадываясь, Сталин в своем понимании реальности пришел к выдвиганию на первый план того же крайне субъективного начала, на которое в своей диалектике опирался Гегель, с той лишь разницей, что последний предпочитал роль пассивного созерцателя "превращений духа", тогда как первый занимал позицию активного "практика". Вот уж, поистине: противоположности — сходятся.

Весьма показательным для иллюстрации сталинского неверия в раци-



ональную реальность является история с Лысенко. Этот алхимик от биологии — иначе не скажешь! — заслужил гораздо более доверия вождя, чем все остальные доктора наук вместе взятые. Причина — по всей видимости окончательно сложившееся к тому времени у Сталина бредовое убеждение в своей прямо-таки магической способности влиять на внешнюю реальность и менять ее законы по своему усмотрению (как тут не вспомнить Гитлера, который в отношении самого себя открыто заявлял об этом). Прямо-таки поразительное сходство наблюдается между заявлениями Лысенко по поводу возможностей искусственной селекции и произвольной мутации видов и социальной мистикой Сталина: в обоих случаях упор делается на некий особый фактор, аннулирующий законы обычной реальности. Здесь же невольно напрашивается пример маоистского “большого скачка”, когда с помощью кустарной технологии по всей стране шла беспрецедентная по своим масштабам плавка стали, естественно, не давшая никаких реальных результатов, но приведшая к огромным потерям ценной руды, превращенной попросту в шлак. Вся эта кампания явно напоминала, скорее, средневековый мистический ритуал, чем попытку экономической перестройки страны.

Неизвестно, что думал Сталин по поводу бессмертия души и загробной жизни, что говорил ему его онтологический инстинкт в отношении конечных пределов существования. Весьма вероятно, что великий вождь не собирался оставлять этот мир вместе со смертью тела. Некогда Гурджиев, доводя тоталитарную метафизику до ее крайних мыслимых границ, утверждал потенциальную возможность обретения субъективной волей состояния бессмертия и неразложимости. Похоже, что такой человек, как Сталин, вряд ли отказался бы от такой потенциальной возможности в отношении с о б с т в е н н о й воли. И не была ли вся его столь парадоксальная для постороннего наблюдателя “практика” лишь глубоко продуманным, и главное — прочувствованным, путем мистической кристаллизации личной воли до состояния актуального бессмертия? Как бы там ни было, дух Сталина (во всяком случае — дух сталинизма) жив до сих пор и явно не собирается сдавать своих позиций.

В этом отношении интересно рассмотреть постсталинскую традицию советского партийного руководства. Первым, кто претендовал на роль нового автократа России был (не считая Берии), несомненно, Жуков. Хрущев, однако, ловкими интригами оттеснил его на задний план и взял власть в свои руки. В принципе, в лице Хрущева мы видим такого же самодура, каким был его великий предшественник, разве что более скованного обстоятельствами в отношении собственного произвола. В общем-то, хрущевская критика Сталина должна была, в первую очередь, служить укреплению позиций самого Хрущева. Хрущев, исходя из собственной логики матерого сталиниста, взял на вооружение миф сталинской эпохи о построении в СССР коммунизма в пределах жизни текущего поколения. Неизвестно, в какой степени сам Сталин верил в возможность такого осуществления; скорее всего, он представлял себе коммунизм примерно в духе того порядка, который через двадцать лет после его смерти был установлен красными кхмерами в Камбодже. Хрущев, однако, подошел к идее коммунизма не как ее мистический хозяин, а как простодушная жертва массо-

вого гипноза сталинской эпохи. Естественно, что все его начинания потерпели полный крах. Вообще же вся хрущевская пора явилась своеобразной карикатурой на ранние сталинские годы: создание собственной номенклатуры, попытка перестройки сельского хозяйства, борьба по всем фронтам с политическими предшественниками. Теперь, задним числом, и в Союзе и на Западе есть люди, пытающиеся идеализировать хрущевские реформы, и тем самым выказывающие свое принципиальное непонимание того, что эти пресловутые реформы явились не продуктом доброй воли и подлинного раскаяния в преступлениях сталинизма, а были лишь вынужденной мерой в условиях сложившейся к тому времени в стране общественно-политической конъюнктуры. Этим и объясняется вся так называемая "противоречивость" указанных реформ. Хрущев, скажем о нем в заключение, был фигурой, в общем-то, трагикомической. В чем заключался ее комизм — говорить, вероятно, не стоит, но трагизм ее состоял в том, что получив — волей ли судьбы, или еще кого — в свое управление гигантскую сталинскую империю, Хрущев так и не смог подобрать ключей к тому "черному ящику", в котором находится магическая программа управления этой империей. Дух Сталина продолжал дезориентировать возможных кандидатов на имперский престол в отношении подлинных целей создания той психофизической структуры, которая до сих пор называется "социалистическим отечеством".

После смещения Хрущева к предполагаемому пульта управления страной пришел Леонид Брежнев. В определенном смысле он был еще большим сталинистом, чем Хрущев, поскольку принадлежал к тому поколению, которое начало свою карьеру уже непосредственно в эпоху культа личности. В то же время Брежнев повел себя более осторожно: он воздерживался от прямой критики Сталина и благоразумно снял лозунг о скором построении коммунизма. Брежневский период был официально определен как "период построения развитого социализма"; на самом деле это было время инерционного существования постсталинской номенклатуры (ничем не отличавшейся по своей реальной природе от номенклатуры собственно сталинской) в условиях отсутствия подлинного хозяина. Брежнев в этой ситуации был всего лишь приказчиком, четко знавшим свое место и не претендовавшим на радикальные изменения. Это позволило ему до конца своих дней продержаться на высшем партийном и государственном посту, не имея при этом серьезных конкурентов. Во времена Брежнева номенклатура достаточно адаптировалась к условиям существования без реального хозяина, однако наиболее пронизательные из ее функционеров, видимо, отдавали себе отчет в том, что вечно так продолжаться не может, поскольку сама идея существования номенклатурной системы, равно как и ее внутренняя структура, предполагает наличие вождя. Именно в условиях "брежневского затишья" в недрах номенклатуры происходил процесс вызревания различных по своему характеру тенденций "нового вождизма". К моменту смерти Брежнева ситуация, на наш взгляд, выглядела следующим образом: средний — и наиболее многочисленный — эшелон номенклатуры, в принципе, устраивали порядки, сложившиеся при Брежневе, и этот слой — в общем, довольно коррумпированный и инертный — работал на удержание своих позиций. В высшем слое номенклату-

ры господствовала идея ограниченной "демократизации", поскольку это открывало возможности для подрыва влияния брежневского клана и "днепропетровской мафии", что, в конечном итоге, могло дать личный и более независимый выход на центральные позиции. Уже при жизни Брежнева Андропов начал вести подкоп под брежневских людей, включая самих членов его семьи. Эта линия Андропова была, видимо, одобрена большинством высших функционеров партии и государства, имевших определенные трения с "днепропетровской мафией". Скорее всего, это и позволило Андропову сразу после смерти Брежнева занять его пост. Однако — как это ни странно на первый взгляд — в низшем эшелоне номенклатуры (и в околономенклатурных кругах) наибольшей популярностью пользовалась, судя по всему, идея "необходимости нового Сталина". Дело, наверное, в том, что для рядового номенклатурного работника перспективы на быструю карьеру открываются отнюдь не в процессе медленной и поэтапной "демократизации", но при внезапном появлении нового безусловного лидера, что само по себе сводит общественно-политическую ситуацию до элементарного "да—нет". Эдакий "политический электролиз" использовал в свое время сам Сталин, выдвигая на руководящие должности — в пику ЦК — именно людей из низов. Неудивительно поэтому, что сразу после назначения Андропова на должность генсека в низшем эшелоне номенклатуры — да и в народе — появилась надежда, что он-то и будет настоящим хозяином. "Хозяин", однако, не оправдал народных надежд, покинув этот мир в разгар своих реформ. До сих пор остаются не вполне ясными подлинные мотивы этих собственно-андроповских начинаний: то ли это была первая фаза "демократизации", то ли начало поворота к новому абсолютизму.

По всей видимости, самого Андропова не очень воодушевляла перспектива быть "новым Сталином" — повторение чужого опыта всегда в чем-то ущербно. Скорее всего, Андропов собирался творчески продолжить (к этому времени уже совсем похороненную) линию Бухарина. Как известно, Бухарин был сторонником "диктатуры политбюро" в политическом и НЭПа — в экономическом плане. Первое положение вполне устраивало антибрежневскую коалицию в ЦК, а второе — нарождающуюся советскую технократию, недовольную засильем номенклатуры в экономической сфере. Думается, что для себя лично Андропов оставлял пост некоего высшего наблюдателя и координатора, неподотчетного никому. Во всяком случае, такая политика оставляла возможность реализации быстрой карьеры лишь по экономической линии, консервируя политическую структуру на уровне уже сложившихся партийных кланов. Андроповские перемещения в партии касались почти исключительно лишь членов опального "брежневского клана", ранее претендовавшего на всевластие. Вероятно, таким образом Андропов планировал сосредоточить творческую энергию потенциально инициативных людей на вопросах поднятия экономики, а не на проблемах партийной карьеры. С другой стороны, все это должно было бы привести к почти полной ликвидации среднего, пробрежневского звена номенклатуры, "как класса", то есть как фактора социально-экономической стагнации. Вообще говоря, такое "демократическое" разделение власти между ведущими членами Политбюро вряд ли

могло быть длительным явлением в условиях традиционно сложившегося в России принципа единовластия.

Вместе со смертью Андропова и приходом к власти старого брежневского человека Черненко номенклатура как бы стала возвращать себе сданные было позиции, но процесс этот продолжался недолго. После смерти Черненко проандроповская линия в ЦК и Политбюро восторжествовала в лице нового генсека — Михаила Горбачева. Известно, что Горбачев был прямым выдвиженцем Андропова и, видимо, — в каком-то смысле — решил непосредственно продолжать начатые последним реформы. В частности, он открыто реабилитировал Бухарина с дальним прицелом на коренную ревизию официальной партийной идеологии и так называемых "норм социалистического хозяйствования". Значит ли это, что Горбачев решил полностью ликвидировать в стране последствия сталинизма?

Здесь мы еще раз должны напомнить, что подлинная, метафизическая, так сказать, суть сталинизма заключается отнюдь не в политических лозунгах или экономических принципах, но в реализации всеми доступными средствами установки на крайний субъективный волюнтаризм во всем и во вся. И даже если Горбачев будет последовательно подрывать позиции созданной Сталиным номенклатурной системы, это еще вовсе не значит, что он не попытается на ее обломках создать аналогичную — свою! — систему.

\* \* \*

На наш взгляд, однако, самая серьезная опасность реставрации сталинизма — причем даже в его чисто физической форме — исходит сегодня из азиатских регионов СССР. Там Сталин является до сих пор явным кумиром не только партийных бонз, но и среднего класса обывателей. И дело здесь не только в чисто психологической установке восточного человека на "сильную власть", но и в том, что сталинская система номенклатуры в общем-то дублирует систему классово-субординации феодального общества, до сих пор сохранившегося — в своих основных чертах — на советском Востоке, а кое-где — и в самой России. В целом, пережитки феодализма в СССР могут быть разделены на три основных категории: феодализм российский, кавказский и среднеазиатский. Каждый из них имеет свои характерные особенности. То, что можно назвать пережитками российского феодализма, представляет собой собственно партийную номенклатуру. Функционирование этой номенклатуры можно сравнить с системой чиновничества в феодальном Китае: каждый чиновник получает во временное пользование определенное ведомство в том или ином уезде и в продолжение своей службы пользуется (в зависимости от своего ранга) определенными привилегиями. При этом все, чем он формально владеет (земля, дом, личный транспорт), принадлежит не ему, а императору (или государству). В России до сих пор каждый председатель горкома или обкома является эдаким князьком, удельным наместником, со своим чиновным штатом. При такой системе личная карьера чиновника почти исключительно зависит от его личных отношений с вышестоящим

звеном или непосредственным начальником. В этой ситуации всякий чиновник, естественно, заинтересован в том, чтобы в "высших сферах" царил стабильность, гарантирующая устойчивость сложившейся системы отношений, что одновременно обеспечивает ему возможность постепенного продвижения по служебной лестнице.

Система кавказского феодализма отличается большим упором на кланово-семейные связи и — особенно в наше время — на фактор национальной солидарности. Совершенно исключительное место национальная — а в чем-то и национально-религиозная — солидарность занимает у армян. В Грузии большее значение играет клановость, что более типично и для традиционного феодализма. Та же клановость имеет огромное значение в Азербайджане. Система кланового деления и кумовства перешла и в партийно-номенклатурную систему собственно русских областей Северного Кавказа. Особым следствием такой номенклатурно-клановой системы является то, что она позволяет аккумулировать в руках руководства кланов огромные суммы и через это воздействовать на политико-экономическую ситуацию страны в целом. Единственное, что относительно сдерживает открытое доминирование Кавказа во всеююзном масштабе — это жестокая внутрисклановая борьба за первенство (а также взаимная враждебность закавказских народов в целом).

Наиболее сильные пережитки феодализма, однако, сохраняются в Средней Азии. Инфраструктура среднеазиатского феодализма особенно сильна тем, что ее основные связи в настоящее время осуществляются сразу по трем линиям: кланово-семейной, национальной (пантюркизм) и религиозной (ислам). Более того, большинство современных среднеазиатских феодальных кланов своими генетическими корнями уходит непосредственно в закрытую родовую структуру до революционной правящей элиты, состоявшей — в свою очередь — в основном, из чингисидов и тимуридов. Последние нередко состояли в тесном родстве со среднеазиатскими "сейидами" — потомками Мухаммеда по линии Али. Все это обусловило особую устойчивость религиозно-клановой структуры среднеазиатского феодализма, поскольку с точки зрения ислама сейиды (потомки пророка) являются святыми носителями благодати последнего. В то же время с точки зрения пантюркизма те же чингисиды и особенно — тимуриды — являются "сакрально посвященными" на политическое руководство.

До сих пор Средняя Азия не играла заметной роли в социально-политической и экономической ситуации СССР, но в перспективной борьбе за влияние во всеююзном масштабе у ее кланов есть два важных "козыря" — во-первых, — колоссальное количество реального золота, до сих пор лежащего, так сказать, в мешках, и во-вторых — значительно опережающий все остальные районы страны рост населения. Существенно при этом, что в условиях "социалистической" Средней Азии члены одного и того же клана зачастую контролируют как партийно-экономическую жизнь своего "подшефного" района (а практически — феодальной вотчины), так и тайную религиозно-политическую активность в нем. Это достигается благодаря тому, что члены ведущего локального клана всегда пытаются продвинуть своих людей и в партийное руководство, и в руководство религиозных общин.

Специфическая роль ислама в жизни среднеазиатского общества обусловила и то, что многие (часто негласные) лидеры местных феодально-родовых кланов до сих пор, по всей видимости, сохраняют тайные религиозные (а возможно, и политические) контакты со своими сородичами в Афганистане, Иране или даже в Китае. Думается, что в глобальных планах общеисламской геополитической стратегии основной упор отнюдь не на отделение среднеазиатских республик от СССР, а как раз наоборот — на увеличение экономического и политического влияния этих республик в общесоюзном масштабе.

В складывающейся ситуации Горбачев, конечно, пытается подрезать традиционные корни среднеазиатского феодализма. Видимо, этим и обусловлена широчайшая чистка в партийных аппаратах восточных республик, включающая даже расстрелы. Горбачев убрал из Политбюро и сместил с поста первого секретаря ЦК Казахстана Динмухамеда Кунаева — влиятельнейшего феодала этой огромной республики, происходящего из высшего казахского "жуза" (феодално-кланового объединения). Поменялось также руководство в Узбекистане и Таджикистане. Однако, насколько эти перемены смогут подорвать реальные позиции среднеазиатских феодальных шейхов? Похоже, что после советского фиаско в Афганистане авторитет ислама в республиках Средней Азии возрастет еще больше, а вместе с этим возрастет и соответствующее влияние сейидов и их союзников.

Но особая роль советского Востока в возможном возрождении сталинизма состоит не только в социальной структуре. Весьма знаменательно также то, что здесь происходит своеобразное сращение метафизики сталинизма с исконным религиозным культом. Известно, что на советском Востоке Сталин и Ленин зачастую являются объектами открытого религиозного поклонения. Их изображения, например, используются традиционными шаманами Средней Азии и Алтая во время камланий. У многих азиатских народов широко распространена легенда об азиатском происхождении Ленина. В народном сознании он до сих пор воспринимается как эквивалент "великого шамана" или чуть ли не чингисид. Но еще важнее, что иногда метафизику сталинизма пытаются возродить люди далеко не "простые". Приведем в качестве примера дело Кимбатбаева — Борубаева. Каракалпакский шаман Мирзабай Кимбатбаев (или просто Мирза) был одним из тех, кто открыто использовал в своих камланиях изображения и книги Ленина, Сталина, и даже Маркса. Слывя среди окрестного населения "чудаком", он без лишнего шума лет двадцать подряд "практиковал" на мазаре (могиле мусульманского праведника) Султан-Бобо, что километрах в ста пятидесяти к северо-западу Хивы, куда традиционно ходили лечиться бесплодные женщины. До поры, до времени практика Мирзы не выходила за пределы Бирунийского района, где и расположен мазар, пока там случайно (?) не оказался некий Абай Бобураев — бывший школьный учитель из киргизского города Ош. Последний взял на себя роль "научного консультанта" при Мирзе, и дело резко пошло в гору. На мазар стали съезжаться люди со всей страны, в большинстве своем богема и номенклатура. Очень скоро слава чудодея-Мирзы достигла Москвы и других крупных европейских городов страны. Через связи Абая Мирза был принят в высших литературных и научных кругах столицы, читал лекцию о связях человека

с космосом в Звездном городке в аудитории космонавтов и даже получил официальный документ, подтверждающий научно засвидетельствованные в нем сверхъестественные парапсихологические способности. Достаточно сказать, что в числе клиентов Мирзы — Абая фигурировали такие лица, как доктор философских наук Спиркин, по слухам — главный парапсихолог страны, в ведомстве которого находятся все соответствующие опыты, производимые КГБ и военным ведомством; писатель В. Сидоров — сторонник идеи “азиатских связей” Ленина, подписавший “справку” Мирзы; Джуна Давиташвили — негласный шаман-исцелитель всего кремлевского политбюро и высшей столичной номенклатуры, не говоря уже о десятках номенклатурщиков средней руки и сотнях рядовых клиентов. Что же их привлекало в Мирзе и Абая? Среди наиболее многочисленных и в то же время — наиболее периферийных клиентов поддерживалась мифическая идея создания некоего нового научного парапсихологического “института человека” с Абаем во главе. Членам высшей номенклатуры Абай обещал магическую поддержку в деле реализации личной карьеры (в обмен на особые услуги). Наконец, члены более интимного круга были посвящены в идею “суфийской школы” нового типа, то есть особого центра по развитию магических способностей. При этом Мирза в этой мистической “философии” считался как бы воплощением духа Ленина, а Абай — Сталина.

Что это: бред сумасшедших, цирк, далеко зашедшая шутка или простое надувательство? Отнюдь! Во всей этой истории — закончившейся, кстати, довольно мрачно (Мирза, Абай и еще несколько человек получили крупные сроки за ритуальное убийство одного из “своих” — известного киноартиста и одного из руководителей Узбекфильма Толгата Нигматуллина) — очень характерным образом были продемонстрированы приемы восточной политической интриги. Уверен, что даже юристам, занимавшимся этим делом, не было известно, что Абай был не кем иным, как ставленником некоторых феодальных тимуридских кланов Киргизии, которые таким специфическим образом пытались прощупать обстановку в “верхах”. Личными кумирами Абая были Чингис-хан, Тимур, Сталин и ... Гурджиев. Вот так! На этот раз, правда, явления нового Калиостро (или Распутина — как хотите) не состоялось, но так ведь это лишь на ЭТОТ раз...

Конечно, “идеалы сталинизма” продолжают питать надежды потенциальных кандидатов “в Наполеоны” не только в Средней Азии или на Кавказе, но и в самой России. Сейчас, в среде высшей номенклатурной молодежи Москвы и Ленинграда (а также других крупных городов) стало престижным “знать” Сталина и “ориентироваться на ценности отцов”. Характерной деталью типовой советской “новой волны” становится сталинской френч. Но, конечно, здесь мы имеем больше дело с, так сказать, “эстетикой” сталинизма. Реальную же “практику” можно найти только на Востоке. Как мы уже говорили, эта “практика” представляет собой дьявольскую смесь крайнего прагматизма, порожденного наличием особого онтологического инстинкта, и совершенно безграничного в своей потенции волюнтаризма. Характерно, что в проазиатских интеллектуальных кругах (одним из оплотов которых, кстати, является Москва) циркулируют сейчас закрытые тексты, излагающие и пропагандирующие метафизику бескомпромиссного волюнтаризма в категориях современной западной философской

и эстетической мысли. В качестве примера приведем выдержку из одного такого текста, написанного по-узбекски:

"...то, что сейчас составляет Россию, Китай, Монголию, Индию, Пакистан, Иран и Афганистан, некогда было землями, принадлежавшими дому Чингис-хана и его потомков. Люди дома Великого хана до сих пор владеют мандатом Неба на управление этими территориями, и это их священное право не может быть никем оспорено без того, чтобы не противоречить пути Неба. Это значит, что потомство того, кто незаконно захватил эти земли, будет вырождаться и слабеть, пока Небо вновь не отдаст земли их законным наследникам.

Если уподобить Великого хана Брахме — о чем говорят и традиционные сравнения в древних текстах, — то его четыре лица — это четыре сына или четыре крайних полюса священной территории. Эти четыре полюса, с точки зрения нашей геополитики, есть не что иное, как выходы к четырем великим океанам: Северному, Южному (то есть Индийскому), Восточному (то есть Тихому) и Западному (то есть Атлантическому). Этими четырьмя полюсами определяются границы священной территории, подвластной дому Великого хана. Пятым и центральным полюсом является центр Евразии, где находится погребение Великого хана. Это — наиболее священное место, и оно никогда не должно выходить из-под власти прямых потомков хана".

Эти безграничные геополитические волюнтаристско-мистические претензии, поныне живущие на советском Востоке и питаемые мистической верой в особое призвание чингисидов, являются, в сущности, прямым продолжением целого направления мысли, связанного, в частности, с именем Бадмаева. Один из последних крупных идеологов и геополитиков Золотой Семьи (дома чингисидов), доктор тибетской медицины Петр Бадмаев (до крещения — Жамсаран) был личным советником двух последних русских царей. Интересен (хотя и малоизвестен) тот факт, что в свое время Бадмаев протезировал Распутину. Бадмаев вынашивал грандиозную идею присоединения к России Китая, а в перспективе — и других азиатских стран. На первом этапе своей геополитической стратегии Бадмаев планировал использовать политический кризис Цинской империи, как реальную предпосылку для политического переворота и захвата власти в Китае представителями чингисидовских кланов. Россия должна была финансировать всю эту операцию, в том числе — вооружить монгольскую конницу, сделав из нее решающую силу в борьбе за пекинский престол. В конечном итоге Бадмаев предлагал царю (и Александру III, и Николаю II) посадить на трон Китая "своего человека" (то есть чингисида из новой монгольской династии, потомка императоров династии Юань, среди которых он и сам имел предков) и формально сделать его подчиненным "белому царю" (то есть русскому императору). Но судя по всему, дальняя цель этой стратегии должна была состоять в том, чтобы и Петербург, и Пекин подчинить геополитическому контролю Золотой Семьи. Геополитические идеи Бадмаева не были лишены и некоторых мистических спекуляций по поводу "алхимического единства земли и крови" или "ключевых точек аккупунктуры священных территорий", которые в дальнейшем были заимствованы "крестным отцом" нацистской геополитики Карлом Хаусхофером.



Вообще, в личном окружении Гитлера можно обнаружить многих людей, которые начинали свою карьеру как приближенные последней русской царицы и члены распутинско-бадмаевского политического кружка.

Судя по приведенному выше "закрытому тексту", эти и многие другие факты тайной истории России хорошо сохраняются в памяти тех, кто не теряет надежды на "возвращение великого хана", на реставрацию идеи Золотой Орды в пределах "четырех океанов".

\* \* \*

Возвращаясь к нашей основной теме — сталинизму, — мы можем теперь сказать, что последний является всего лишь вершиной "исторического айсберга", или, говоря иначе, — всего-навсего последним "воплощением" тоталитарного духа. Опасность сталинизма состоит не столько в самом конкретном факте его появления как исторической реалии, сколько в более общей глубинной тенденции, которую он собой манифестирует. Не усложняя дела, эту тенденцию можно определить просто как "языческо-сатаническую". Внутренняя психология язычества, принципиально не признавая ничего ОКОНЧАТЕЛЬНО святого, естественным образом порождает в человеке невольное стремление к преодолению всех и всяких запретов, управляющих истинно человеческим СУЩЕСТВОВАНИЕМ. Суть всякой магии состоит именно в такой попытке "преодоления табу"— чем выше духовность (то есть подлинная "человечность") человечества, тем сложнее и изощреннее становятся такие попытки реставрации "коллективно-бессознательного" в нем (одной из них был, несомненно, гитлеризм). Эта тенденция время от времени выдвигает и своих физических носителей — новых "шаманов" духовного обскурантизма и трансцендентального волюнтаризма. Именно шаманов, поскольку шаман представляет собой классический образ психотической одержимости. Последним "великим шаманом" великой бездны "нечеловеческого" был Сталин, но с его смертью эта бездна отнюдь не исчезла. Дух бездны ищет своего нового шамана. А отдаленные глубины Евразии до сих пор остаются своеобразной магической ретортой, где в любой момент может быть создан этот новый Великий Шаман — новый Чингис-хан или новый Сталин. Психология древнего шаманизма до сих пор глубоко укоренена в сознании и подсознании народов, населяющих эти регионы, и даже имеет тенденцию к расширению.

Но не мистифицируем ли мы ситуацию? Не слишком ли много мистики мы нагнетаем? Это, как говорится, "смотря с какой стороны посмотреть". Западный наблюдатель так устроен, что всегда пытается разглядеть в чужой реальности законы своей собственной. Восточный же — как правило — пытается НАВЯЗАТЬ всему постороннему свои законы. В этом и состоит разница между интеллектуальным и волевым подходом к действительности. В нашей статье мы как раз пытались показать ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ читателю некоторые характерные особенности принципиально ВОЛЕВОЙ установки, присущей языческо-шаманистической психологии, до сих пор доминирующей в большей части света, в том числе — и в

СССР. Волевая установка языческого типа ВСЕГДА предполагает максимальное порабощение окружения через безграничное навязывание собственного произвола. В реальности это всегда оборачивается своеобразным гипнотическим угнетением и подавлением всякой действительной человеческой инициативы, планомерным истреблением подлинно "человеческого фактора". Человек, постоянно подвергающийся чужеродной суггестивной и волевой обработке, действительно может идти только к вырождению и потере подлинных человеческих качеств. В магическом театре диктатора-шамана люди постепенно превращаются в нечто противоположное самим себе, в эдаких свиней Цирцеи\*. Дождутся ли они своего Одиссея?

*Владимир Гусман — специалист-востоковед, покинул СССР в 1986 году; в настоящее время живет в Западном Берлине (ФРГ).*

*\* Цирцея — владычица заповедного острова, превращавшая пристававших к берегу моряков в свиней; Одиссей, попавший на остров, расколдовал их.*

## ZESZYTY LITERACKIE

Nr 23 (LATO 1988)

W numerze 23 (LATO 1988): **PROZA I POEZJA:** CZESŁAW MIŁOŚZ, Wieczór; MIRON BIAŁOSZEWSKI, Pora złych snów; TOMAS VENCLOVA, Siedem wierszy; ADAM ZAGAJEWSKI, Wiersze; ZBIGNIEW KRUSZYŃSKI, Proza; KONRAD W. TATAROWSKI, Italia. **EUROPA ŚRODKA:** JOSIF BRODSKI, Sztuka dystansu. **SPOJRZENIA:** LESZEK KOŁAKOWSKI, Polityka i diabeł. **LISTY Z PARYŻA:** WOJCIECH KARPIŃSKI, Pamiętniki Stanisława Wachowiaka. **ŚWIADECTWA:** JERZY STEMPOWSKI, Listy do Józefa Czapskiego; ZDZISŁAW BAU, O niezwykłym występie Gombrowicza w roli Pat Leroya; WITOLD GOMBROWICZ, [Pat Leroy], Jeszcze jeden wielki i nieznan. **EMIGRACJE:** DANTE ALIGHIERI, Raj. Pieśń XVII; TOMAS VENCLOVA, Zaprawa w bezużyteczności. Przypadek Andrieja Kurbskiego. **WSPOMNIENIA:** JAN KOTT, Podróż na Wschód. **O KSIĄŻKACH:** JERZY KEMPIŃSKI, Na rogu Brattle i Mielżyńskiego; JAN ZIELIŃSKI, Prawo kontrastu. **NOTATKI. NOWE PUBLIKACJE. NOTY O AUTORACH. SOMMAIRE.**

Do nabycia w redakcji:

CAHIERS LITTÉRAIRES, 44 rue Tiquetonne, 75002 PARIS

## КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

**Введение.** Горький занимает исключительное положение в русской и советской истории. По существу, он является одним из главных создателей советского общества. По значимости, по авторитету, по характеру почитания, окружавшего Горького в СССР, он вероятно мог сравниться только с Лениным.

Но дело в том, что Горький не был ни марксистом, ни материалистом. Он никогда полностью не отождествлял себя с программой большевистской партии. Горький несомненно сочувствовал ей, старался помочь победе большевиков, как только мог, делал очень многое для консолидации советской власти, но вряд ли в глубине души считал большевиков чем-то большим, чем своими временными попутчиками.

Горький был примером мыслителя, который социально и культурно находился на стыке двух очень разных общественных групп. Это и определило его оригинальность. С одной стороны, он был выходцем из народных низов, впитавшим в себя традицию народного вольномыслия, в особенности — религиозного. С другой — он стал частью русской разночинной и очень радикальной интеллигенции, которая жадно воспринимала идеи, идущие с Запада. Выработывая свое миро-

*Михаил Агурский*

**НЕИЗВЕСТНЫЙ ГОРЬКИЙ**

воззрение индивидуально, Горький осуществил синтез взглядов этих двух, столь различных групп, что резко выделило его среди современников.

Самой мучительной проблемой была для Горького проблема зла. Он с раннего детства жил в исключительно тяжелых условиях, сталкиваясь с крайней жестокостью как в собственной семье, так и в окружающем мире. Неудивительно, что при первой возможности он взбунтовался против этой жизни и примкнул к радикальной разночинной интеллигенции, с которой сблизился в Казани.

На первый взгляд мировоззрение Горького, его политические взгляды мало чем отличаются от взглядов, господствовавших тогда в кругах этой интеллигенции. Но это лишь на первый взгляд. С самой юности Горький мучительно старался выработать свое собственное мировоззрение, которое отвечало бы на так называемые "детские вопросы бытия": "Откуда человек? Что такое жизнь? Есть ли у нас душа?" В 1923 году он писал:

"... Я давно уже чувствовал необходимость понять — как возник мир, в котором я живу, и каким образом я постигаю его? Это естественное ...желание незаметно переросло у меня в недолимую потребность, и я стал... обременять знакомых "детскими" вопросами".

Ответы на эти вопросы, которые Горький нашел в результате собственных исканий, резко отличались от тех, которые давала окружавшая его интеллигенция. Горький довольно рано пришел к крайне своеобразному научно-философско-религиозному синтезу, и хотя внешне солидаризовался с большевиками и другими радикальными кругами русского общества, поскольку их непосредственные политические и социальные цели почти полностью совпадали с теми, к которым стремился он, исходил при этом из совершенно иных мотивов. Анализ этих мотивов чрезвычайно важен, ибо показывает, что движущие силы русской революции зачастую резко отличались от того, как они провозглашались в различных политических декларациях или партийных программах. Они определялись во многом не только неприятием значительной частью русского народа существующей политической или социальной системы. Они определялись также неприятием существующего мира вообще и стремлением к искоренению в нем зла.

Эрик Фегелин, а за ним и Аллен Безансон считают, что интеллектуальные корни ленинизма уходят в гностицизм, причем гно-

стицизм органический, стихийный, бессознательно унаследованный русской радикальной мыслью от западноевропейских предшественников. В случае Горького можно говорить, пожалуй даже о сознательном гностицизме, то есть дуалистической концепции мира, исходившей из представления, что природа и материя в целом являются носителями мирового зла и подлежат не только коренной перестройке, но даже уничтожению — путем постепенной их переработки в чистый дух (который Горький отождествлял с энергией). В своих конечных выводах Горький почти не отличался от Тейяра де Шардена и был близок к Вернадскому (который, как известно, оказал глубокое влияние на этого французского философа).

Психологические корни. Главной психологической особенностью личности Горького было стремление к цельности мировоззрения. Это было, видимо, связано с тем, что его психика была очень напряженной, и он, по собственному признанию, иногда находился на грани безумия. Лучше всего это описано им в коротком, но исключительной важности рассказе "О вреде философии":

"Я видел нечто неопишимо страшное: внутри огромной, бездонной чаши, опрокинутой набок, носятся уши, глаза, ладони рук с растопыренными пальцами, катятся головы без лиц, идут человечьи ноги, каждая отдельно от другой, прыгает нечто неуклюжее и волосатое, напоминая медведя, шевелятся корни деревьев, точно огромные пауки, а ветви и листья живут отдельно от них; летают разноцветные крылья, и немо смотрят на меня безглазые морды огромных быков, а круглые глаза их испуганно прыгают над ними; вот бежит окровавленная нога верблюда, а вслед за нею стремительно несется рогатая голова совы, — вся видимая мною внутренность чаши заполнена вихревым движением отдельных членов, частей, кусков, иногда соединенных друг с другом иронически безобразно.

В этом хаосе мрачной разобщенности, в немом вихре изорванных тел величественно движутся, противоборствуя друг другу, Ненависть и Любовь, неразличимо подобные одна другой, от них изливается призрачное, голубоватое сияние, напоминая о зимнем небе в солнечный день, и освещает все движущееся мертвенно однотонным светом...

Душа моя сильно болела. И если б. два года назад, я не убедился личным опытом, как унизительна глупость самоубийства, я наверно применил бы этот способ лечения больной души".

Как мы знаем, Кафка испытывал почти те же ощущения, что Горький. Его так же преследовало чувство непрочности и иллюзорности бытия.

В письме к М. Ф. Андреевой Горький высказывается более определенно:

“Не однажды крылатое безумие над моей головой властно реяло, и я чувствовал пламя под черепом”.

Горький исключительно часто находился в состоянии глубокой депрессии и, например, даже в период жизни на Капри, на вершине славы, окруженный друзьями, поклонниками и поклонницами, жаловался в письмах своей первой жене Е. П. Пешковой на полное одиночество.

Выработка цельного и непротиворечивого мировоззрения была главной проблемой Горького, ибо отсутствие такого мировоззрения неминуемо повлекло бы за собой тяжелый душевный кризис с непредсказуемыми последствиями.

**Эзотеричность Горького.** В то же время Горький принадлежал к тем авторам, которые сознательно пытаются скрыть от читателя это свое истинное мировоззрение. Самым простым объяснением этой скрытности в случае Горького можно было бы счесть естественный страх самоучки перед насмешками по поводу его недостаточной образованности. Но это объяснение явно несостоятельно, хотя бы потому, что Горький уже очень рано начал весьма свободно высказываться по широкому кругу политических, научных и философских вопросов. Видимо, для скрытности были и другие, более важные мотивы. Как мы увидим, взгляды Горького имели весьма эзотерический характер. Видимо, он просто не считал возможным высказать их публично без риска быть уничтоженным в глазах общественного мнения. Горький тщательно выработывал такую форму высказываний, которая, с одной стороны, давала бы более или менее адекватное выражение его мыслей, а с другой — не вызывала излишних подозрений у читателя.

В этом плане главным художественным приемом Горького было использование масок героя, за которой прятался он сам. Этот прием Горький довел до такого совершенства, что его литературное творчество в зрелые годы превратилось в сплошной театр масок, нашедший поистине монументальное выражение в “Жизни Клима Самгина”.

Можно привести множество примеров этого горьковского “театра масок”. В “Заметках из дневника” есть рассказ о некоем Болясине, которого одолевает мысль о непрочности бытия:

“Я думаю — врут ученые, — рассуждает он. — Неизвестна им точность ходов солнца. Я вот гляжу, когда солнышко заходит, и думаю: а вдруг не взойдет оно завтра? Не взойдет — и шабаш...”

Другой пример из тех же “Записок”: Горький описывает поджигателя, влюбленного в огонь и с замечательной образностью рассказывающего на суде об огне и пожаре. Но спустя десять лет Горький сам, уже от своего имени, с восторгом описывает огонь в почти тех же выражениях.

Возникает, однако, вопрос: использовал Горький маски только для сокрытия своих истинных мыслей или же в манипуляции этими масками он видел увлекательную игру?

В очерке о Льве Толстом Горький называет его “озорником”. Он утверждает, что Толстой выдавал себя не за того, кем был на самом деле. Будучи язычником, Толстой предстал перед людьми как христианский мыслитель — и не из-за лицемерия, а в ходе некоей странной игры с самим собой и другими.

Похоже, что таким “озорником” был и сам Горький. Если Толстой под маской христианского мыслителя скрывал свое глубинное язычество, то Горький воспользовался маской радикала (позже — социал-демократа), чтобы скрыть свое глубинное отрицание мира, свое отождествление с древней дуалистической традицией, видевшей в мире творение дьявола и страстно искавшей спасения в уничтожении мирового зла. Большевики были близки Горькому, как люди, наиболее активно стремившиеся к радикальной переделке всего мира, поэтому он им искренне сочувствовал, — но никогда не отождествлял себя с ними духовно. Он оставался трагическим духом отрицания, искавшим путей спасения мира и построившим собственную сотериологию, в которой глубоко скрытая древняя мистика берет на вооружение элементы различных современных философских и научных доктрин.

**Философско-научные аспекты.** Мировоззрение Горького сложилось не сразу. Более того, оно формировалось одновременно в двух плоскостях: философско-научной и религиозной — причем элементы одной переплетались с элементами другой, взаимно укрепляя друг друга. При этом большая часть философско-научных элементов его синтеза связана с философией природы.

В конце 1931 года, перечисляя своих учителей, Горький писал: “Лично меня всю жизнь учили и продолжают учить... Шекспир и Сер-

вантес, Август Бебель и Бисмарк, Лев Толстой и Владимир Ленин, Шопенгауэр и Мечников, Флобер и Дарвин, Стендаль и Геккель, учил Маркс, а также Библия, учили анархисты Кропоткин и Штирнер...”

Этот список весьма любопытен. Он построен так, чтобы нельзя было понять, кто для Горького является позитивной, а кто негативной величиной. Ясно, что Бисмарк, а также Штирнер, как бы поучительны они ни были, не могли быть для Горького положительными учителями. Как мы увидим, не был им для него и Дарвин, хотя для понимания этого нужно знать Горького достаточно хорошо. Горький, всегда ловко оперировавший с двусмысленностями, включил, однако, сюда Шопенгауэра, так что для постороннего человека это был как бы очередной пример отрицательного учителя. На самом деле это было далеко не так.

Первой философской книгой, которую прочел молодой Горький была этика Шопенгауэра в популярном изложении. Шопенгауэр во многом определил горьковское мировоззрение. Однако Горький никогда полностью не отождествлял себя с ним. Горький, например, отвергал этику Шопенгауэра. Но именно на его философии, как на матрице, он создавал свой собственный научно-философский синтез. В 1927 году он признавался Далмату Путохину, что Шопенгауэр остается его главным любимцем. Уже после возвращения в СССР Горький, в беседе с начинающими писателями, говорил, что в молодости прочел Шопенгауэра б е з в р е д а д л я с е б я . Эта формулировка допускала различные интерпретации — Горький был мастером злого языка.

Поскольку Шопенгауэр вошел в популярную историю прежде всего как этический пессимист и проповедник пассивности, проще всего было бы отрицать его влияние на Горького вообще. Но дело в том, что этика Шопенгауэра была лишь надстройкой над его философскими взглядами, а их уже Горький полностью разделял, хотя и делал из них противоположные этические выводы. О том, что философия Шопенгауэра позволяет строить и другую этику, писал еще в 1888 году Николай Грот, известный русский психолог:

“Может быть, этой философии б у д у щ е г о удастся выяснить, каким образом ... н е р а з у м н а я в о л я к ж и з н и л и ч н о й перерабатывается и поглощается другой, всеобщей, р а з у м н о й в о л е й к ж и з н и м и р о в о й , г а р м о н и ч е с к о й , д у х о в н о й... Во всяком случае, при построении этой н о в о й философии, ищущей примирения п е с с и м и з м а (в отношении к жизни материальной, эгоистической)



и оптимизма (относительно жизни духовной, альтруистической), мы не должны забывать, в какой мере подготовил нас к ней Шопенгауэр”.

Именно такую “новую философию” и строил на основе философии Шопенгауэра Горький. Если для Шопенгауэра мир был лишь совокупностью человеческих представлений о нем, то для зрелого Горького идеи человека о мире определялись нуждами человеческой практики (что, в общем, соответствовало прагматизму Джеймса, с которым Горький познакомился позже и который высоко ценил). Мысль о том, что человеческие идеи, равно как и критерий их истинности определяются нуждами человеческого опыта, Горький усвоил от Ницше, а также от одно время близкого ему Александра Богданова. “Истина, — говорил Богданов, — это живая организующая форма опыта, она ведет нас куда-то в нашей деятельности, дает точку опоры в жизненной борьбе”. Если это так, то полностью снимается вопрос об истине в каком-либо абсолютном плане, поскольку истина — это лишь то, что полезно человеку в его борьбе с природой. Подобная философия приводит к отрицанию законов и вообще любой целесообразности в природе. Но именно такой взгляд и был высказан Шопенгауэром, который считал представление о целесообразности в природе принудительно навязанным человеку.

В разгар своей дружбы с Богдановым Горький словами одного из героев “Исповеди” так высказывается об истине:

“На сей день — это так, а как будет завтра — не ведаю... В жизни нет настоящего законного хозяина, не пришел еще он, и неизвестно мне, как распорядится, когда придет... Нельзя говорить человеку: стой на сем...”

Позднее, в 1926 году Горький весьма откровенно писал своему биографу Илье Груздеву:

“Мир-то ведь помещен в голове человека, мир есть не что иное, как только комплекс его мнений, гипотез, теорий о сути явлений вне головы. Истинность этой начинки весьма сомнительна, но она украшает нашу жизнь и даже в некоторой мере практически облегчает ее”.

Горький заимствовал у Шопенгауэра взгляд на природу, как враждебный человеку хаос. Как известно, Шопенгауэр был воинствующим атеистом и полностью отрицал разумное начало в природе. Фундаментальным носителем жизни он считал волю, как некий творческий источник, разлитый повсюду, хотя и в неравной степени. Но это жизненное начало он считал слепым и неспособным внести целесообразность в окружающий мир.

Еще Воронский обратил внимание на горьковское “восприятие природы, как ненадежного и коварного хаоса”. Для Горь-

кого, заметил Воронский, "мир неверен, ненадежен, непрочен. Вселенная лишена гармонии и упорядоченности. Господствует неосмысленная стихия, неожиданное и непредвиденное".

Воронский не связывал эти взгляды Горького с философией Шопенгауэра, но сам Горький всегда сознавал эту связь. В письме Ольге Форш в декабре 1930 года он признавался, что находит природу "глупой, согласно с Артуром Шопенгауэром". Несколько ранее, в сентябре 1928 года, он писал:

"Природа — хаос неорганизованных, стихийных сил... Природа бессмысленно тратит силы свои на создание болезнетворных микроорганизмов... вреднейших насекомых... она создает бесчисленное количество вредных или бесполезных растений и трав, истощая на размножение паразитов здоровые соки, потребные для произрастания питающих человека злаков и плодов..."

Отрицание Горьким природы, как хаоса, не было статичным. По всей видимости, эта идея кристаллизовалась у него давно. Много лет спустя в статье о Пришвине, написанной в 1926 году, Горький так объяснял эволюцию своих взглядов:

"Я очень долго восхищался лирическими песнопениями природе, но с годами эти гимны стали возбуждать у меня чувство недоумения и даже протеста. Стало казаться, что в обаятельном языке, которым говорят о "красоте природы", скрыта бессознательная попытка заговорить зубы страшному и глупому зверю Левиафану — рыбе, которая бессмысленно мечет неисчислимые массы живых икринок и также бессмысленно пожирает их... Есть нечто "первобытное и атавистическое" в преклонении человека пред красотой природы — красотой, которую он сам, силой воображения своего, внес и вносит в нее. Ведь нет красоты в пустыне, красота — в душе араба... Материалисту Геккелю угодно было найти "красоту форм" в безобразнейшем сплетении морских водорослей и в медузах, он — нашел и почти убедил нас: да, красиво! А древние эллины, тончайшие знатоки красоты, находили, что медуза отвратительна до ужаса. Человек научился говорить прекрасными, певучими словами о диком реве и вое зимних метелей, о стихийной пляске губительных волн моря, о землетрясениях, ураганах. Человеку и слава за это, пред ним и восторг, ибо это сила его воли, его воображения неутомимо претворяет бесплодный кусок Космоса в обители свое..."

Вслед за Шопенгауэром Горький отрицал не только гармонию, но и эволюцию природы, лежавшую в основе дарвинизма. Зная, однако, что дарвинизм был фетишем современной ему интеллигенции, Горький не выступал против него публично. Однако в записных книжках 1922–1924 годов он прямо называет понятие эволюции м е т а ф и з и ч е с к и м и предлагает выбросить его из обихода:

“Вымести из обихода представления о Боге, эволюции и вообще все метафизические “сущности” — как неудачные результаты стремления к синтезу процессов вне и внутри человека”.

Там же Горький с полным одобрением отзывается о пьесе Бернарда Шоу “Назад к Мафусаилу”, где содержится резкая критика дарвинизма, как “разновидности идиотизма”, и в противоположность ему выдвигается бергсонинский принцип “творческой эволюции”: “... в о л я с о в е р ш и т ь что-либо может, при определенном уровне ее интенсивности..., творить и организовывать новую ткань”. У Горького, в рассказе “Сторож” (1923 год), студент Баженов говорит:

“Дарвин — это та истина, которую я не люблю, как не любил бы ад, будь он истиной”.

А в одной из статей 1928 года Горький утверждает, что большевики не хотят жить по Дарвину, что также допускает самые различные толкования. Какое из них было близко ему самому, видно из его воспоминания о своем первом, несохранившемся произведении “Песня старого дуба”:

“Из нее в памяти моей осталась только одна фраза: “Я в мир пришел, чтобы не соглашаться” — и, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции”.

Антропоцентризм. Другой важной чертой мировоззрения Горького был его антропоцентризм, приводивший к подлинному культу человека (точнее — его мысли), как абсолютного совершенства в противопоставлении природе. В этом антропоцентризме легко увидеть вопиющее противоречие: как мог слепой, бессмысленный хаос произвести такое чудо совершенства, как человек с его мыслью? Но Горький, как это ни парадоксально, и не считал человека частью природы. В лекции 1920 года он говорил:

“... очень может быть, что в природе человек является ... мозгом, созданным какими-то таинственными силами, неизвестными нам”.

А в письме Груздеву в марте 1926 года развивал эту мысль:

“Человек — светило, зажженное во тьме хаоса, может быть против воли “природы”, случайное творение в безумии ее творчества”.

Неудивительно, что Воронский мог заметить (уже в 1936 году, после смерти Горького), что “космос, вселенная и человек с его разумом у Горького слишком разъединены, обособлены и противопоставлены друг другу”.

Человек, противопоставленный природе, вопреки которой он возник, даже отличающийся от нее субстанционально, занимает

центральное место в философии Горького. В письме к Репину в ноябре 1899 года он говорит:

“Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он — все... Верю в бесконечность жизни, а жизнь понимаю, как движение к совершенствованию духа”.

А в поэме 1903 года Горький уже так формулирует свои представления о человеке:

“... с каждым шагом я все большего хочу... и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознания моего! Теперь оно во мне подобно искре — ну что ж? Ведь искры — это матери пожаров! Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок вечных, найти гармонию между собой и миром, в себе самом гармонию создать и, озарив весь мрачный хаос жизни на этой пострадавшей земле, покрытой, как накожную болезнью, корой несчастий, скорби, горя, злобы, — всю злую грязь с нее смести в могилу прошлого!”

Поистине — гностический гимн XX века, скажем мы, забегая несколько вперед. Вот из каких мистических глубин (а вовсе не из “революционно-демократических идеалов”, как толкуют советские учебники) вырос впоследствии у Горького знаменитый образ “горящего сердца” Данко...

Этот последовательный романтический антропоцентризм заставляет поставить вопрос и о так называемом ницшеанстве Горького. Сам он многократно отрицал влияние Ницше. Но из сказанного выше ясно, что ницшеанство не могло не оказать на него глубокого воздействия. Однако, если в философии Ницше Человек (сверхчеловек) противопоставляется д р у г и м л ю д я м , то у Горького имеет место кардинально иное противопоставление: Ч е л о в е к а — П р и р о д е. В отличие от подчеркнутого персонализма Ницше горьковский антропоцентризм имеет к о л л е к т и в и с т с к и й, а н т и п е р с о н а л и с т с к и й характер. Противопоставление человека природе неизбежно влечет за собой противопоставление разума — инстинктам. Уже у Шопенгауэра степень обособления интеллекта от воли служила критерием различий между людьми. Эта проблема постепенно начинает занимать центральное место и у Горького. Если в “Человеке” он еще поет гимн всепобеждающей Мысли, то со временем приходит к пониманию, что Мысль слишком часто оказывается пленницей слепых инстинктов, унаследованных человеком от его животной природы. В замечательном рассказе “Сторож” (1928 год) он пишет:

“Передо мной разыгрывалась тяжелая драма двух начал — животного

и человеческого: человек пытается сразу и навсегда удовлетворить животное в себе, освободиться от его ненасытных требований, а оно, разрастаясь в нем, все более порабощает его... У меня не хватало ни разума, ни воображения, чтобы соединить эти два мира, разъединенных глубокой трещиной взаимного отчуждения”.

Чуткий Воронский заметил центральность этой проблемы для Горького, но ошибочно полагал, что Горький чтит лишь разум, органически слитый с инстинктами. В действительности же Горький мечтал о царстве чистого разума и об уничтожении всего материального мира. Инстинкт для него был всего лишь временным попутчиком, от которого следует освободиться.

Как и его философский учитель Шопенгауэр, Горький считал, что люди различаются по степени обособления интеллекта и воли — в его случае: разума и инстинктов. Поэтому он крайне враждебно относился ко всем тем группам людей, которые ближе всего стоят к природе, в особенности — к крестьянству, которое рассматривал не столько как социальную, сколько как биологическую группу, у которой инстинкты доминируют над рассудком. Антикрестьянские взгляды Горького достаточно известны, но обычно им приписывается чисто социальное происхождение, не связанное с глубинными философскими основами горьковского миропонимания. Что эта связь в действительности существовала и была вполне осознанной, свидетельствует письмо Горького к Воронскому:

“Я не согласен с Вашим уравнением труда деревни с трудом города, я считаю его не только ошибочным, но и — вредным... В одном случае затрачивается энергия чисто физическая, в другом — психофизическая. Крестьянин не создал рожь, пшеницу, овощи и все плоды земные, он их нашел и только собирает. Но двигатель Дизеля не существовал в природе, он создан воображением и разумом горожанина. Свекла найдена мужиком, но не мужик догадался добывать из нее сахар. Его каторжный труд облегчается не его волей, а волею тех, кто выдумывает жнейки, трактора и т. д. Одно дело поймать зайца, другое — электричество. Если бы крестьянин исчез с его хлебом, — горожанин научился бы добывать хлеб в лабораториях”.

Горький, таким образом, вообще отрицает за крестьянином интеллект, полагая его существом инстинктивным, биологически погруженным в хаотическую, враждебную и бессмысленную природную среду.

Более того, — Горький даже целые народы различает по степени их удаленности от природы. Для него восточное начало связа-

но с преобладанием инстинкта, в то время как европейское — с преобладанием интеллекта. Инстинкт обрекает на пассивность, интеллект — на активность. Это различие, в его понимании, имеет не социальный, а биологически-детерминированный характер. Именно отсюда берет начало горьковская идея о “двух душах” русского народа, возникших от смешения славянской (европейской) и монголо-угро-финской (восточной) крови. Монгольская кровь обрекает русских на пассивность, тогда как европейская — залог их активности. В большевиках Горький видел именно “активную часть” русского народа: его пассивную часть он страстно ненавидел и непримиримо отвергал. В сущности, он приходил здесь к известному тезису вечной и неизменной “коллективной души народа”, выдвинутому еще в конце 90-х годов Гюставом Ле-Боном (с работами которого он был хорошо знаком, хотя — по своему обыкновению — никогда на них прямо не ссылался).

**Отрицание материализма.** В свете вышесказанного нетрудно понять, что Горький, если он хотел быть последовательным, должен был отрицать материализм. В этом отрицании он шел за философией природы популярного в России Вильгельма Оствальда и того же Ле-Бона. Оба они утверждали, что первоосновой мира является не материя, а энергия, которая трактовалась ими как неуничтожимая субстанция, способная к разнообразным превращениям, а не как атрибут материальных объектов. Оствальд распространял понятие энергии также на психические и социальные явления, оценивая прогресс по уровню накопленной в обществе энергии. Он полагал, что понятие энергии снимает противоречие между материей и духом. Процессы сознания были для него, прежде всего, энергетическими.

Такая теория не могла устраивать Горького полностью, поскольку она не объясняла, почему энергия не могла внести изначальную целесообразность в природу. Ответ Горького состоял в том, что подавляющая часть энергии находится в мире в “связанном состоянии” и представляет собой слепую силу, адекватную шопенгауэровской “воле”. Истинный прогресс зависит от ее высвобождения, а это высвобождение является результатом деятельности разумного начала. Само же разумное начало возникает вследствие какого-то спонтанного освобождения скованной энергии.

Это толкование открыл Горькому тот же Богданов, который целиком ассимилировал энергетизм Оствальда и пытался примирить его с Марксом. Именно Богданов усилил философскую функцию энергетизма, снимая с его помощью противоречие между материализмом и идеализмом:

“Наша точка зрения устраняет понятия “материи” и “духа”, как неточные и запутывающие анализ. Но она пользуется сопоставлением “физического” и “психического” опыта и... приходит к выводу, что ... опыт “физический” представляет высшую ступень организованности, а следовательно производную. Психический опыт организован индивидуально, физический — социально, то есть это различные фазы организующего процесса, из которых относительно-первичным является “психическое”...”

Достаточно привести несколько примеров высказываний Горького, чтобы увидеть, насколько он был зависим от Оствальда, Ле-Бона и Богданова. В лекции 1920 года он говорит:

“Материя представляет собой то же самое, что энергия”.

В записных книжках середины 20-х годов он выражается еще более определенно:

“Углубление материализма до идеи: материя=энергия, а высшее качество — мысль и воля человека, к этому — к выработке этой энергии — и сводятся все процессы природы”.

Публично Горький на этот счет высказывается лишь один раз — в ответе Воронскому (1928 год) :

“Идеализм для меня неприемлем не только потому, что мой “идеал” — человек... и что я убежден в неограниченности развития способностей человека, — идеалистические системы философии органически чужды мне, потому что они, в сущности своей, глубоко пессимистичны в отношении человека, рисуют мир как среду, навсегда враждебную ему, а враждебность эту — неодолимой силами человека, тоже навсегда... Идеализм для меня решительно враждебен... потому еще, что он глубоко реакционен, ибо — религиозен... Материализм не враждебен мне, но, конечно, и по отношению к нему я стою в позиции еретика. Здесь мое разноречие не в том, что, по мнению некоторых крупных ученых, материализм уже во многом не согласуется с теорией атомов... Это меня мало трогает, я не философ. Но я думаю, что материализм тоже “временная истина”, а мне часто кажется, что некоторые толкователи... возводят его на степень истины абсолютной... А так как всякие абсолюты неизбежно напоминают мне боги свойства... и так как всякая религия по существу своему нечеловечна, то я опасуюсь: не проникло ли в новое слово очень старое и вредное содержание... Затем: у материалистов заметно желание упростить и механизировать человека... Повторяю: человек для меня выше всех идей и всех дел своих...”

Повторяя здесь, в основном, аргументацию Богданова, Горький вместе с тем высказывает одно оригинальное, но весьма стран-

ное утверждение — что материализм является лишь временной истиной.

Дело в том, что для Горького центральную роль в историческом процессе играло превращение материи в энергию — как путем естественного распада материи, так и целенаправленным ее превращением в энергию в процессе человеческой деятельности (в которой трудовая деятельность, по Горькому, лишь одна из форм). И это вполне естественно. Если, как Горький, считать, что материальная, косная и хаотическая природа есть носительница мирового зла, то всякое освобождение энергии из плена материи является законным и единственным путем к уничтожению этого зла. В идеале материя должна быть уничтожена вся. Здесь Горький следовал за Ле-Бонам, который считал, что материя возникла из-за какой-то космической катастрофы и обречена на возвращение в исходное небытие. Таким образом, философско-научной базой горьковской сотериологии является тезис: материя — зло, энергия — разум, цель человечества — полное преобразование материи в энергию. Тогда естественно, что материализм — это временная истина. Не будет материи, не будет и материализма!

Если психические процессы Горький, вслед за Оствальдом, считал энергетическими, то социальные интерпретировал как психические. Он был убежден, что отношения между людьми определяются не только видимыми социальными связями, но — и в гораздо большей степени — невидимыми и неосознанными связями психофизическими.

Понятия “психофизических” процессов Горький заимствовал у московского психиатра Наума Котика, который в 1904 году опубликовал книгу “Эманация психофизической энергии”, вскоре переведенную на немецкий и французский языки. Котик ставил парапсихологические эксперименты с простейшими формами передачи мысли на расстояние и пришел к выводу, что мышление сопровождается излучением особого вида энергии, которая обладает психическими и физическими свойствами, то есть является “психофизической”. Входя в мозг другого человека, она производит в нем те же представления, чем и объясняется телепатия. Эта энергия циркулирует в теле от мозга к конечностям и обратно, скапливается на поверхности тела, трудно проникает через воздух и преграды, зато легко стекает по медному проводнику и сама собой переходит от тела с большим “психическим



зарядом" к телу с "меньшим". На основании всех этих выводов Котик приходил к заключению, что единственной реальностью, данной людям в ощущениях, является не косная материя, а энергия, которая может передаваться не только в виде света или тепла, но и в виде мысли.

Для Горького это открывало заманчивые возможности: освобождение энергии из материи может происходить также с помощью интенсивной умственной деятельности, что ускоряет процесс полного уничтожения материи, а кроме того — человек с большой психической энергией может "заряжать" этой энергией, "активизировать" других людей.

Котик произвел на Горького сильное впечатление. Их переписка известна только в выдержках. Уже в письме Пятницкому в 1908 году Горький писал:

"Мне кажется, что мысль — вид материи или вернее один из видов эманации материи... Я делаю отсюда выводы удивительные... Но я не совсем мечтатель и фантазер: доктор Котик... позволяет мне опереться на его опыты".

В повести "Исповедь" Горький рассказывает об исцелении расслабленной:

"Десятки очей обливали больную лучами, на расслабленном теле скрепились сотни сил".

Неудивительно, что Котик писал ему в изумлении:

"Я был поражен совпадением идей "Исповеди" (особенно при описании "чуда") с результатами моей работы..."

Легкость и энтузиазм, с которыми Горький усвоил понятие "психофизических процессов", имеют свою предысторию, восходящую к его тайному преклонению перед философией оккультных явлений Шопенгауэра. В "Детях Солнца", написанных в 1905 году, сестра главного героя узнает о самоубийстве жениха на расстоянии — в момент этого самоубийства. Эпизод этот для Горького не случаен — непосредственную передачу мысли на расстояние он считал явлением достоверным и научно объяснимым. Как известно, Шопенгауэр как раз и предлагал такое объяснение. Поскольку время, пространство и причинность, утверждал он, являются лишь категориями нашего рассудка, то любое нарушение мозговой деятельности, снимающее эти ограничения, может совмещать события, разделенные во времени и пространстве и несвязанные между собою причинно. Можно думать, что Горький полностью разделял это убеждение, но боялся его открыто защи-

щать. Так, в конце 1898 года, обращаясь к Ф. Батюшкову за книгой Дюпреля "Загадочность человеческого существования", он пишет, что уже читал "Философию мистики" этого автора, которая показалась ему растянутой и неоригинальной, ибо все, им сказанное, "уже есть у Шопенгауэра".

Можно утверждать, что после 1908 года размышления о психофизических процессах, понимаемых как подоснова процессов социальных, становятся центральными в философии Горького. Он приходит к взгляду на прогресс человечества как на процесс накопления мозгового вещества людьми, которые преодолели в себе животную зоологическую природу. Такие люди составляют элиту человечества. С помощью прямой передачи психофизической энергии они включают других людей в процесс активной трансформации природы (превращения материи в энергию разума). Этот медленный и мучительный процесс и составляет, в сущности, содержание монументального символического романа Горького "Жизнь Матвея Кожемякина". Здесь, под видом городка Окурова, показано исходное зоологическое состояние человечества, в которое капля за каплей проникает психофизическая энергия активной элиты. Горький и это противопоставление элиты и зоологического человечества трактует расширительно, полагая, что не только отдельные люди, но и целые народы отличаются по уровню психофизической энергии. Не случайно в это же время, в октябре 1912 года, он говорит о России как "очаге психической чумы". Это не метафора — речь идет о накопленной в России отрицательной психофизической энергии, угнетающе влияющей на весь мир.

С точки зрения "психофизической концепции" понятно и отношение Горького к войне: она не просто уничтожает человеческие жизни, но и впустую растрчивает ценнейшее мозговое вещество, от которого зависит спасение мира от зла. В ноябре 1915 года Горький пишет:

"В мире очень мало вещества, способного действительно мыслить... Из тела каждой страны, участвующей в катастрофе, война ежедневно вырывает куски лучшего, наиболее здорового мяса, выплескивает на обезображенную землю ценнейшую кровь, разбрызгивает по грязи творческое вещество мозга".

Наконец, в потенции, даже "классовое сознание", которое марксизм рассматривал как продукт чисто социального бытия, у Горького приобретает психофизическое, то есть биологическое

происхождение — и в 1938 году он действительно говорит о классовых признаках, как о чем-то “очень внутреннем, нервно-мозговым, биологическом”.

Если классовая борьба имеет биологическую подоплеку, то практические выводы из такого тезиса напрашиваются сами собой и могли быть легко сделаны другими.

**Коллективизм.** Чтобы до конца понять горьковскую сотериологию, нужно учесть ее глубинный антиперсонализм. Существование раздробленного на индивидуумы человечества — это одно из проявлений мирового зла. Такое человечество — это лишь огромная тюрьма с множеством камер, построенных из враждебной материи, в каждой из которых пленена духовная энергия. Все, что делает человека отдельной личностью, — ловушка, которую надо разрушить. Путь к этому — в усилении коллективного начала, которое с помощью психофизических процессов собирает воедино распавшийся по материальным клеткам дух человека, коллективную энергию человечества. В “Детях Солнца” главный герой Протасов говорит:

“Наступит время — из нас, людей, из всех людей, возникнет к жизни величественный стройный организм — человечество... Человечество растет и зреет. Вот жизнь, вот смысл ее”.

Горький и здесь следовал за Оствальдом. Однако, если Оствальд, впервые изложивший концепцию “энергетического коллективизма”, считал, что к коллективности более близки народы, стоящие ближе к природе, то Горький, напротив, именно в удаленности от природы видел мерило прогресса и потому резко выступал против толстовской “каратаевщины”. Если Оствальд предпочитает “более ценную личность” менее ценной, то Горький доказывает вредность индивидуального возвышения личности над народом. В “Исповеди” он говорит:

“Все несчастья начались от того, что первая человеческая личность оторвалась от чудотворной силы народа... и сжалась от страха, перед одиночеством и бессилием своим... “Я” — злейший враг человека”.

В статье “Разрушение личности” он повторяет эту же мысль — индивидуум не имеет будущего, спасено может быть только человечество:

“Коллектив не ищет бессмертия, — пишет он здесь. — Он его имеет, личность же, утверждая свою позицию владыки людей, необходимо должна воспитать в себе жажду вечного бытия”.

Горький последовательно противопоставляет личность народу.

Личность, по его словам, ведет анархическую борьбу с народом. Если существуют отдельные герои, то лишь потому, что они концентрируют в себе тысячи волей, то есть выражают волю коллектива. Именно коллектив, народ — единственный творец всей культуры и истории. Все лучшее в литературе создано народом: так, например, образы Гамлета и Дон Жуана заимствованы из народного фольклора. Наилучшим примером коллективного творчества является язык. Другой пример — литература:

“Наша литература — наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В ней — вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы славянской души”.

Коллективизм, таким образом, неминуемо приводит Горького к органическому национализму. Но вместе с тем этот национализм отнюдь не имеет характера русского шовинизма — напротив, он допускает культ всех европейских народов и даже арийской расы в целом. Так, в январе 1924 года, обращаясь к Шоу, Горький пишет:

“Следя за работой англичан в области мировой культуры, я говорю себе: вот раса, которая служила и служит делу пропаганды активных идей и распространению арийской культуры с наибольшей энергией и успехом, наиболее ощутимым”.

В то же время Горький исключительно высоко ценил национальные качества евреев и более того — был даже склонен иногда превозносить их над национальными качествами других народов. Это не противоречило, однако, его общей концепции, так как она исходила из того, что в ходе исторического развития все человеческие коллективы, в конце концов, сольются воедино.

Важным аспектом горьковского коллективизма было фактическое отрицание семьи. Никогда не высказываясь по этому поводу как публицист, он всем своим художественным творчеством утверждал мысль, что семейная жизнь — это капкан для человека, она стесняет его развитие, фактически никакой семьи и не существует, а есть лишь общественная ложь, убивающая человеческую душу. Особенно характерны в этом отношении его пьесы — “Дачники” и “Варвары”. Одна из героинь “Дачников”, бросая вызов этой “общественной лжи”, призывает, по существу, к уничтожению семьи, когда заявляет, что нужно, ничего не боясь, следовать своим спонтанным чувствам.

Этот культ спонтанной любви тоже имел под собой у Горького психофизическую основу, ибо накопление сексуальной энер-

гии он, по всей видимости, рассматривал как крайне важный аспект психофизической деятельности человеческого общества. Женщина была для него главным носителем этой позитивной сексуальной активности, взрывающей затхлое общество. Но разумеется, психофизическую ценность представляла собой лишь та сексуальная активность, которая была выражением принципиально психического, а не животного процесса, то есть — любви.

Высшим выражением горьковского коллективизма было, однако, его богостроительство. Бог в его понимании — это функция коллектива, функция отказа людей от своего “я”. “Нет Бога у людей, пока они живут рассеянно, — говорит один из героев “Исповеди”, — нет места Богу в этом хаосе разобщения всех со всеми...” Однако при определенных условиях Бог может превратиться в психофизическую реальность. Этим условием является возникновение коллектива. Народ, “неисчислимый мировой народ” — вот истинный богостроитель. “Христос, — говорится в той же “Исповеди”, — первый истинно-народный Бог, возник из духа народа, яко птица Феникс из пепла”. Понятно, что и другие религиозные образы тоже являются для Горького не мистическими, а психофизическими сущностями: “Дьявол есть образ злобы твоей”, — говорит он там же.

**Бессмертие.** Мы приближаемся к центральному узлу всей горьковской сотериологии. Его составляет концепция коллективного бессмертия. Один из немногих публичных намеков на нее мы находим в лекции 1920 года:

“Если человек, человеческий разум найдет способ разрядить каждый данный кусок материи, превратить в энергию... не надо вообще этого карточного труда, который просто в сущности своей глуп”.

Итак, полное превращение материи в энергию означает для Горького конец истории, прекращение трудовой деятельности людей, наступление Нирваны. В “Заметках из дневника”, пересказывая свою беседу с Блоком на ту же тему, Горький пишет:

“Я сказал ему, что мне больше нравится представлять человека аппаратом, которые претворяет в себе так называемую “мертвую материю” в психическую энергию и когда-то в неизмеримо отдаленном будущем превратит весь “мир” в чистую психику... Ничего, кроме мысли, не будет, все исчезнет, претворенное в чистую мысль... Я разрешаю себе думать, что когда-то вся “материя”, поглощенная человеком, претворится мозгом его в единую энергию — психическую. Она сама в себе найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней безгранично разнообраз-

ных творческих возможностей... Убежден, что если бы... мы могли взвешивать нашу планету, мы увидели бы, что вес ее постоянно уменьшается”.

Совершенно очевидно, что эта бессмертная энергетическая Нирвана представлялась Горькому как форма коллективного бессмертия человечества. В марте 1920 года он говорил:

“Человеческий разум объявляет войну смерти как явлению природы... Мое внутреннее убеждение таково, что рано или поздно, но человек достигнет действительного бессмертия”. И разъяснял, какого: “Бессмертным действительно остается человеческий разум”.

На склоне жизни Горький прямо предлагал конкретный план действий по достижению этого бессмертия. Сюда входили деятельный оптимизм, коллективные психофизические усилия и познание. Наука, по этому плану, должна стать главным инструментом борьбы человека за бессмертие.

Горьковское понимание бессмертия объясняет, почему он не мог поддержать “философию общего дела” Николая Федорова, который, на первый взгляд, предлагал ту же программу: бросить все силы человечества, использовать все достижения науки и техники, чтобы добиться в будущем бессмертия во плоти. Эта теория была широко популярна среди тогдашней русской интеллигенции, и под ее влиянием находились такие люди, как Маяковский, Платонов, Заболоцкий, Шагинян и многие другие. Несомненно, Горький относился к Федорову с симпатией, как к человеку, объявившему борьбу природе и смерти. Хотя С. Григорьеву он писал, что “Федорова видел один раз, книги его, конечно, читал, не понравились” — в этих словах, направленных малознакомому человеку, можно видеть обычное горьковское лукавство: о его истинном отношении к Федорову говорит письмо гораздо более близкому Пришвину: “Интереснейший старик. Мне у него ценна и близка проповедь активного отношения к жизни”.

Активное отношение Федорова к жизни, то есть стремление к переделке ее вопреки природе, не могло не вызывать сочувствия Горького, но в целом поддержать федоровскую философию он не мог — прежде всего, потому, что у Федорова речь шла о реальном воскресении мертвых (“отцов”, то есть предков) во плоти, о восстановлении материальной оболочки человека, а это для Горького было крайне консервативной идеей.

Куда более важен другой вопрос — о соотношении взглядов Горького с концепциями Вернадского. Как известно, Вернадский в 20-е годы выдвинул концепцию, согласно которой приро-

да развивается в сторону возникновения безличного планетарного мозга, который увенчает лестницу эволюции. Под влиянием лекций Вернадского, прочитанных в Париже, известный французский биолог Ле-Руа вместе с палеонтологом (а впоследствии знаменитым философом) Пьером Тейяром де Шарденом назвали этот планетарный мозг "ноосферой", и Вернадский этот термин принял. Неизвестно, оказала ли концепция Вернадского влияние на идеи Горького об уничтожении материи и превращении ее в "коллективный разум", то есть, по сути, тот же планетарный мозг, только не на материальном, а на психоэнергетическом уровне. Но мы знаем, что они были знакомы, по крайней мере, с 1917 года. Горький неизменно высоко оценивал Вернадского в письмах и публицистике. Если же судить по конечным философским результатам, то придется сказать, что выводы Горького практически совпадают с выводами испытавшего влияние Вернадского Тейяра де Шардена. Однако, в одном между ними было существенное философское отличие. Тейяр де Шарден примирял концепцию ноосферы с персоналистической иудео-христианской концепцией воскресения из мертвых, так что его ноосфера, будучи супраперсональной сущностью, оставалась в то же время совокупностью духовных индивидуальностей. Философская же Нирвана Горького не оставляла места для личности, и следует видеть духовное мужество в том, что он ни разу не попытался уцепиться хоть за что-нибудь, вроде, например, философии Федорова, чтобы побаюкать себя надеждой на индивидуальное "воскресение во плоти". Проблему бессмертия он решал принципиально антиперсоналистически.

Можно отметить еще, что, в сущности, Горький во многом опередил Тейяра де Шардена — и на несколько десятилетий (хотя, разумеется, оба исходили из общей европейской традиции). Увы, Горький никогда не излагал своей философии последовательно.

**Богоборчество.** Сам Горький называл себя атеистом. Есть достаточно доказательств тому, что он был непримиримым врагом всех институционализованных религий. Однако рассмотрение совокупности его философских взглядов неумолимо приводит к выводу, что его воинствующий атеизм имел глубокие религиозные корни. Это был атеизм богоборца-гностика.

Оригинальный философско-научный синтез, созданный Горьким, лежал, как на матрице, на определенном религиозном ми-

ровоззрению, и каждому из аспектов его философии соответствовал некий аспект в религиозном пласте его мышления. Чтобы понять этот пласт, нужно знать тот религиозный миф, который лежал в его основе. Нетрудно доказать, что этим мифом была древняя гностическая космогония и антропология, весьма оригинально им реконструированная. В значительной степени, этот древний гностический миф Горький заимствовал из славянского гностицизма — богомилства, следы которого в народном сознании сохранились в России до наших дней (особенно в среде сектантов).

Славянский гностицизм играл такую же основополагающую роль в религиозном пласте горьковского мировоззрения, как философия Шопенгауэра — в его философско-научном пласте.

Известный исследователь богомилства Д. Оболенский характеризовал его следующим образом:

“... их объединяет основная мысль, заключающаяся в том, что материя, которая существовала порочно, не может быть творением Бога. Гностики объясняли происхождение материи, либо рассматривая ее изначально и вечно порочной, либо ставя между Богом и материей некоего посредника Демиурга, одну из эманаций Бога, чья природа была радикально извращена вследствие проступка, который вызвал его изгнание из божественной Плеромы. Этот Демиург создал материальный мир, который поэтому участвует в его злой природе. Сам же человек в гностицизме... отражает этот фундаментальный дуализм: его душа имеет божественное происхождение, его плоть — неискоренимо порочна... Плоть — это гробница души, инструмент, с помощью которого Демиург пытается упрятать свет в тюрьму материальной ямы и не допустить, чтобы душа вновь вернулась в небесные сферы... Наш настоящий мир возник как результат вторжения тьмы или же материи в царство света и он есть ... амальгама божественных частиц света, заключенных в темницу материальной оболочки. Будущее или конечное состояние вещей будет результатом полного восстановления первичного дуализма путем абсолютного разделения... Что делает тьму навсегда неспособной еще раз совершить какой-либо проступок. Настоящее... состоит из постепенного освобождения частиц света, односущных с Богом, являющихся человеческими душами, из плена материи, плена плоти...”

Гностическая сотериология указывает и на путь такого освобождения — “гнозис”, или зотерическое знание “истины о мире”, которое помогает бороться с мировым злом, воплощенным в Демиурге, этом ущербном, беспомощном, равнодушном суррогате истинного Бога.

Богомилская традиция утверждала, что Богов два. Добрый Бог создал духовный, ангельский мир во главе со своим сыном



Сатанаилом. Низверженный за гордыню, Сатанаил стал творить материальный мир и человеческую плоть, но не мог оживить ее и упротисил Отца вдохнуть в нее божественный дух. Таким образом, весь материальный мир — творение Сатанаила, подлинному Богу принадлежит только свет (Солнце) и душа человека. Сатанаил также — создатель Ветхого Завета. Моисей, сам обманутый Сатанаилом, обманул людей с помощью силы, данной ему Демиургом. Чтобы спасти мир, Бог послал Христа, но Иоанн Креститель — тоже подручный Сатанаила — уговорил креститься не Божьим духом, а водой. Поэтому душу еще предстоит освободить от материального и плотского плена. Материю же следует отринуть. Никакого воскресения во плоти не будет и не может быть.

В социальном отношении богомилы были крайне революционны и отрицали существующие общественные порядки, не говоря уже об официальной церкви, которую попросту ненавидели. Богомилство повлияло на возникновение таких западноевропейских гностических ересей, как альбигойство и движение патапов с их радикальными социальными идеями.

Даже это беглое и поверхностное описание славянского гностицизма показывает поразительное сходство его с философско-научной космогонией Горького. Их основные элементы почти тождественны. Горький имел уникальную возможность познакомиться с гностицизмом от одного из его сознательных адептов — Анны Шмидт — в бытность свою начинающим журналистом в Нижнем Новгороде в 1893—1895 годах. Однако первое упоминание им гностицизма относится лишь к 1910 году и выражено словами странствующего проповедника в "Жизни Матвея Кожемякина":

"Человек двусоставен, в двусоставе этом и есть вечное горе его: плоть от дьявола, душа от Бога, дьявол хочет, чтобы душа содеялась участницей во всех грехах плотских, человек же не должен это допускать".

Местный священник таким образом комментирует эти слова:

"... это во втором веке по Рождестве Христовом некоторые люди думали, что плоти надо полную волю дать... и утверждали даже, что чем более распущена плоть, тем чище духом человек. Имя людям сим гностики".

Действительно, в отличие от богомилов, которые стремились к полному умерщвлению плоти, Горький, как мы видели выше, призывал следовать "спонтанным чувствам"; в этом он шел за другой ветвью древнего гностицизма, которая проповедовала полную свободу плоти как способ освобождения духа:

“Как же плоть-то победить? — спрашивает тот же проповедник. — Давайте ей полную волю... тогда она сама себя одолеет и помрет и освободится душа чиста служению божию”.

Поначалу Горький следует за богомильством в своем яростном богоборчестве. Уже в 1913 году он упоминает о “двух богах” и говорит о своей ненависти к Демиургу, создавшему столь страшный, злой, непрочный мир. Как и богомилы, он явно отождествляет его с богом Ветхого Завета, которого (уже много позже, за месяц до смерти) называл “страшным и подлым”. Из ненависти к ветхозаветному богу у Горького рождается глубокая симпатия к раннему, евангельскому христианству, которое он противопоставляет христианству церковному, ибо оно, по его мнению, служит не богу, а Демиургу. Странник в повести “Лето” говорит:

“Миром правит сатана! Бог же Господь низринут с небес и лишен бессмертия и распят бысть под именем Иисуса Христа...”

Несколько позже, однако, Горький переходит на более высокий уровень богоборчества — он восстает уже не против Демиурга, а против Бога-творца вообще. По-видимому, эти настроения возникают у него в разгар гражданской войны, когда его неприятие мира резко усиливается после всех ужасов кровавой бойни. В 1922 году он описывает бога следующими словами:

“Видел я бога... одиноко сидя на большом, тяжелом престоле, он шьет... чудовищно длинную белую рубаху, она опускается до земли прозрачным облаком. Вокруг бога — пустота, и в нее невозможно смотреть без ужаса, потому что она непрерывно и безгранично ширится, углубляется”.

Это уже Бог, равнодушный к своему творению, отделенный от него безграничной пустотой. Претензии к нему состоят в том, что он создал мир до обидного плохо и до жестокого зло. Известно, что Горького всю жизнь волновал образ Василия Буслаева, и в задуманной им (но незаконченной) поэме об этом народном герое-богоборце Горький намеревался показать, как Васька хвастается перед Богом тем, как люди украсили и обжили землю, которую Бог дал им пустой и необжитой. Как правильно писал об этом замысле критик Юзовский:

“Перед нами редкий в мировой литературе мотив богоборчества, когда человек хочет померяться с богом не в его господстве над миром, а в его созидании мира...”

Неудивительно, что иногда Горький начинает отождествлять себя с Сатаной (Сатанаилом), с которым его объединяет мотив богоборчества. В ответах на вопросы французского журнала (1928 год) Горький пишет:

“В статье господина Левинсона я не вижу ничего для себя оскорбительного. Он только повторяет мнение, часто высказываемое в эмигрантских газетах, — будто я “продался дьяволу”. На этот счет я могу сказать только одно: если дьявол существует и вводит меня во искушение, то это — во всяком случае не “мелкий бес”: эгоизма и тщеславия, а Абадонна, восставший против творца, равнодушного к людям и лишённого таланта”.

Тот факт, что церковь давно отождествляла Сатану с Разумом, тоже имел немалое значение для богоборческого бунта Горького. Он не раз напоминает, что, по мнению церковников, дьявол — псевдоним разума, и даже связывает его с социальным протестом, иронически замечая, что это “дьявол внушил альбигойцам, что собственность — зло”. Тот же интерес к фигурам титанических богоборцев мы видим в его словах о Прометее, сказанных, видимо, под влиянием Розанова, которого Горький считал гениальным писателем:

“Миф о Прометее в искаженной форме скрыт в истории Христа... это бунт сына против действительности, творимой отцом”.

Христа же, как ранее Сатанаила, Горький отождествляет с разумом, вкладывая это понимание в уста сектантки Марины Зотовой в “Жизни Клима Самгина”:

“Ум, он же — ложь и Христос...”

В сущности, мысль Горького, описав полный круг, возвращается здесь к толкованию евангельского христианства как богоборчества, сходного с богомилским.

Известное горьковское “богостроительство”, о котором мы уже упоминали и которое так резко критиковал Ленин, тоже было связано у Горького с его гностицизмом. Поэтому оно было совершенно независимо и непохоже на богостроительство Луначарского или Базарова. У Горького речь шла о “построении”, то есть “воскрешении” доброго Бога путем огромного духовного напряжения верных ему душ. Одновременно такое воскрешение Бога есть также акт создания царства духа и уничтожения старой, материальной природы. Впервые он высказывает эту идею в переписке с Леонидом Андреевым в 1901 году:

“Ныне быт ускользает от мечан... А когда от холода и голода внутреннего издохнут — мы для себя создадим бога великого, радостного и прекрасного, все и всех любящего покровителя жизни”.

А уже через несколько лет Горький окончательно формулирует основы своего богостроительства, от которых не отказывался всю свою жизнь.

В какой-то мере все эти религиозные представления Горько-

го были близки к концепциям теософов и, в частности, знаменитой Блаватской. Как известно, Блаватская видела три главных задачи теософии: создание ядра универсального человеческого братства, изучение древних мистических традиций (тайного, эзотерического знания, которое она называла арийским) и изучение тайн природы. Трудно сказать, насколько подробно Горький был знаком с этими идеями в свой ранний период. Известно, однако, что в 1912 году он запрашивает для себя все сочинения Блаватской. Но гораздо важнее, что он — как и теософы — отрицал идею личного, внекосмического, антропоморфного Бога, отвергал — как и они — жестокого и ревнивого Бога Ветхого Завета и не принимал, тоже в соответствии с ними, воскресения во плоти. Наконец, как и в теософии, его фундаментальным принципом было отождествление материи и энергии. Все это позволяет сказать, что религиозный пласт мировоззрения Горького представлял собой, по-видимому, сложное переплетение многих религиозно-философских идей как древнего, так и современного происхождения.

**Настоящий Горький.** Анализ мировоззрения Горького неожиданно обнаруживает удивительно сложную и загадочную личность с глубоко оригинальными философскими и религиозными взглядами. Начинает казаться, что речь идет вообще о другом человеке, а вовсе не о “буревестнике революции” и “великом пролетарском писателе”. И только припоминая его творчество, вдруг понимаешь, что в действительности и философия Горького, и его гностицизм там содержались и были очевидны внимательному и пытливому взгляду. Но это был иной Горький и таким его, увы, не знали — не только потому, что он сам скрывал свои взгляды, но еще и потому, что его подлинный, далекий от лубочного, образ был тщательно заслонен от наших глаз вульгарно-социологической официальной критикой.

*М. Агурский — доктор наук, советолог, автор книг “Идеология национал-большевизма” “Советский Голем”, “Горький” (вместе с Р. Шкловской) и др.; живет в Иерусалиме.*

В боях за еврейский приоритет. Вместе с Великовским мы стоим на развилке путей. Одна дорога стремительно поднимается вверх, в разреженные высоты астрофизических теорий, где предстоит разыгаться судьбоносной битве Великовского с научным истеблишментом за "теорию планетарных столкновений". Другая тропа сворачивает от развилки круто "вниз" — в глубины древней истории, которую Великовский неутомимо "реконструирует" в последующих томах своей грандиозной исторической эпопеи ("Века в хаосе", тома второй, третий, четвертый и так далее — увы, без конца, ибо книге так и предстояло остаться незаконченной). Прежде чем последовать за Великовским по "верхней" дороге, где ему суждено было познать славу побед и горечь поражений, пройдем с ним еще несколько шагов по "нижней" тропе, по тропе его "исторических реконструкций". Признаемся честно: у нас есть в этом специфически "еврейский" интерес.

Мы бросили Великовского в самом конце первого тома "Веков в хаосе", в том месте, где он блистательно "доказал" тождество царицы Савской, посетившей Соломона, с фараоншей Хатшепсут (жившей, по общепринятой хронологии, за

*Михаил Вартбург*

## **МИРЫ В СТОЛКНОВЕНИЯХ, ВЕКА В ХАОСЕ**

(продолжение;  
начало см. "22", №№ 59—60)

шестьсот лет до Соломона). "Доказательство" это было возбуждающе-увлекательно само по себе, но еще важнее — с точки зрения автора и, повторим еще раз, нашей — было то, что оно восстанавливало "подлинную" картину культурных влияний далекого прошлого, а проще говоря — демонстрировало куда более высокую роль и значение евреев и их государства в древней истории Ближнего Востока, чем виделось прежде. Но вслед за этим Великовский переходит к следующему — уже послесоломонову — этапу этой истории. Так можем ли мы остаться в стороне от этой его титанической битвы за еврейский приоритет? (Слышится громовое: "Не можем!") Вот почему мы еще ненадолго отложим рассказ о злоключениях "теории планетарных столкновений", которым намеревались закончить наш очерк идей и жизни Великовского, и последуем за ним в глубины истории, в эпоху Угарита, "расследованием" которой завершается первый том "Веков в хаосе".

В отличие от общеизвестного рассказа о царице Савской, история Угарита требует предварительных разъяснений. В 20-х годах нашего века в северной Сирии, в районе Рас-Шамра, были раскопаны остатки древнего города-царства и найдены тысячи глиняных табличек с древними письмами. Утварь, керамика и таблички свидетельствовали о существовании здесь некогда высокой цивилизации со своеобразной культурой и мифологией. Самое любопытное состояло в том, что один из языков, которыми были написаны таблички, оказался крайне близок к древнееврейскому, притом — алфавитному, только в клинописной форме. Содержание же текстов, пересказывающих местные мифы, оказалось чрезвычайно близко к содержанию ряда эпизодов Библии. Другие тексты позволили исследователям отождествить древний город под Рас-Шамрой с царством Угарит, неоднократно упоминаемым в так называемых "письмах из Тель-аль-Амарны" (найденных вблизи египетских Фив документах фараонов, правивших после Хатшепсут). Поскольку эти "письма", согласно общепринятой датировке эпохи Хатшепсут, относятся к середине второго тысячелетия до н. э., то и Угарит отнесли к тому же времени. И тогда, естественно, угаритская (или, как ее еще называют, — ханаанейская) мифология оказалась предшественницей и прообразом мифологии еврейской, включая библейскую! Ну, например, знаменитое предписание "не вари козленка в молоке матери его" иссле-

дователи Угарита трактуют как направленное против угаритского обычая, нашедшего отражение в одной из табличек Рас-Шамры: "Они ва (р)ят козл)енка в молоке, молодого козла в масле..." Исследователь угаритской культуры и мифологии Гордон указывает, что в Угарите уже знали обычай "юбилейных лет", эпитет "ездящий на облаках" (или "шествующий на небесах", которым характеризуется Ягве в пятом стихе 65-го псалма), легенду о Левиафане и многое-многое другое, что встречается "позже" в Библии, а описанный в угаритских текстах мифический "Дом Ваала" (храм божества, сложенный из кедра) — "п р е д т е ч а" исторического храма Ягве в Иерусалиме. По Гордону, все это свидетельствует о единых корнях общесемитской мифологии, складывавшейся в Ханаане под влиянием месопотамской и египетской и, в свою очередь, повлиявшей на греческую. Но Великовский видит в таком толковании искажение "подлинных" исторических отношений, связей и влияний. И даже злонамеренное ущемление еврейского приоритета. Великовский уверен в приоритете Библии. И действительно, если верна е г о хронология, то Угарит был не предшественником, а современником, даже п о з д н и м современником царства Соломона, а потому говорить следует не о библейских заимствованиях из ханаанейской мифологии и культуры, а напротив — о развитии Ханаана под благотворным влиянием великой древнееврейской цивилизации.

Проблема Угарита, которой завершаются "Века в хаосе", необычайно интересна и важна также и потому, что перебрасывает мост к истории еще одного культурного ареала — крито-микенского, то есть древнегреческого. Атакую общепринятую датировку Угарита, Великовский косвенно атакует и общепринятую концепцию влияния культуры Угарита на древнегреческую цивилизацию.

Сейчас мы, наконец, и о древней Греции узнаем все, что давно хотели узнать, но боялись спросить...

**Хур, Хар и Кар.** Керамика, обнаруженная в развалинах Угарита вблизи Рас-Шамры, признана критской и микенской. На острове Крит, расположенном между Египтом и Грецией, издавна существовала высокая культура, которая иногда называется еще "минойской" — по имени легендарного царя Миноса, строителя Лабиринта. Предполагается, что критская культура пережила три

эпохи, каждая из которых прерывалась стихийными бедствиями, после чего на развалинах прежней культуры возникала новая. В частности, считается, что эпоха самого царя Миноса завершилась катастрофой в те же времена, когда произошел Исход евреев из Египта; этот факт нам еще пригодится.

Три культурные эпохи выделены и в истории города-царства Микены в древней Греции, развитие которого было тесно связано с Критом. По общепринятой датировке эпохи критской и микенской культуры совпадают с Древним, Средним и Новым Царствами в Египте (например, микенские вазы "Новой Эпохи" были найдены в развалинах дворца Эхнатона в Тель-аль-Амарне, относящегося к Новому царству в Египте). Таким образом, хронология Крита и Микен базируется на египетской хронологии. А она, по Великовскому, должна быть сдвинута на 500—600 лет ближе к нашему времени. Держа это в уме, оценим теперь находки Угарита.

Гробницы Рас-Шамры оказались весьма похожими на кипрские — только гораздо более позднего (на шесть столетий) периода. Исследователи Угарита сочли, что тут имеет место позднее влияние угаритской культуры на греческий мир (в частности — на культуру Кипра). У Великовского сразу же возникает вопрос: почему это влияние так неожиданно проявилось именно через шесть сот лет, между тем как на протяжении самих этих шестисот лет, когда Угарит давно уже лежал в развалинах, оно не проявлялось? и каким мистическим образом давно исчезнувший город мог оказать влияние спустя шесть веков после своей гибели?

Обратимся теперь к текстам угаритских табличек. Они написаны на четырех разных языках. Два из них — шумерский и аккадский. Их тексты обнаруживают определенную связь и корреляцию с текстами, найденными в развалинах Тель-аль-Амарны. На некоторых табличках есть упоминания об угаритском царе Н и к м е д е . Имя это явно греческое, сходное с "Никомед". Как могло греческое имя попасть в Угарит, если он существовал, как считают историки, в XIV веке до н. э.? Одна из табличек говорит об изгнании Никмеда из Угарита вместе с "чужеземными пришельцами — Алазия, Хар и Йаман". В ассирийских надписях значительно более позднего времени слово Йаман означает "ионийцы", то есть жители греческой Ионии. Но ионийцев еще не было в помине в XIV веке до н. э.! На другой табличке упоминается



город Дидима в Ионии. Но он еще не существовал в угаритские времена. На третьей табличке найден список кораблей, подобный знаменитому гомеровскому списку (помните: "Я список кораблей прочел до середины..."); — но Гомер жил, как минимум, в VIII веке до н. э.; что же — опять "влияние", чудесным образом перенесшееся через пропасть шести веков?

Дальше — больше. Третий язык угаритских табличек, как мы уже говорили, — древнееврейский, алфавитный, в клинописной форме. Слова отделены друг от друга характерной чертой, свойственной кипрским надписям VI века до н. э. Опять загадочные шестьсот лет! Но если принять толкование ученых, которые упорно относят Угарит к "минус XIV веку", то возникает еще одна несообразность: иврит каким-то образом существовал (и притом во вполне развитой форме) задолго до прихода евреев в Ханаан! Естественно, ученые пришли к "выводу", что евреи заимствовали иврит у угаритян. Выходит, Библия была неправа, когда говорила о низкой культуре ханаанейских племен? Неудивительно, что исследователи Угарита объявляют авторов Библии "пристрастными". Эти исследователи утверждают, что угаритские мифы уже до появления Библии знают идеи нравственности и справедливости. Мало того: они утверждают, что содержание, словарь и даже стиль Библии заимствованы в Угарите, короче: вся древнееврейская культура возникла на базе ранней ханаанейской и в противопоставлении ей (отсюда, мол, и запрет на угаритский обычай варить козленка в молоке). Если раньше христианская библеистика приписывала достижения иудаизма эллинскому влиянию, то теперь она с готовностью стала их приписывать влиянию угаритскому. Лишь бы не признать оригинальности еврейского гения...

Воздержимся, однако, пока от выводов, говорит Великовский. Еще немного. Остался еще один язык табличек. Он именуется в них языком Хар. Исследователям Тель-аль-Амарны известен язык Хур и народ хуритцы. Хуритские имена были найдены также в разных местах Ближнего Востока, и кое-кто из ученых даже приписывал хуритцам огромное культурное влияние на все местные народы. Считалось, что это влияние простиралось от Армении до Палестины и от средиземноморского побережья до Персии (ау, господин Мойшезон!). Затем были найдены таблички Рас-Шамры, написанные языком Хар (а также тремя иными языками), и это как будто вновь подтвердило вы-

сокую образованность народа Х а р (или Х у р), населявшего пресловутый добиблейский Угарит.

Между тем, взрывается, наконец, Великовский, не было никакой надобности изобретать этот особый народ с его "великой цивилизаторской миссией". Хур — порождение лингвистической фантазии; такой народ никогда не существовал; не он цивилизовал Ближний Восток. Науке давно, еще со времен античности, известен народ К а р (карийцы) — мореплаватели царя Миноса, позже вытесненные на Кипр и далее — на восточное средиземноморское побережье. Но наука упорно не обращала внимания на тот факт, что в в о с ь м о м веке до н. э. телохранителей невестки иерусалимского царя Иехошафата звали "кари"; и что телохранителей ц а р я Д а в и д а звали "крети и плети", а это, вне сомнения, жители Крита (и Финикии); и что карийцы же были телохранителями египетских фараонов, начиная с того же в о с ь м о г о века до н. э. (все это однообразие их занятий неудивительно, потому что еще Геродот писал о карийцах, что они весьма искусны в обращении с оружием). Наука игнорировала невестку Иехошафата, потому что не мо́гла найти для карийцев место в истории Ближнего Востока, — но вот теперь тексты Угарита это место указывают однозначно: карийцы и есть выдуманный "народ "Хар". Только находился этот народ в Угарите, гремит Великовский, не в четырнадцатом, как утверждают исследователи, а в в о с ь м о м веке до н. э!! Достаточно с этим согласиться, как все становится на свои места: и упоминания греческих имен и названий, и связи с ионийцами, и сходство культуры Угарита с культурой Кипра восьмого века. Не было мистического "переноса влияния" через шесть веков, потому что не было этих шести веков: Угарит и Иония были современниками. Расцвет Угарита происходил на шесть столетий позже, чем считают специалисты-историки, — в п о с л е с о л о м о н о в ы времена Палестины!!

Вот теперь уже точно в с е становится на свое место. Включая еврейский приоритет. Остается посмотреть, что в те времена (в те — по Великовскому) происходило с евреями.

"За вашу и нашу свободу..." Приемник царицы Хатшепсут великий полководец Тутмос Третий заново утвердил египетское господство в Сирии и Ханаане. На воздвигнутом им в честь победы храме Амона в Карнаке фараон приказал высечь названия ста девятнадцати палестинских городов, захваченных в этом походе. Несколько странно, правда, что в этом списке не упомина-

ется Иерусалим, который к тому времени, по Великовскому, должен был уже славиться на весь Ближний Восток благодаря Соломону (ведь даже мать Тутмоса, царица Хатшепсут, в девичестве Савская, привлеченная этой славой, совершила туда, если верить Великовскому, что-то вроде паломничества); но Великовский легко решает эту очередную загадку каверзной истории: в списке Тутмоса числится некий город "Кадеш", а это слово на иврите означает "святой", а это — эпитет, которым евреи и их соседи постоянно награждали Иерусалим; стало быть, тутмосовский Кадеш и есть соломонов Иерусалим; а стало быть, Тутмос был деятелем п о с л е с о л о м о н о в о й эпохи, — что и требовалось доказать.

Однако при наследнике Тутмоса фараоне Аменхотепе Втором власть Египта в Ханаане стала ослабевать. Первый поход Аменхотепа против "смутьянов" увенчался относительным успехом; второй окончился сокрушительным поражением — так, по крайней мере, считает Великовский. И в самом деле: анализ соответствующей стеллы Аменхотепа Второго показывает, что его второй поход продолжался всего ... один день и завершился сражением, которое подобострастные жрецы нарекли "победой", не заметив, как это противоречит масштабу захваченных фараоном трофеев: две лошади, одна боевая колесница и два лука со стрелами! Показательно также, что после этой своей "победы" фараон тотчас повернул обратно и даже зачем-то пересел на "быстрого коня". Беспристрастный комментатор, несомненно, назвал бы такое возвращение позорным бегством побежденного.

Кто же был победителем египетской армии? В то время (в "то", разумеется, по Великовскому) в Палестине правил Аза (Аса), внук Реховаома, правнук Соломона. Вторая книга Хроник ("Паралипоменон" в синодальном издании Библии) говорит о нем, что он разгромил некоего "Зеру-Эфиопа" ("Зарая-Ефиоплянина" в синодальном переводе) "на долине Цефата, у Мареши": "... и побежали Ефиопляне. И преследовал их Аса ... до Герара, и пали Ефиопляне, так что у них никого не осталось в живых" (2 Хр. 14:9). Великовский рассуждает: из Эфиопии в Палестину можно было пройти только через Египет; стало быть, войско было египетское; стало быть, "Зера-Эфиоп" был египетским фараоном (возможно, как-то связанным с Эфиопией: возможно, он был прежде египетским наместником там); стало быть, это и был Аменхотеп Второй. Но если Аза сокрушил могу-

щественного египетского фараона Восемнадцатой династии (а не какого-то неведомого жалкого “эфиопа” из более поздней — 20-й или 22-й династии, как считалось ранее по хронологии Мането), то эта победа была не менее великой, чем победа Саула над гиксосами: ведь она освободила Сирию и Палестину (а с ними — все народы Ближнего Востока) от египетского владычества!

Такая грандиозная (если не “всемирно-историческая”, то уж наверняка “ближневосточно-историческая”) победа не могла, говорит Великовский, не отразиться в преданиях благодарных местных народов. Например, карийцев Угарита. И действительно, обращаясь к “карийским” (хурийским) табличкам из Рас-Шамры, Великовский тотчас находит соответствующий отголосок: угаритский текст, который исследователи называли “поэмой о Керете”. Здесь повествуется о “Керете, царе Сидона”, который сражается в южном Ханаане против неведомых врагов, возглавляемых неким “Терой”. Первые исследователи текста поэмы предложили экстравагантное толкование, согласно которому речь идет о Тере (Терахе), отце Авраама, который, якобы, вторгся в Ханаан во главе огромного войска. Великовский показывает, на какие трудности наталкивается такое толкование, и предлагает свое, увязанное со всем предыдущим в железную логическую цепь перекрестных свидетельств: Т е р а поэмы — это З е р а-Эфиоп Второй книги Хроник, побежденный иерусалимским царем Азой; К е р е т — это искаженное “к р е т и”, то есть “критянин”, то есть царь карийцев, населявших Угарит и призванных иерусалимским царем — по старой традиции — на помощь в войне; южный Ханаан, куда “вторгся Тера”, — это Эдом, где Аза, по Библии, преследовал египтян; а загадочные “сапаситы” из южного Ханаана в поэме — это жители Сапаса, что означает “солнце”, которое ассирийцы и вавилоняне называли “шамаш”, и коль скоро так, то “С а п а с - Э д о м” — это “Ш а м а ш - Э д о м”, который “как раз” упоминается в стеле Аменхотепа Второго! Все три источника — угаритский, египетский и, конечно, библейский — говорят, стало быть, об одних и тех же событиях, а значит — расцвет Угарита и правление Аменхотепа Второго относятся к тому же времени, к которому Библия относит царствование Азы — к в о с ь м о м у , а н е к ч е т ы р ь н а д ц а т о м у веку до н. э.

Царь Никмед и другие. Как обычно, самый изящный вывод, такую отравленную парфянскую стрелу, Великовский прибере-

гает под конец. На сей раз, конец не только фигуральный, но и реальный, исторический — конец Угарита. Судя по текстам табличек, Угарит, развивавшийся (теперь уже “очевидно”) под влиянием евреев и в постоянном контакте с ними вплоть до середины восьмого века до н. э., был вскоре после этого уничтожен: вспомним известие об изгнании царя Никмеда и народов “Йаман” и “Хар”... Известие это, кстати, содержится как раз в корреспонденции фараонов Восемнадцатой династии, наследовавших Аменхотепу Второму (то есть — по Великовскому — правивших в конце восьмого века до н. э.), — Аменхотепа Третьего и его сына, знаменитого Эхнатона (который до отступничества от культа Амона назывался Аменхотепом Четвертым). О разрушении Угарита доносит фараонам какой-то их вассал из Ханаана. Стало быть, уничтожение Угарита не было делом египетских рук — фараоны сами о нем узнали из донесения. Кто же был виновником злодеяния? Обращаясь к истории “минус 8-го века”, Великовский немедленно находит подходящего кандидата в Чингис-ханы: им оказывается знаменитый ассирийский царь Шалманазар, в анналах которого сохранилось упоминание, что он осадил и взял “город царя Н и к д е м а , расположенный у м о р я”. Никмеда и Никдем так похожи, что предположение о их тождестве навязывается как бы само собой. Стало быть, нашествие ассирийцев, ослабившее Израильское и Иудейское царства, оставило Угарит без защиты евреев и привело к его падению и бегству царя Никмеда — этого, судя по имени, выходца из Греции, осевшего со своей карийской дружиной на берегах северного Ханаана. И надо полагать, что изгнанный из Угарита царь Никдем, скорее всего, бросился искать убежище именно на бывшей родине, связи с которой у него были еще достаточно крепки (явление, кстати, далеко не уникальное: потомок варягов Владимир Красное Солнышко, будучи изгнан в молодости из Киева, тоже бросился искать убежище в родной Скандинавии). Некоторые (честно скажем, туманные) намеки отдельных угаритских и тель-аль-амарнских текстов позволяют предположить, что Никдем взял с собой не только свою карийскую (греческую) дружину, но и свою е г и п е т с к у ю ж е н у по имени ... С ф и н к с . У вас правильно побежали мурашки по спине: Н и к д е м , спокойно продолжает Великовский, был не кем иным, как К а д м о м , легендарным основателем знаменитого древнегреческого города Ф и в ы в Беотии, явно названного в честь и в подражание Ф и в е г и п е т с к и х , столицы Э х н а -

т о н а , который (по хронологии Великовского) был современником злополучного Никдема-Кадма. А Фивы Беотийские, если вы забыли школьный курс древней истории, были именно тем городом, возле которого несколько десятилетий спустя полуженщина-полульвица по имени С ф и н к с задала свою детскую загадку Э д и п у...

Так Великовский перебрасывает логический и временной мостик от знаменитого египтянина к не менее знаменитому греку. Некогда с Эдипа началась, а Эхнатом завершилась история научного поиска Зигмунда Фрейда, великого учителя Великовского, размышления над скрытыми комплексами которого, если вы помните, были первым точком ко всей его работе. Теперь Великовский свел (точнее: его гипотеза неожиданным образом свела) этих двух загадочных героев древности на одной узкой дорожке, и им явно не разойтись без встречи роковой. Впрочем, эта встреча лежит уже за пределами "Веков в хаосе". Вторая книга Великовского кончается всего лишь многозначительным и многообещающим намеком на нее. Но и этот намек был достаточен, чтобы взволновать любое воображение...

**История и легенда.** Воображению, однако, пришлось ждать целых десять лет. Лишь в 1960 году (в разгар боев за "новую космогонию") Великовский возвращается к "Векам в хаосе" и публикует второй "узел" этой грандиозной исторической эпопеи под интригующим и неожиданным (впрочем, для нас уже ожидаемым) названием — "Эдип и Эхнатон". Книга эта, напоминая одновременно увлекательный исторический роман, дотошное научное исследование и неослабевающей напряженности детектив, разделила судьбу всех его прочих книг: она сразу стала бестселлером и привлекла миллионы читателей на множестве языков. Хоть и с запозданием, вступим в их ряды и мы.

Как мы помним (?), в первом томе "Веков в хаосе" Великовский предложил "альтернативную хронологию" египетской истории, заявив, что вся она должна быть сдвинута ближе к нашему времени на 500—600 лет. Основанием для этого, фантастической дерзости утверждения были его изыскания в области "планетарных столкновений", которые "объясняли", по его мнению, библейский рассказ о чудесах Исхода. Копаясь в мифах и преданиях, которые подтвердили бы гипотезу "столкновений", Великовский набрел, среди прочего, на папирус Ипувера, который дал ему в руки ключ к датировке Исхода. И эта-то датировка с суровой неумолимостью привела его к "новой хронологии".

Фанатически скрупулезный в своих изысканиях, Великовский принял огромный труд по сличению своей "реконструированной" (в духе "новой хронологии") картины исторических событий с той, которая из-

вестна из библейских и прочих источников. Первый том "Веков в хаосе" (эпоха гиксонов и Саула, Соломона и царицы Савской-Хатшепсут, Тутмоса Третьего и Угарита) был, как мы видели, благополучно доведен до времен знаменитого фараона-"отступника" Эхнатона. А это позволяло сдвинуть на 500–600 лет "вверх" и эпоху самого Эхнатона. Но тогда она переставала быть предшествующей Исходу и Моисею. И стало быть, все предположения о возможном влиянии религиозной реформы Эхнатона на становление монотеизма Моисея (ярче всего сформулированные в книге Фрейда "Моисей и монотеизм"\*) — лишались тем самым всякого основания. Приоритет Моисея (и еврейского народа) в истории мировой религиозной мысли был — походя! — восстановлен Великовским в полном объеме. Но и сверх того: сдвинутая таким образом по хронологической шкале эпоха Эхнатона налагалась теперь, как мы уже сказали, на времена Эдипа — а странные параллели между двумя этими мрачными и величественными фигурами Великовский подметил уже очень и очень давно, еще при чтении книги Фрейда. И вот сейчас, почти двадцать лет спустя, вооруженный "ключом" ко всем древним загадкам, он приступал, наконец, и к расследованию этой, самой сложной и запутанной из исторических тайн — к тайне, окружавшей этих двух героев Фрейда. Впрочем, здесь лучше всего предоставить слово самому Великовскому:

"Два десятилетия назад, на берегах восточного Средиземноморья, где-то между Египтом и Грецией, я прочел последнюю книгу Фрейда "Моисей и монотеизм", которая побудила меня обратиться к Эхнатону, ее подлинному герою. Вскоре я обнаружил поразительные параллели между этим египетским фараоном и легендарным Эдипом. Несколько позднее я оказался в библиотеках Нового Света, где погрузился в многочисленные и объемистые тома отчетов о раскопках в Тель-аль-Амарне. Изучение их вывело меня на египетскую историю в целом и породило концепцию моей книги "Века в хаосе" — реконструкцию двадцати столетий древней истории, на которую понадобилось двадцать лет труда. Книге о Эдипе и Эхнатоне пришлось ждать почти двадцать лет, но это лишь помогло ей, так как за это время были сделаны новые важные открытия, подтвердившие мою догадку...

История проливает свет на древнюю легенду; но и легенда, в свою очередь, проливает свет на историю. В этом свете становятся понятными многие исторические факты и сложные связи между ними. Загадочные параллели, необъяснимые находки в древних развалинах, причудливая последовательность событий — все это перестает быть таинственным и непонятным...

Настоящая книга рассказывает об этих событиях, разыгравшихся во времена знаменитого Эхнатона. Вслед за нею должен появиться еще один том "Веков в хаосе", где реконструкция исторических событий будет доведена до времен Александра Македонского...

Еще одна — ироническая — особенность этой книги состоит в том, что именно Эдип и Эхнатон были основными героями Фрейда. Он не опознал

---

\* См. "22", №№ 54–56.

их сходства; он видел в первом символическую фигуру грешника, терзаемого своими, столь понятными и человеческими страстями; во втором — столь же символическую фигуру святого, “первого монотеиста” и предшественника нашего законодателя Моисея. Наша книга неизбежно затрагивает важный пункт в истории религии. Дорога к монотеизму была долгой и мучительной. Но Эхнатон не был “первым монотеистом”; и если более поздние фараоны называли его “отступником”, то не за его религиозные реформы, а по совсем иной причине, изъяснение которой и составляет содержание данной книги...”

**Загадка Сфинкс.** Для понимания дальнейшего необходимо напомнить знаменитую легенду о Эдипе. Сын фиванского царя Лая и его жены Иокасты, он был в младенчестве отдан пастухам с повелением бросить его в горах, так как оракул предсказал Лаю гибель от рук собственного сына. Спасенный другими пастухами, ребенок был принесен в Коринф и назван Эдипом за свои опухшие ноги (в одном варианте легенды эта особенность объясняется тем, что бросившие его пастухи для верности пробили ему ноги гвоздем). Спустя много лет Эдип случайно узнал о предстоящей ему судьбе, в отчаянии ушел из Коринфа в горы и там, на узкой дороге, встретил колесницу Лая — своего отца, которого он не знал. В возникшей ссоре Эдип убил отца. Двинувшись дальше, он подошел к Фивам, вход в которые был с недавних пор прегражден чудовищем Сфинкс, полуженщиной-полульвицей, насланной богами на город за какие-то грехи Лая. (Легенда намекает, что эти грехи состояли в гомосексуальной связи Лая с юношей Хриссипом; в некоторых вариантах легенды утверждается, что Эдип сам был увлечен Хриссипом и именно это послужило причиной его ссоры с Лаем.) Сфинкс задавала всем проходившим свою знаменитую загадку, и только Эдип сумел ее разгадать. В отчаянии Сфинкс бросилась в пропасть, открыв герою доступ в родной город. Жители Фив (где на время вдовства Иокасты регентом стал ее брат Креонт) обещали царский венец и вдову царя победителю страшной Сфинкс; так Эдип стал мужем своей матери, исполнив вторую часть мрачного пророчества. От этого брака родились два сына — Полиник и Этеокл — и две дочери — Исмена и Антигона. Дополнительные легенды сообщают, что одновременно Эдип имел еще одну жену, Эвригению, и некоторые из детей были от нее; есть смутные указания, что он вступил и в третий брак — с двестиenniцей Астимедузой. Как бы то ни было, конец его был ужасен: на Фивы напала загадочная эпидемия; слепой мудрец Тирезий указал на Эдипа, как ее невольного виновника; в расспросах вскрылось ужасное прошлое; Иокаста, впав в помешательство, повесилась; Эдип ослепил себя ее золотой застежкой и ушел (или был изгнан) из города, сопровождаемый только Антигоной; считается, что он нашел свой конец в Колоне, и лишь герой Тезей был свидетелем этого мрачного конца; но еще перед смертью Эдип проклял своих сыновей, которые отвернулись от него — и это проклятие тоже сбылось. Полиник и Этеокл поначалу договорились править по очереди (мы бы назвали это “ротацией”, когда б не слишком мрачный ко-



нец, который сулит такой ротации древний миф); когда же Этеокл отказался уступить трон, Полиник собрал армии семи городов и осадил Фивы. В битве за город оба брата погибли, и Креонт, ставший правителем Фив, устроил пышные похороны Этеоклу, однако запретил хоронить тело мятежного Полиника; когда Антигона осмелилась нарушить запрет, она была заживо замурована.

Но трагическая цепь событий, начатая Эдипом, на этом не закончилась. В следующем поколении наследники павших под Фивами героев, так называемые Эпигоны, снова осадили Фивы и захватили город. Род Лая был окончательно истреблен.

Легенда о Эдипе вдохновила трилогию Софокла ("Царь Эдип", "Эдип в Колоне" и "Антигона"), трилогию Эсхила (от которой сохранилась лишь часть "Семеро против Фив") и некоторые пьесы Эврипида. Герои Гомера упоминают судьбу Эдипа (миф относит его историю ко временам накануне Троянской войны); но ученые отказывают этой истории в реальности. Одни видят в ней типичную судьбу так называемого "культурного героя" (с некоторыми необычными, но объяснимыми вариациями); другие считают, что убийство Эдипом отца повторяет низвержение Кроноса Зевсом; третьи усматривают в его связи с матерью символ связи человека с землей, считая Иокасту воплощением земной богини Геры; четвертые полагают весь миф аллегорическим повторением суточного цикла: герой убивает отца-темноту, вступает в связь с матерью-рассветом и слепнет с наступлением новой темноты... Знаменитый миф породил множество различных толкований, но всеобщую известность ему придал, несомненно, Фрейд, который увидел в фигуре Эдипа символ якобы свойственного каждому из нас противоестественного тяготения к матери и, соответственно, неосознаваемой ненависти к отцу — так называемый "Эдипов комплекс". И на этом покончим на время с Эдипом и обратим взор на гораздо более загадочную фигуру — на страшную Сфинкс.

Почему греческое чудище, спрашивает Великовский, зовут египетским именем? Почему Фивы не сторожит какая-нибудь Медуза-Горгона, кентавр, Минотавр или циклоп? Сфинкс, продолжает он, — чисто египетский образ, она стала знаменитой благодаря своему гигантскому скульптурному изображению в Гизе, вблизи нынешнего Каира; однако тамошняя Сфинкс изображена в мужском облике, с лицом фараона Хафрена, пирамида которого высится неподалеку; и лишь во времена Эхнатона Сфинкс изображали полуженщиной и приписывали ей злобные свойства. Не странно ли в этой связи, что и название греческого города — Фивы Беотийские, — где разыгралась вся история Эдипа, повторяет название знаменитых Фив Египетских — столицы древнего Египта во времена того же Эхнатона?

Мы помним, что по реконструкции, предложенной Великовским в первом томе "Веков в хаосе", легендарный основатель Фив Беотийских Кадм (которому приписывают также знакомство греков с алфавитом и письмом) был в действительности не кем иным, как Никмедом (или Никмедом) — царем высококультурного царства Угарит (в северной Сирии), получившим свою культуру и письменность от соседей-

евреев. Согласно этой реконструкции Никдем-Кадм бежал из захваченного ассирийцами Угарита во времена Эхнатона или его отца, великого фараона Аменхотепа Третьего. Поэтому миф о Эдипе появился в Греции, согласно хронологии Великовского, в те времена, которые последовали непосредственно за ужасной кончиной самого Эхнатона, на волне многочисленных рассказов о нем.

Но какое, собственно, это имеет значение? — вправе спросить нетерпеливый читатель. Сейчас станет видно. Подобно цирковому режиссеру, мы должны подготовить сцену перед эффектным номером. Нельзя необъявить, что номер — смертельный, иначе его могут не оценить по достоинству. Можно сказать иначе: нам предстоит проследить за детективно-историческим расследованием; поэтому честность требует предварительно дать читателю все необходимые улики и ключи.

Итак, Эхнатон. Его отец, уже упомянутый Аменхотеп Третий, великий завоеватель и заядлый охотник на львов, отличался странной особенностью: под конец жизни он почему-то приказывал изображать себя на стенах в женском одеянии. Великовский предполагает, что в этом можно видеть отражение гомосексуальных (“пассивных”) наклонностей фараона (кстати, вполне естественных для охотника, все время находящегося в обществе одних мужчин). В этой связи сразу же возникает вопрос, который мы опустили при пересказе легенды о Эдипе, чтобы не прерывать ее изложение: а почему, собственно, упоминаемая в этой легенде гомосексуальная связь Лая с Хриссипом была так предосудительна, что за нее на Фивы наслали жуткую Сфинкс? Разве диалоги Платона, произведения Эсхила, Эврипида, Софокла не переполнены упоминаниями об однополной любви? Разве законодатель Солон не назвал педерастию “привилегией свободного человека”? Разве Гомер не приписывал те же наклонности самим богам, когда рассказал историю о юном Ганимеде? В чем дело, из-за чего такой шум с Хриссипом, если во всем древнем мире гомосексуализм так и назывался — “греческая любовь”?

Зато в Египте (тут мы возвращаемся к отцу Эхнатона) такая любовь действительно рассматривалась как тяжкий грех и была под строжайшим запретом. И не только в Египте, но и в Палестине, как это хорошо известно из Библии. И на всем прочем Ближнем Востоке — вплоть до Персии, где мораль уже отличалась и от греческой, и от египетской. Об этих персидских особенностях мы еще поговорим, они играют важную роль в расследовании Великовского, но пока вернемся к Эхнатону.

**Странный фараон.** Первая странность в его биографии состоит в том, что до определенного времени он ни разу не изображается вместе со своими родителями — Аменхотепом Третьим и его женой, властной и суровой Тией. Глиняные таблички из развалин Тель-аль-Амарны, где в наши дни была найдена фараонова корреспонденция тех времен, содержат любопытное письмо к Эхнатону от одного из египетских вассалов в Ханаане. Этот мелкий царек просит только что взошедшего на трон фараона удосто-

вериться у своей матери, что он, отправитель письма, всегда находился в дружеских отношениях с Аменхотепом Третьим. Это означает, говорит Великовский, что Эхнатон ничего не знал о политике отца. А поскольку он и не изображался вместе с ним, то, видимо, он вообще не находился при дворе. Иными словами, был где-то в другом месте. Возможно, вне Египта. Возможно — в изгнании. Возможно — по приговору оракула, который предрек Аменхотепу, что сын принесет ему беду. Если это так, то этим оракулом мог быть только оракул Амона-Ра (Амона-Ре), солнечного бога, главного из богов египетского пантеона. Тогда становится более понятной последующая ненависть Эхнатона к этому богу и его жрецам.

Первые параллели между Эхнатоном и Эдипом обнаружены. Держа их в уме, последуем за Великовским дальше. Самая любопытная особенность Эхнатона, отчетливо заметная на всех его стеллах, состояла в его физическом уродстве. Во-первых, у него была продолговатая, сплюснутая голова на тонкой, удлинненной шее. Эту черту унаследовали оба его сына, Шменкаре и Тутанхамон. Во-вторых, и это самое замечательное, у Эхнатона были толстые, словно опухшие, бедра. Эта примета так настойчиво повторяется из стеллы в стеллу, что некоторые египтологи сочли эти изображения фараона свидетельством особых установок тогдашнего египетского искусства. Но как раз правление Эхнатона было временем расцвета египетского натурализма; и точное воспроизведение скульпторами сходства детей Эхнатона с отцом убеждает, скорее, что и фараона они изображали реалистически. (Два современных французских врача высказали предположение, что Эхнатон страдал редкой формой прогрессивной липодистрофии, при которой подкожный жир стекает в нижнюю часть тела; любопытно, что Эхнатон нисколько не стеснялся своего уродства и на всех стеллах приказывал изображать себя — и всех своих жен и детей — практически обнаженными.)

Итак, опухшие бедра. А у Эдипа — опухшие ноги. Но в фольклоре, говорит Великовский, упоминание ног зачастую заменяет упоминание бедер; в греческом языке то и другое вообще обозначалось одним словом. Стало быть, главная примета мифического Эдипа — это главная примета реального Эхнатона!

Мы не знаем, в каком возрасте Эхнатон вступил на царство. Некоторые египтологи считают, что ему было тогда десять лет, но это совершенно несовместимо с тем фактом, что на протяжении

нии своего последующего семнадцатилетнего правления он успел жениться на Нефертити и иметь от нее по меньшей мере шесть детей (не считая других жен и детей от других жен). Поэтому Великовский принимает, что воцарение Эхнатона произошло в достаточно зрелом возрасте, когда он уже был юношей или молодым мужчиной. Что примечательно — это наличие рядом с ним на троне его матери Ти, надолго пережившей своего супруга Аменхотепа Третьего. Тия не была регентшей, но пользовалась немалой властью при дворе и удостоилась звания “хранительницы гарема фараона”. Что еще более примечательно — это посмертная судьба эхнатонова отца. Спустя несколько лет после воцарения Эхнатон внезапно и резко порвал с культом Амона-Ре, провозгласил главным богом Атона и приказал выскоблить имя своего отца со всех его стелл. В сущности, говорит Великовский, он его убил, ибо в древнем Египте лишение человека имени было равносильно убийству. А кроме того, так как последние дни Аменхотепа Третьего окутаны странной тайной, то не исключено, что вернувшийся из изгнания Эхнатон убил своего отца и в прямом смысле слова. В точности, как это сделал Эдип.

Мы не будем здесь вдаваться в анализ религиозной реформы Эхнатона. Великовский утверждает, что она шла, скорее, в сторону большего материализма, чем большего идеализма, поскольку, в отличие от Амона, символизировавшего Солнце вообще, символом Атона был солнечный диск, то есть нечто физическое и материальное (Эхнатон изображался с руками, поднятыми к этому диску, лучи которого упирались в его ладони). Новая религия, как видно из замечательных гимнов Атону, сочиненных в это время (возможно — самим Эхнатонем), прославляла любовь и “жизнь по правде”. Мирча Элиаде в своей “Истории религиозных идей” утверждает, что “жизнь по правде” означала прославление “жизни, как она есть”, во всей ее натуральности (это объясняло бы, кстати, и весьма откровенные скульптурные изображения Эхнатона и его семьи), но Великовский полагает, что речь шла, прежде всего, о полном цинизме, с которым Эхнатон выставлял напоказ не только свое физическое, но и (позднее) моральное уродство. Как бы то ни было, с введением новой религии Эхнатон покидает прежнюю столицу Фивы и строит новую, в Тель-аль-Амарне. Сюда он переезжает со своей женой, прекрасной Нефертити, дочерьми, матерью, гаремом и двором; здесь он проводит оставшиеся ему годы; здесь (увы, в развалинах)

сохранились многочисленные гробницы ближайших к нему людей, стеллы и находки в которых позволяют сегодняшним египтологам реконструировать ход тех отдаленных событий.

У Великовского эта реконструкция постепенно превращается в череду улик, все более убедительно доказывающих тождество Эхнатона с Эдипом. Очередная в этом перечне улика связана с загадочной гробницей Тель-аль-Амарны, подаренной Эхнатонем какому-то совсем простому человеку, осыпанному милостями за "услуги, оказанные фараону". Сопоставляя эту деталь с эдиповым мифом, Великовский тотчас заявляет, что это был тот человек, который некогда спас младенца-фараона от грозившей ему судьбы ("добрый пастух", не убивший младенца Эдипа). Далее на сцену появляется некто Аи, роскошная гробница которого тоже была найдена в Тель-аль-Амарне (этот Аи впоследствии стал на время фараоном-регентом после смерти Эхнатона); некоторые детали этой гробницы, говорит Великовский, позволяют предположить, что Аи был братом Тии (помните — Креонт, брат Иокасты, регент после Лая и после сыновей Эдипа!). Кроме того по косвенным данным можно заключить, что Аи был и отцом Нефертити.

Другим влиятельным человеком при дворе Эхнатона был Уйа, судя по всему — отец Тии. И вот в его гробнице впервые появляются стеллы, на которых Эхнатон (как всегда обнаженный) изображен в обычной, насыщенной эротизмом сцене — но уже не с Нефертити, а ... со своей матерью! И рядом с Тией на этих стеллах — маленькая девочка, которая именуется "дочерью царя, плотью от его плоти". Египтологи полагают, что речь идет о "царе" Аменхотепе Третьем, отце Эхнатона, но ведь он, восклицает Великовский, был к тому времени двенадцать лет, как мертв! А девочке лет шесть, не больше. Тогда она может быть "плотью от плоти" одного-единственного "царя" — самого Эхнатона. А вдобавок в одной из надписей гробницы Тия именуется "женой царя" и наделяется всеми теми эпитетами, которые обычно принадлежали Нефертити. И последнее (по счету, но не по важности): примерно в то же время Нефертити исчезает из Тель-аль-Амарны... Совокупность всех этих "улик" приводит нашего исследователя к единственному возможному выводу: Эхнатон вступил в инцестную связь с собственной матерью. Притом вступил открыто, вызывая и — в духе своей заповеди "жить по правде" — решил поведать об этом всему миру, приказав запечатлеть себя, обна-

женного, с обнаженной любовницей и их общим ребенком. Сходство с мифом о Эдипе становится почти полным\*.

**В погоне за тождеством.** Слово “почти” не удовлетворяет Великовского. Он добивается абсолютного полного сходства, во всех, самых мельчайших деталях. Мы уже видели, как он “обнаружил” в окружении Эхнатона и прообраз Иокасты (Тия), и прототипы “пастуха”, “Креонта” (Аи), даже “второй жены Эдипа” Эвригении (Нефертити), и все основные мотивы мифа: пророчество оракула, чудесное избавление от смерти, возмужание в дальних краях, убийство отца, воцарение и противоестественная связь с матерью. Теперь он идет дальше, руководясь сюжетом мифа, как аriadниной нитью, и отыскивая в истории Эхнатона соответствия всем ее причудливым, тончайшим извивам.

Сын Эхнатона Тутанхамон, отказавшийся — после воцарения — от религии отца и вернувшийся к культу Амона-Ре, оставил надпись, в которой объяснял свое решение смутными намеками на “гнев богов”, обрушившийся на Египет из-за “грехов” Эхнатона\*\*.

*\* Тут, наконец, наступает черед обещанного рассказа о персидских сексуальных обычаях. В корреспонденции Тель-эль-Амарны Великовский отсылает письмо некоего царя страны Миттани, которая, судя по упоминаемому отправителем именам богов, находилась в передней Персии, а судя по некоторым деталям самого письма, состояла в весьма интимных отношениях с двором фараона — поставляла молоденьких принцесс в его гарем. Так вот, в тогдашней Персии, замечает Великовский, почти обязательным для определенных категорий жрецов и других высокопоставленных людей было вступление в инцестную связь с матерью, и связь эта не только не скрывалась, но, напротив, рекламировалась публично, как свидетельство исполнения религиозного долга. Не была ли страна Миттани, так тесно связанная с Египтом, местом изгнания Эхнатона (“Коринфом” Эдипа), спрашивает — а в сущности, утверждает — Великовский, и не там ли он усвоил идею, что инцест — “привилегия высокородных”, которой нечего стыдиться, если хочешь “жить по правде”?*

*\*\* Кстати, об этих “грехах”. Поскольку сохранилась стелла, на которой Эхнатон изображен с одной из своих дочерей в типичной для него “эротической позе” (пальцы руки обнаженного фараона касаются соска обнаженной девушки), Великовский выводит из этого еще один “грех” растленного фараона — противоестественную физическую близость с собственной дочерью; источник этой догадки очевиден — туманное упоминание в одном из вариантов греческого мифа о связи Эдипа с “девственницей” Астимедузой.*

Но и на Фивы Беотийские обрушилась эпидемия ("гнев богов") — в наказание за грехи Эдипа. Оpoznать, в чем состояли эти грехи, помог, согласно мифу, слепой мудрец Тирезий — и вот его прообраз немедленно появляется и на египетской сцене: был в Египте во времена Аменхотепа Третьего, своевременно вспоминает Великовский, знаменитый мудрец "Аменхотеп, сын Хапу". Посвященный ему храм был обнаружен вблизи Фив; он считался покровителем слепых; это позволяет заключить, что, возможно, мудрец и сам был слеп. Его гробницы нет в Тель-аль-Амарне — стало быть, он туда не переехал вслед за Эхнатом и его двором; стало быть, можно думать, что он был противником реформ Эхнатона; тогда неудивительно, что он помог "изобличить" греховного фараона. Правда, есть указания, что уже до воцарения Эхнатона этому "сыну Хапу" было по меньшей мере восемьдесят лет, но почему бы ему не прожить еще семнадцать — в конце концов, мудрость часто приписывают именно долгожителям...

Итак, "найден" и Тирезий. "Найдена" эпидемия. Драма Эхнатона и дальше развивается в полном соответствии с мифом: Эхнатон исчезает со сцены, а один из его двух сыновей (вспомним Этеокла и Полиника) оказывается на троне, причем, что не лишено интереса, — при поддержке Аи, брата преступной и несчастной Ти́и (она, разумеется, к тому времени тоже "исчезает"; ее гробница вблизи Тель-аль-Амарны оказалась пустой). Итак, Эхнатон, по всей видимости, низложен, чтобы умиловить богов, как и следует по сценарию, заданному мифом о Эдипе; остается выяснить, ослепил ли он себя, как Эдип.

Здесь Великовский призывает себе на помощь косвенные улики, которые он, как ему кажется, обнаружил в гимнах Эхнатона и Тутанхамона. Первый прославляет солнечный диск Атона, называя величайшим подарком жизни возможность видеть струящийся из Атона свет, сотворяющий все; второй, прославляя восстановленного им в правах Амона-Ре, роняет загадочную фразу, донныне ставящую в тупик египтологов и переводчиков египетских текстов; из всех предложенных ими вариантов перевода Великовский выбирает, как "правильный", тот, что звучит, примерно, следующим образом: "Весь мир залит твоим сиянием, и только он, который согрешил, не видит его..." Тут и разъяснять нечего: текст явно свидетельствует о слепоте Эхнатона. Судьба его прослежена; она оказалась во всех деталях совпадающей с судьбой

мифического Эдипа. Загадка Сфинкс разгадана: миф о Эдипе — это отголосок распространившихся по древнему миру рассказов о греховном египетском фараоне и его ужасной судьбе. Рассказов, настолько поразивших воображение впечатлительных древних греков, что они, с их даром художественного воплощения, тотчас заимствовали “сюжет”, перенесли его действие на почву Фив Беотийских, превратили в миф о “греческом” герое и, по аналогии с опухшебедрым Эхнатомом, назвали этого героя опухшеногим Эдипом. То, что при этом переносе были так тщательно, так скрупулезно сохранены все мельчайшие детали истории Эхнатона, вплоть до его связи с девственницей-дочерью или роли слепого мудреца в его разоблачении, неудивительно: история эта, согласно “новой хронологии” Великовского, разыгралась совсем “недавно”; возможно, были еще живы ее очевидцы, которые побывали в Египте и охотно делились с греческими слушателями всеми подробностями захватывающей придворной сплетни...

Я позволю себе не следовать за Великовским во второй части его книги, посвященной судьбам сыновей Эхнатона — Шменкаре и Тутанхамона. И без того понятно, что они полностью, без всяких отступлений от текста Софокла и Эсхила, повторили, как показывает расследование Великовского, все перипетии судеб Этеокла и Полиника, вплоть до эпизода с тайным (значит, вопреки какому-то “запрету”) захоронением Полиника — то бишь, Шменкаре — неизвестной женщиной, сочинившей в его честь любовный гимн и, по всей видимости, умершей (замурованной?) в той же гробнице. Цепь хитроумных рассуждений, основанных на некоторых предположениях некоторых египтологов, приводит Великовского к выводу, что этой женщиной была сестра Тутанхамона и Шменкаре Мекатетен. Теперь, с обнаружением “Антигоны”, остается удостовериться, что “Креонт” тоже ведет себя в полном согласии с мифом — и действительно, Аи, брат Ти, дождавшись, когда сыновья Эхнатона сошли со сцены, воцаряется в прежней столице Фивы, но не находит счастья на троне: документы свидетельствуют, что конец его правления был озаглавлен анархией и мятежом, которые привели к осквернению и разрушению его гробницы. Проклятие слепого Эхнатона исполнилось: род Аменхотепа Третьего был окончательно истреблен, а с ним пришла к концу и великая Восемнадцатая династия египетских фараонов. На смену ей приходит еще более величественная Девятнадцатая дина-



стия, прославленная именами таких правителей, как Рамзес Первый, Сети Великий и знаменитый Рамзес Второй. Но их эпоха и деяния составляют уже предмет следующего, третьего тома "Век в хаосе", выпущенного Великовским лишь спустя восемнадцать лет под названием "Рамзес Второй и его время". Мы не будем следовать за Великовским по страницам этого тома. Мы не последуем за ним и по страницам "Людей моря". Слишком много исторического материала пришлось бы нам поднять из глубин специальных книг и исследований, чтобы со знанием дела оценить убедительность необычной датировки и необычного толкования Великовским рассматриваемых в этих томах эпох. Довольно с нас, если мы скажем, что и тут ему удалось благополучно обойти все подводные рифы и согласовать свою "новую хронологию" с общеизвестными событиями — разумеется, как и всегда, ценой их хитроумного "иного прочтения". Кто знает — проживи он еще десяток лет, возможно, он и впрямь добрался бы в конце концов до вожденной гавани, приведя корабль своей "реконструированной истории" во времена Александра Македонского. Но как и Магеллану, ему не удалось вернуться туда, откуда он начал свой путь: судьба не любит слишком благополучных концов. Только в отличие от Магеллана у него не нашлось преемников...

*(окончание следует)*

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

О. КУСТАРЕВ. "ВАЛЬС" *(повести и рассказы)*

200 стр.

Цена 14 долл.

В книге собрана художественная проза автора, обладающего насмешливым и точным взглядом, который позволяет ему запечатлеть особенности современной советской жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

## ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

*Ювал Нееман*

### НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ — ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

В 11 часов 32 минуты 19 сентября 1988 года Израиль запустил свой первый космический спутник "Офек-1" (что на иврите означает "горизонт") на эллиптическую спиралевидную орбиту вокруг Земли. Спустя 31 год после запуска первого спутника, через 19 лет после того, как Нейл Армстронг первым стал на лунную поверхность, Израиль вступил в немногочисленный клуб космических держав. Перефразируя Армстронга, это маленький — на нынешнем этапе — шаг для человечества, но он может оказаться, будем надеяться, большим шагом для Израиля.

За это время человечество изрядно продвинулось. Исследования нашего ближайшего окружения — Солнечной системы — принесло больше сведений, чем двести предыдущих лет земной астрономии. Кто не был потрясен, увидев пейзажи невероятной красоты, переданные с "Пионера", "Вояджера" и других беспилотных исследовательских кораблей? Лично меня буквально зачаровали сто дымящихся вулканов Ио, этого ближайшего к Юпитеру из его крупных спутников. Глядя на них, я ощущал и определенную гордость: в 1974 году трое израильских ученых — Аарон Эвиатар, Юрий Меклер и покойная Ирена Каро (двое последних — недавние тогда репатрианты из СССР), — используя наш телескоп в Мицпе-Рамоне, спектроскопически установили наличие серных и натриевых облаков на орбите Ио; их открытие было встречено тогда весьма скептически — и вот уже в 1979 году "Вояджер-1" транслировал на Землю эту серию четких фотографий действующих вулканов!

Опустошения, вызванные недавно на Ямайке и в Мексике ураганом "Гильберт", были бы в тысячу раз больше, если бы не своевременное предупреждение, переданное системой метеоспутников. Пока спутники класса "Тирос" не передали первые снимки ураганов, мы вообще не представляли себе, как они выглядят. Теперь мы видим их зарождение и можем предсказывать их маршрут. Это спасает тысячи жизней ежегодно. НАСА распространяет информацию, полученную с метеоспутников бесплатно, и хотя недавно президент Рейган предпринял первые шаги к превращению этой информации в коммерческую, можно не сомневаться, что метеорологи, пристрастившиеся к этим фотографиям, и их соответствующие страны будут готовы и раскошелиться.

Но самая большая революция произошла в области коммуникации. Не так давно израильтяне на протяжении двух недель подряд каждую ночь смотрели телевизионные передачи с сеульской Олимпиады, передаваемые по спутникам связи. Миллионы транслируемых этими спутниками телефонных звонков, факсимильных документов и компьютерных данных ежедневно поступают в Израиль и уходят из него, делая возможной нашу бурную жизнь. Некоторые из наших русскоязычных соотечественников наслаждаются советскими телевизионными программами, принимаемы-

ми с помощью тарелочных антенн. В ближайшие годы каждый кибуц и каждый крупный жилой комплекс в израильских городах будет иметь собственную "тарелку". Два спутника системы "Арабсат" ежедневно транслируют египетские фильмы и саудовские богослужения, позволяя израильским арабам участвовать в развлечениях и молебнах своих братьев. Иными словами, мы стали оптовыми потребителями на космическом рынке. А сейчас Израиль сделал первый шаг по пути превращения в активного поставщика этих космических услуг.

Путь этот начался в 1964 году, когда я организовал в Тель-Авивском университете семинар по космическим исследованиям, который в следующем году был превращен в специальный институт. В 1971 году мы основали обсерваторию имени Флоренс и Джорджа Вайзов, а сегодня в университете имеется уже департамент планетарных исследований. Исследовательские группы по теоретической астрофизике существуют также в большинстве израильских высших учебных заведений.

На этом пути бывали и печальные курьезы. Я вспоминаю, как, занимая в 1974—1976 годах должность главного ученого министерства обороны, я включил просьбу о предоставлении нам информации с американских спутников в список израильских требований к США — это было после так называемого "промежуточного соглашения" с Египтом, разработанного Киссинджером. Вскоре, в знак протеста против передачи Египту синайских нефтяных полей, я ушел с поста главного советника тогдашнего министра обороны Шимона Переса, и эти мои политические взгляды стали причиной изрядной путаницы. В переданном мною до этого Пересу списке израильских просьб к Соединенным Штатам наши запросы были разделены по отдельным группам, чтобы отделить "обычное" оружие от секретной технологии и других деликатных областей (вроде информации со спутников), переговоры о которых должны были идти по совершенно иным каналам. Однако Перес представил американцам весь мой список целиком, и в результате, когда наш премьер-министр Рабин предстал перед сенатской комиссией по обороне и внешним сношениям, ему пришлось выслушать резкую критику. В своей автобиографии Рабин со справедливым возмущением обрушивается на "фантазии профессора Ювала Неемана", но увы — совершенно ошибочно объясняет это свое возмущение тем, что, мол, "спутники все равно никому ненужны".

Возвращаясь к мирным аспектам истории израильского спутника, можно сказать, что ее следующий этап наступил, когда в 1982 году партия Тхия вошла в правительство и я, как ее представитель, был назначен министром науки и развития. В этом качестве я предпринял очередной шаг по давно намеченному пути и основал Израильское Космическое Агентство (ИКА). Чтобы вывести это едва оперившееся детище на орбиту в атмосфере отчетливо ощущаемого скептицизма, я решил сам возглавить его руководство. Когда первый кабинет Ицхака Шамира сменился правительством национального единства, новый министр науки и развития Гидеон Патт попросил меня остаться на посту председателя Агентства, чтобы обеспечить непрерывность его развития на первых порах. С тех пор Патт оставался надежным сторонником нашего дела и деятельно поощрял наши усилия.

За пять лет своего существования Израильское космическое агентство

смело дать мощный толчок нашим космическим исследованиям, склонить израильскую промышленность к разработке связанной с космосом технологии и помочь израильским фирмам освоить коммерческую сторону освоения космоса. Некоторые из наших исследований базировались на сотрудничестве с НАСА, другие были разработаны в сотрудничестве с Европейским Космическим Агентством, а также с космическими агентствами Франции и Западной Германии. С нашей помощью Хайфский Технион создал в своих стенах космический исследовательский институт имени Нормана и Элен Ашер.

И теперь мы подходим к спутнику "Офек-1". Эта часть нашей программы имеет два аспекта. Во-первых, она представляет собой успешную кульминацию усилий израильской авиационной промышленности (совместно с ИКА) по созданию в Израиле коммерческих возможностей космического запуска. Сегодня очередь на запуски "своих" спутников с помощью чужих ракет весьма велика, как свидетельствует четырехлетнее ожидание, на которое обречен наш "Амос". Поэтому Китай, например, недавно вступил на путь собственных коммерческих запусков; тем не менее в этой области еще остается значительный и неудовлетворенный спрос. Мы надеемся, что теперь и Израиль сумеет завоевать себе место на этом рынке.

Другой аспект связан с полезным грузом. Офек-1 не имеет такого груза, поскольку он фактически предназначен для проверки самой возможности запуска и своих собственных различных подсистем. Но Офек-2 или 3, год-два спустя, будет уже иметь научное оборудование для проведения тех экспериментов, которые мы отберем из списка, разработанного по нашей просьбе израильскими исследователями космоса.

Главная заслуга в запуске спутника Офек-1 принадлежит израильской авиационной промышленности, которая, совместно с Руководством Проекта из ИКА, сумела превратить завистливый блеск наших глаз в блистательную реальность, продемонстрировав при этом фантастическую точность и безукоризненную надежность исполнения.

Журналы "Тайм" и "Флайт" охарактеризовали Офек-1 — еще до его запуска — как спутник-шпион. Это полная чепуха. Возможно, в будущем, столкнувшись со специфическими задачами, израильское правительство и решит использовать знания и опыт, накопленные израильской промышленностью в ее гражданской космической программе, для сбора разведывательной информации. Но пока еще до этого не дошло.

Меж тем Соединенные Штаты уже решили вложить первые деньги в строительство постоянной космической станции: положено начало разработке проекта постоянной базы на Луне; и Советский Союз готовится к запуску корабля с космонавтами в сторону Марса. В этой обстановке Израиль сделал свой первый космический шаг. Но, как говорит китайская пословица: "даже дорога в тысячу ли начинается с первого шага".

**ЖУРНАЛ "22" ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕТ КОЛЛЕКТИВ ИЗРАИЛЬСКОГО КОСМИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ — ПРОФЕССОРА ЮВАЛА НЕЕМАНА С УСПЕШНЫМ ЗАПУСКОМ ПЕРВОГО ИЗРАИЛЬСКОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ "ОФЕК-1". ТАК ДЕРЗАТЬ!**

## ЛЮДИ И КНИГИ

В. Фланчик

### ИСКРЕННОСТЬ ВО ЛЖИ

(*“Давид Гроссман “Желтое время”, Иерусалим, 1987*)

Сразу оговорим — мы не будем рассматривать литературные достоинства и недостатки книги Давида Гроссмана, ставшего в последние годы одним из самых популярных прозаиков в Израиле. Для тех, кто книгу не читал и не знает, о чем собственно идет речь (последнее, впрочем, мало вероятно при той шумихе, которая была поднята вокруг нее в израильской прессе), поясним, что “Желтое время” представляет собой чисто публицистическое произведение, написанное нормативным разговорным ивритом без каких бы то ни было претензий на литературность.

Претензии у автора, посвятившего семь недель знакомству с жизнью арабов (в основном на контролируемых территориях) совсем иные. Это беспристрастность и объективность, декларируемые столь упорно, что закрадывается сомнение — не себя ли в первую очередь он пытается в этом убедить. Книга Гроссмана задумана как документ, который призван раскрыть глаза израильтянам и помочь им сделать выводы, напрашивающиеся, как кажется автору, по прочтении.

“Желтое время” и впрямь поучительная книга. Вот вкратце те выводы, которые напростились по ее прочтении у меня; выводы, на мой взгляд, весьма существенные, хотя, по-видимому, и отличающиеся от тех, на которые рассчитывал Давид Гроссман.

\* \* \*

Приемы демагогии не знают государственных границ и не зависят от национального характера. Наверное, если бы на землю высадились демагоги-марсиане, то и они прибегли бы к тем же самым приемам.

Впрочем, слово “демагогия” в обычном смысле непреложимо к книге “Желтое время”. По определению демагогия — это у м ы ш л е н н о е искажение действительности для убеждения масс в том, что выгодно или желательно говорящим. В данном же случае мы имеем дело с явлением так называемой “искренней демагогии”, когда автор создает одностороннюю картину н е о с о з н а н н о, даже не замечая ее тенденциозности. Его никто не заставляет. Он считает себя абсолютно честным человеком. Но он с самого начала твердо знает, где “правда”, и, беря под локотки читателя, подталкивает его на ведущий к ней путь. Гроссман “пошел в арабы” не для того, чтобы их понять, как утверждается в книге и как, наверное, от всего сердца верит сам автор. Он “пошел в них” с готовой концепцией, и, находясь в плену предустановки, всеми силами искал ей подтверждений.

Пользуется он, однако, теми же приемами, которые сознательно разрабатывают теоретики демагогической пропаганды.

\* \* \*

Откроем "Желтое время". Перед нами две стороны: евреи и арабы. Автор знает ли, чувствует ли, что одна права, другая — нет. Помня об объективности, он описывает каждую из них вроде бы с позиции стороннего наблюдателя. Каждая из приведенных им деталей, создающих настроение и отношение, сама по себе может быть и правдива, но выбор ее из бесконечно-го континуума действительности тенденциозен.

Морщинистая старуха в лагере беженцев Дегейше удивительно напоминает Давиду Гроссману его еврейскую бабушку. Возможно? Вполне возможно и даже очень трогательно. В еврейском же поселении Офра ни одной кандидатки ни в бабушки, ни в матери, ни в сестры Гроссману не встретилось.

Сцена в суде. Женщина-адвокат, защищающая арабов: невысокого роста, симпатичная, улыбочная и прямодушная. Бывают такие? Конечно, бывают. А вот переводчик — представитель властей: огромный детина с лицом, на чисто лишенным всякого выражения; мало того, что вообще ничего не переводит, так еще и ковыряет в ухе и совершает некие телодвижения, о которых, по словам Гроссмана, и говорить не пристало (интересно, что это за такие телодвижения?).

Приветливые, по-девичьи краснеющие воспитательницы арабского детского сада. Правда, они поощряют трехлетних мальцов, с детской непосредственностью утверждающих, что евреев нужно убивать. Да и сами дети подкупают Гроссмана своей дисциплинированностью: организованно становясь в ряд и дружно скандируют: "Камнями и горящими покрывками освободим родину". Напротив, в школах и детских садах Офры дисциплина, как отмечает Гроссман, очень хромает. Есть у него и объяснение — яблоко от яблони., дети в отцов, членов "еврейского подполья". Между прочим, жалея арабских детей, Гроссман рассказывает, что едва ли не у каждого из них то ли отец, то ли дядя, то ли брат арестован или отбыл заключение. За что? Книга об этом умалчивает. В крайнем случае говорится, что они п о д о з р е в а ю т с я в принадлежности к террористическим группировкам. Если же какая-либо из историй рассказывается подробно, то неминуемо оказывается, что подозрения неоправданы.

Гроссман заглядывает в военный суд в Шхеме: почему-то он попадает не на процесс террориста, а на дело несмышленого мальчугана, который всего лишь поинтересовался, что такое Фатх, причем сделал это несмотря на уговоры отца, человека с настолько подкупающим лицом, что даже судья, увидев его, смягчает приговор. Второе дело: оно и вовсе необоснованно, что сразу же выясняется на суде. Тем не менее израильский судья, чтобы оправдать предварительное заключение, все же осуждает обвиняемого на сорок четыре дня, которые тот уже отсидел.

В общем, арабским ребятишкам в этом смысле просто повезло — их родители подают им пример лишь истинного законопослушания.

Столь же неблагоприятно для евреев складывается и сравнение высших

учебных заведений. В университете Бейт-Лехема Гроссмана зачаровывает тяга к знаниям арабских студентов, которые, затаив дыхание, смотрят в рот преподавателю. Это вам не студенты-евреи, которые только и делают, что нежатся на солнышке, валяясь на травке кампуса в каком-нибудь Иерусалиме или Тель-Авиве. Одна забота у арабских студентов — успеть бы пройти полный курс до того, как военные власти в очередной раз закроют их университет. За что? Может быть, за антиизраильские митинги вроде того, который был устроен в день пребывания там Гроссмана (быстро смекнувшего, что лучше ему в это время на кампус в Бейт-Лехеме не выходить)? Может быть, за камни, которые швыряют студенты? Но и об этом в книге ни слова.

\* \* \*

Все, что “неискушенному” наблюдателю могло бы показаться неприглядным в арабской деревне, находит в “Желтом времени” немедленное оправдание. То, что может показаться привлекательным в еврейских поселениях, незамедлительно очерняется. Жители Офры гостеприимны, — признает Гроссман. Но тут же следует разъяснение: гостеприимны они, оказывается, исключительно, в корыстных целях. Это часть агитационной кампании (которую, как будто бы походя отмечает Гроссман, они все равно проигрывают).

Далее — с поселенцами вроде бы интересно поговорить. Но вскоре выясняется, что разговор они ведут механически, интересуются только собой и своими собственными делами (интересно, о чем бы им еще беседовать с журналистом, который именно для разговора на тему еврейских поселений в Иудее и Самарии к ним и приехал?).

Идеалы в Офре, по утверждению Гроссмана, постепенно вытесняются обилием электро- и радиоприборов. С книгами дело тоже обстоит неважно. Их вроде бы вовсе нет. Правда, с одной оговоркой: за исключением “сифрей кодеш” — Танаха, Талмуда, толкований, преданий, философских и этических сочинений еврейских мыслителей. Но разве это культура? Ведь не Сартр же, не Кафка, не Амос Оз.

Более того, используют они эти книги совсем не в качестве литературы, а как руководство к действию. И это Давида Гроссмана безмерно пугает. Да, еврейского писателя Давида Гроссмана, живущего в Израиле, пугают евреи, которые ищут в Торе ответы на вопросы, как и зачем они живут. Плохи наши дела! Не только Гроссмана, но и вообще наши еврейские дела очень плохи.

\* \* \*

В рассуждениях о поселенческом движении “Гуш Эмуним” Давид Гроссман применяет еще один испытанный прием фальсификации. Состоит он в следующем: приводится некое утверждение, причем утверждается именно факт, а не оценка и не мнение, предваряясь выражением типа: “Кажется ни у кого сегодня не вызывает сомнений...” И человек, неосведомленный, использующий текст для получения информации, в этом факте усомниться

не может — он ему верит. Только не существует такого факта; это либо намеренная ложь, либо искреннее заблуждение автора. Таково, например, утверждение Гроссмана о том, что Гуш Эмуним бесконечно оторвался от общества и утратил с ним всякую связь. Другой прием — абсолютная правда только с нарушением пропорций. Рассказ о мосте Алленби, через который в Израиль в гости к родственникам приезжают тысячи арабов из Иордании, Саудовской Аравии и других стран. Каждое слово в этой главе — правда, в то время как в целом она — одна большая ложь. Гроссман приводит рассказ резервиста о том, как был растроган араб, когда этот солдат, проверив его багаж, аккуратно сложил шерстяное одеяло; и как бьют-де солдаты, которые над арабами при проверке издеваются. Повествование построено так, что у читателя должно неминуемо сложиться впечатление: резервист, сложивший одеяло, — белая ворона; унижение же арабов на мосту Алленби — дело типичное.

Не раз побывав на мосту Алленби, я берусь утверждать, что подавляющее большинство солдат относится к приезжающим с подчеркнутой предупредительностью (куда большей, чем, к сожалению, принято в израильском обществе вообще). Белыми воронами являются те считанные единицы, которые вначале ведут себя иначе; вскоре, под влиянием окружения, таковых, как правило, не становится вовсе. Командование мостов не пропускает ни одного инструктажа, чтобы не напомнить инструкций, благодаря которым вынужденная некомфортность прибывающих сводится к минимуму.

Девушки в военной форме разворачивают младенца? Но разве Гроссман не знает о попытке, предпринятой террористами, в таких пеленках провезти в Израиль детонаторы? Думает ли он, что девушки это занятие по нутру? Не должны ли приезжающие арабы понять, что и сами они, и израильские солдаты страдают из-за тех, кто пытается использовать "открытые мосты" для стимуляции террора в Израиле?

\* \* \*

Интересно, как разнятся стили интервью, которые берет Гроссман у арабов и евреев. Арабам он задает короткие вопросы (которые, между прочим, умело наводят на антиизраильские ответы). Их пространные ответы он приводит полностью, не позволяя себе их комментировать. Поселенцам же евреям Гроссман, беря у них интервью, не дает особо "разлиться мыслью по древу". Их слова вызывают у него смешок или сожаление умудренного человека, слышащего неразумные речи. Ни смешка, ни сожаления, автор, разумеется, не скрывает.

Арабов Гроссман слушает, у евреев же в основном говорит сам, рассказывая, например, притчу об арабах, невластных над своим временем (речь идет о времени, которое отнимают у них израильские солдаты при проверках на дорожных заставах). И опять же ни слова о том, чем вызвана необходимость таких проверок.

С такой же грустью пересказывает Гроссман и историю бедуинского мальчика, жалующегося на то, что автобус, который по утрам возит в школу детей из соседнего еврейского поселения, перекрывает путь их бедуинскому школьному автобусу. Маленькому бедуину приходится, по его сло-



вам, идти пешком целый километр! Но не в расстоянии дело, а в технической трудности осуществления столь подлой функции еврейского автобуса. То ли он длины неимоверной, так что его не объехать, то ли намеренно и непрерывно снует перед своим арабским собратом (куда тот, туда и он), закрывая дорогу.

\* \* \*

Но не подобные мелкие нарушения логики смущают более всего в книге "Желтое время". Логический казус лежит в самой основе ее построения. Гроссман постоянно приводит следствия без указания причин. Обыски? Но почему обыски? Аресты? Но за что? Комендантский час и другие ограничения? По каким причинам? Суды над палестинцами? За какие преступления?

Можно, конечно, сказать, что все нынешние действия арабов сами являются следствием неких предыдущих действий евреев. Так ли это? Если и так, то адекватна ли реакция? Но книга Гроссмана не пытается разобраться в этом. А поему ситуация, крайне сложная сама по себе, в которой решает уже не кто прав или виноват, а кто выстоит, представляется в абсолютно ложном свете.

Предлагает ли Гроссман какие-либо решения? Его позиция (разумеется, на словах — и это тоже прием демагогии) сводится к тому, что он-де человек маленький и решений не знает. Он лишь описывает, "дает информацию для размышлений". Но можно ли назвать "информацией" такую характеристику поселенцев: люди в Офре — милые, но в своей "мессианской горячке" (в оригинале слово, означающее в прямом смысле "течку, половое возбуждение у животных") они опасны и даже смертельно. Разумеется, в книге нет прямого призыва — пресечь! Это не пристало либералу Гроссману. Но люди попроще и пожестче, поверив ему, должны обязательно что-нибудь срочно предпринять. Просто руки чешутся. Ведь теперь они знают, где главный враг. Это, конечно, не старушка из арабского села, так похожая на бабушку Гроссмана.

Можно не сомневаться, какое действие окажет "Желтое время", будучи переведена на другие языки (английское издание книги уже появилось). Если мы в Израиле еще кое-как разбираемся, где друзья и где враги, то что делать тем, кто в силу незнания ситуации будет исходить из "информации" Гроссмана?

\* \* \*

Читателя изощренного наверняка смутит черно-белый, вернее — исключительно черный тон этой рецензии. Но, во-первых, хвалебных отзывов бестселлер Гроссмана собрал уже немало. Прочтите и их. А во-вторых, мне при прочтении этой книги никакие другие цвета на ум не приходили. Добавлять же их искусственно для сохранения псевдоравновесия представлялось мне нечестным.



**К десятилетию со дня смерти Анатолия Якобсона. — Читайте в следующем номере первую публикацию его "Дневников" и воспоминания о нем Майи Улановской и Владимира Фроммера.**

---

*В сентябре 1988 года в Лондоне скоропостижно скончался выдающийся израильский историк, профессор Еврейского университета Шмуэль Эттингер — крупнейший исследователь современного антисемитизма, создатель центра по исследованию восточноевропейского еврейства, один из инициаторов издания Краткой Еврейской энциклопедии на русском языке, многолетний руководитель издательства "Библиотека Алия" и автор широко известного двухтомного "Очерка истории еврейского народа". Родившийся в Киеве в 1919 году, Ш. Эттингер приехал в Палестину в 30-е годы, получил степень доктора в Еврейском университете в Иерусалиме и работал там до последнего дня жизни. Родные, близкие и друзья скорбят об утрате. Мы присоединяемся к ним. Благословенна будь его память, зихроно ле-враха.*

*Редколлегия журнала "22"*

ПО ПОВОДУ...

... статьи З. Бар-Селлы  
"Поэзия и правда" ("22", № 59)

Название статьи З. Бар-Селлы, подзаголовок "Неопубликованная глава из книги..." (опубликованной?) и более всего — содержание статьи наводят на мысль, что перед нами автопародия или неудачная литературная шутка.

Оставляя на совести З. Бар-Селлы и "метода фантастического литературоведения" все, касающееся Дж. Джерома, перейду прямо к стихам Бродского "Письма римскому другу".

Прежде всего: в строках

*"Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,  
долг свой старый вычитанию заплатит".*

слово "сложенье" — не из анатомии и не означает "телосложение", как кажется Бар-Селле, а из физиологии и означает "сложение двух тел". Вычитание же — добавляю специально для Бар-Селлы — означает смерть.

Далее, в строке

*"На рассохшейся скамейке — Старший Плиний"*

"Старший Плиний" — это не человек Плиний, а его книга "Естественная история" — подходящее чтение для ушедшего от дел, стареющего человека. Герой стихов Бродского, скорее всего, сам Марциал, прошедший последние годы жизни в Испании — "глухой провинции у моря", или какой-нибудь другой римский изгнанник. Младший Плиний уж совсем не подходит. Он известен именно своими письмами, и нет ничего менее похожего на стиль писем Плиния Младшего, чем "Письма римскому другу". Плиний Младший пережил Марциала и посвятил его смерти одно из своих писем. Вот что он пишет о Марциале: "Он был человек талантливый, острый, едкий; в стихах его было много соли и желчи, но немало и чистосердечия... "Его стихи вечными не будут" — может быть, и не будут, но писал он их, рассчитывая, что будут". (Перевод М. Е. Сергеевко.)

Теперь об адресате "Писем". Бар-Селла видит в имени "Постум" скрытое значение — "то, что после (смерти)". Может быть, это и так, но тогда это нужно включить в статью не о Бродском, а о Горации. Постум — это адресат одной из самых знаменитых от Горация "К Постуму":

*"О Постум! Постум! Льются, скользят года!  
Какой молитвой мы отдадим приход  
Морщин и старости грядущей  
И неотступной от смертных смерти?"*  
(перевод Я. Голосовкера)

И ода Горация, и стихи Бродского (и книга Екклезиаста, как справедливо

во отметил Бар-Селла) посвящены тривиальным, но все еще актуальным темам разочарования в жизни и страха смерти. Писать на такие темы после Екклезиаста, Горация и многих других — нелегко, и мне кажется, что именно трудность предприятия и привлекала Бродского. Адресуя письма Постуму, Бродский делает заявку на большую тему Горация, но обрабатывает он ее в стиле Марциала. Стиль Горация — высокий стиль золотого века римской поэзии, эпохи Августа, эпохи утверждения Империи. Бродский выбирает для своей задачи более земной “острый, едкий” стиль Марциала, творчество которого приходится на эпоху Флавия, более подходящую для имперских ассоциаций Бродского.

Хочу тут же оговориться, что хотя все вышесказанное: Плиний и Марциал, Гораций и Постум, — на мой взгляд несомненно присутствует в стихах Бродского и может порадовать читателя, знакомого с античной литературой, это совершенно не является обязательным для понимания самих стихов. Весь этот древнеримский карнавал, плюс хорошо отмеренные пропорции грубоватого юмора, иронии и грусти — все это помогает Бродскому создать речевую ситуацию и найти интонации, в которых “старые слова” могут быть вновь произнесены на современном языке без ложного пафоса и не прозвучать трюизмом. На мой взгляд, он блестяще справился с этой задачей. Самому Бродскому эти стихи, видимо, тоже нравятся — он включил их в свою подборку в “Новом мире”. Бар-Селла считает эти стихи плохими — зачем же тогда о них писать? Плохих стихов много, о всех не напишешь.

И наконец, о строчках из “Писем”, которые, по словам Бар-Селлы, побудили его взяться за перо:

*“Мы, оглядываясь, видим лишь руины”.*

*Взгляд, конечно, очень варварский, но верный”.*

Бар-Селла задается вопросом, почему этот взгляд кажется Бродскому варварским, и для решения вопроса прибегает к своему фантастическому методу. Но в этом нет никакой необходимости. “Взгляд варварский” — потому, что варвары оставляли за собой “лишь руины”. В частности, от Рима. Если неясно, то Бродский сам “разъясняет” это во второй “Римской элегии”:

*“... время*

*Варварским взглядом обводит форум”.*

Кстати, подобный прием — использование прямого смысла слов, обычно употребляемых в переносном, — есть и в самом заглавии книги Бродского “Часть речи”. Таким образом, автор писем и автор “Писем” простовато шутят, обыгрывая два значения слова “взгляд” — Бар-Селла этой шутки не понимает и пишет об этом непонимании статью!

Жаль, что журнал “22” не отметил присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии более весомой публикацией.

*Михил Сегаль (Реховот).*

# ИРОНИЧЕСКОЕ

Аврам

## ВЕЩИЕ СНЫ

### Сон-1

Приснился мне сон. Будто на выборах победил рав Кахане, Кнессет принял все его законопроекты и наутро в моей квартире раздался звонок. За дверью стояли два раввина в кожаных лапсердаках и с огромными маузерами в деревянных кобурах. Справившись по списку о фамилии, главный рав заявил:

— Чрезвычайная национально-религиозная комиссия по борьбе с антииудейской деятельностью. В соответствии с законами вождя нашего рав Кахане прошу предъявить сопостельницу!

Я залебезил.

— Слушаюсь, прошу пройти в спальню, мы законы знаем. — Хая, — обратился я к сопостельнице, — прикрой ноги и предъяви равам удостоверение о чистоте расы.

— Не надо, — хмуро сказал главный рав, истово поцеловав мезузу на двери спальни. — Мы не расисты, предъявите удостоверение о религиозном состоянии сопостельницы.

Хая подала удостоверение, равы внимательно прочитали, и главный рав, возвращая удостоверение, заявил:

— Все в порядке, можете продолжать совокупление!

Другой рав спросил:

— А как у вас обстоит дело с кошерностью?

— Приняты все меры, — с готовностью заявил я. — В соответствии с указаниями вождя нашего рав Кахане холодильник очищен и отмыт от всех остатков докахановского периода и заново освящен районным раввином, посуда поделена на мясную и молочную, но на второй холодильник для молочных продуктов пока денег нет. Если движение Кахане поможет мне материально...

Равы окончательно подобрали.

— Вижу, что вы наш человек, — сказал главный рав. — Мы помогаем материально своим людям, а особенно несущим идеи нашего рав в еще несознательные еврейские массы. Но не все таковы! — вдруг посуровел он. — Как вы думаете, кого мы нашли в постели Рабиновича в соседнем квартале?

— Неужели гойку?! — с ужасом спросил я.

— Нет, однополого сопостельника! — возгласил рав.

— Не может быть, — помертвел я. — Да им обим надо было ... отрезать!

— Ну, зачем так жестоко? — не согласился со мной рав. — Ведь сопо-

стельник все-таки был евреем. Вот если бы это был араб, я бы его на месте пристрелил! Как собаку! А так, что ж, — побудут в лагере перевоспитания лет десять, поучат в обязательном порядке Тору и глядишь — выйдут полноценными, богобоязненными евреями, достойными членами нашего кагала...

Второй рав закончил обследование моего холодильника и подошел к видеомагнитофону. Прибор этот ему не понравился, и он искоса посмотрел на меня:

— Есть недозволенные записи? Обнаженности? Непристойности? Совокупления?

— Никак нет! — отрапортовал я, став по стойке смирно. — Все в рамках благопристойности. В последние дни записывал с телевизора встречи рава Кахане с народом, а также религиозные передачи.

— Посмотрим, — сказал второй рав и, достав наугад одну кассету из ящика, запустил видео. Некоторое время они молча смотрели на экран. Потом главный рав сказал, повернувшись ко мне:

— Мы ошиблись. Вы не наш человек. Я позабочусь, чтобы вас поместили в одной камере с Рабиновичем из соседнего квартала. Уж он займется вашим перевоспитанием.

Второй рав добавил:

— А пока — из дома не выходите! Ждать! За вами приедут!

Я посмотрел на экран. Шла записанная несколько лет назад передача из кибуцной свинофермы. Свины хрюкали с экрана. Ведущий рассказывал про рекордный опорос. Я понял, что все кончено... и проснулся в холодном поту.

Не надо было на ночь свиные стейки есть.

## Сон-2

Приснился мне сон. Будто живу я в городе Егорьевске Московской области где-то в 2000-м году и зовут меня товарищ Коломийцев Егор Степанович. Живу я в собственном деревянном доме с садом и огородом, жену мою зовут Валентина Афанасьевна и имеем мы двоих детей: одно дите мужского полу и одно женского. Сам я мужик серьезный, обстоятельный, хозяйственный, работаю шофером на автобазе, езжу по всей Московской области, но в Москву не заезжаю, ибо с тех пор, как пять лет назад вышло Партийное Постановление о роли евреев в перестройке, так Москву объявили закрытым городом, и никто не знает, что там происходит. Ну, нам, мужикам егорьевским до того дела нет, евреев среди нас отродясь не водилось, а подкальмить и так можем, на жизнь хватает. Сам я, Егор, всю жизнь к спиртному отвращение имею, и хотя живу в Егорьевске недавно, начальство на автобазе меня уважает за исполнительность, трезвость и отсутствие прогулов. Живем мы с Валентиной Афанасьевной дружно, согласно и в достатке, конечно, с продуктами стало труднее, когда запретили в Москву ездить отовариваться, но у нас свой огород, двух свиней откармливаем, кое-что по талонам достаем, да и из поездок привожу, что на местных рынках удастся купить и у проводников казанского и рязанского направлений. А наемдны привез из поездки второй телевизор, черно-белый, подержан-

ный, но в хорошем состоянии, в деревне проездом купил. Вообще-то у меня телевизор есть, цветной, "Спаутич" называется, в прошлый год в местном сельпо купил, в большой комнате установил, да дети все одну программу хотят смотреть, а мы с женой другую. Так я поставил черно-белый телевизор в их комнату, и они и я, каждый свое смотрит, друг другу не мешаем.

А случилось у нас вот что. Отдыхаю я, отгул у меня был, сидим мы с Валец, смотрим по телевизору хоккей, дети в школе, и приходит к нам Василий Фомич, общественник, и с ним двое каких-то незнакомых. Ну, я велю Вале собрать на стол, приглашаю их к столу, на котором и огурчики появились, и водочка, и капуста собственного соления. А на душе мутрно, эти двое вообще на меня не смотрят, а Василий Фомич как раз глаз не спускает, да все как-то искося, да с хитринкой. Выпили мы по первой, закусили, Фомич сразу по второй наливает и тут же третью хочет. Я свой стакан перевернул и говорю:

— Вы, гости дорогие, пейте и закусывайте, а я свою норму знаю, больше мне нельзя.

Вот тут-то Фомич и скажи:

— Ты все по норме живешь, я тебя насквозь вижу, еврей ты скрытый и от Постановления Партии сбежал!

Обмер я про себя и холодным потом покрылся, потому как прав он, я ведь еврей, из Москвы перед Постановлением сбежавший, выдаю себя за уроженца Воронежской области, где все архивы в ходе борьбы с Перестройкой сгорели. Но признаться — значит не только себя погубить, но и детей, ибо все знают, что даже четверть еврея за еврея считается, это они, Постановление говорит, Перестройку России навязали, и нет им за то прощения. Поэтому я говорю этак сурово:

— Ты, Василий, болтай, да меру знай. Нынче, знаешь, за клевету и склопотать можно. Ты почему у меня в доме и меня же таким гнусным словом облайл?

А он приподнялся на стуле и в упор мне говорит:

— А вот как я тебя разоблачил. Уж очень ты хозяйственный да семейственный, водку не пьешь, все в дом тащишь, сортир себе в доме устроил, все мужики да бабы егорьевские во дворе срут, а ты жопу боишься отморозить, а покажи мне хоть одного мужика, кто бы два телевизора дома имел?

— Да я ведь в детскую комнату, — говорю, — и дешевый он, старый.

— Не в том дело, что дешевый, — кричит Фомич, — а в том, что ты все удобство себе ищешь, не хочешь поперек чего детям сказать, деликатно стесняешься. Не русский ты, духом чую. И гарнитур у тебя новый...

— Так что же гарнитур, — отвечаю, — не у меня одного такой, не финский какой-нибудь, а нашей же егорьевской фабрики, весь в сучках...

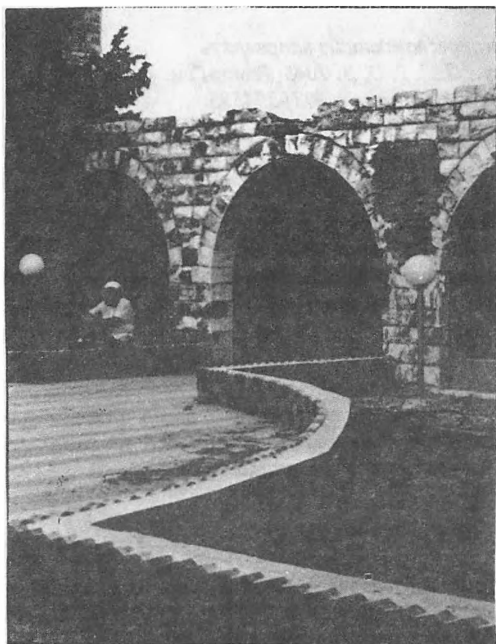
Вот тут он и взревел.

— Вот она, — кричит, — вот она твоя еврейская душа. Все сучки на гарнитуре пересчитал, от Постановления Партии бегаешь, честно не хочешь пойти, куда Партия велит. Ну, погоди, вражина...

Тут он с двумя своими выскочил наружу, а я смотрю на жену, как она вся белая сидит за столом, не шевелится. А двери открываются и входят

наши дети с портфелями, остановились и смотрят на нас, чувствуют что-то произошло, да не понимают. Увидела их моя Валя, как завоет, бросилась к ним, целует, обнимает, хоть и в политике не разбирается, чувствует, что Постановление оставит ее одну на свете. Тошно мне стало, вышел я на холод, на крыльцо, закурил, в доме Валя воет, вижу за калиткой — один из гостей моих сторожит, на меня со злобой пялится. А за лесом, за серым, моросящим небом — там Москва, оттуда приходят Постановления. Тут услышал я шум мотора милицейского... и проснулся в холодном поту.

Не надо было на ночь жирного гуся есть.



**Деревня художников Сан-Ур в Израиле приглашает художников, скульпторов, людей искусства из России, Европы и США на творческие каникулы.**

**К услугам гостей: комфортабельные однокомнатные квартиры; мастерские, студии и возможность работать на пленэре в одном из живописнейших уголков Израиля: творческое общение с коллегами-выходцами из России, вечера у костра и встречи с поселенцами; экскурсии по Израилю и территориям Иудеи и Самарии.**

**Деревня Сан-Ур организует в своем зале выставки-продажи произведений, созданных гостями, принимает их работы в свой музей и налаживает контакты гостей с израильскими галереями.**

**Стоимость аренды квартиры-студии в Сан-Уре — 10 долларов в день. По всем вопросам, связанным с каникулами, обращаться по адресу: А. Chiram, Bar-Kan, Post Efraim, Israel, tel. 03-9366214.**



**Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН**

*Редакционная коллегия:*

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,  
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,  
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

*заведующая редакцией – Миррам БАРОР  
технический редактор – Наталья РУБИНА*

*Всю корреспонденцию направлять  
по адресу: "22", P. O. B. 7045, Рамат-Ган.  
Телефон редакции – 1031-394525*

**Представители журнала за рубежом:**

**США:** L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805, USA.

**ФРГ:** L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR.

**Великобритания:** R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD, England.

**Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.**

**Стоимость годовой подписки в Израиле – 65 шек., для организаций – 75 шек., за рубежом – 50 долл. (авиапочтой в Европу – 60, в США – 65 долл.), для организаций – 65 долл. (авиапочтой в Европу – 75, в США – 80 долл.).**

**Отпечатано в типографии "ЯКОВ-ПРЕСС", ул. Рош-Пина 22, Тель-Авив**

19.9.1988

11:32